DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY

Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Duke University Libraries

https://archive.org/details/bortsyzasotsiali11stek

Ю. М. СТЕКЛОВ

БОРЦЫ ЗА СОЦИАЛИЗМ

Очерки из истории
общественных и революционных
движений в России

В ДВУХ ЧАСТЯХ

Добролюбов.— Герцен.—Чернышевский.—Бакунин.
— П. Алексеев.— С. Халтурин.—Народничество.—
Народная Воля. — Черный Передел. — Социал-демократия. — Якутская ссылка. — Эмиграция. —
Свердлов. — Рачковский и Меньщиков. — Витте

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Издание второе,
исправленное и дополненное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Гиз. № 4483 Главлит. № 11008 Москва. Тираж 10.000

1-я Тип. МСНХ. „Печатное Искусство". Арендаторы С. Я. Цузмер и С. Г. Гликин
Маросейка, Армянский пер., д. 6.

947.08
S823B
ch. 1

Посвящается

памяти непреклонного бунтаря, одного из первых рабочих-революционеров, вольного штурмана Ивана Михайловича Каламинкова, безвременно погибшего жертвой царизма в Якутской области

Предисловие к первому изданию.

Давно уже я собирался написать историю революционного движения в России. Хотелось дать русскому рабочему классу нечто, напоминающее меринговскую историю германской социал-демократии. С ранней молодости внимание мое было привлечено героической борьбой русских революционеров против самодержавия и капитализма. И вот уже около 30 лет я изучаю относящиеся сюда материалы.

К сожалению, условия моей жизни не позволяли мне засесть вплотную за такую работу. Последняя требует по возможности спокойного и продолжительного труда, но до сих пор такая благодать на мою долю не выпадала. Поневоле приходилось писать разрозненные статьи и заметки по отдельным вопросам. Из крупных работ, относящихся к истории русского революционного движения, мне удалось лишь написать биографию Н. Г. Чернышевского, вышедшую в 1909 г. в Петербурге и вскоре выходящую вторым [1]) изданием в «Жизни и Знании» (ныне «Коммунисте»), а также двухтомную биографию М. А. Бакунина, из которой я до сих пор опубликовал отдельные главы в различных русских журналах («Совр. Мир», «Просвещение», «Голос Минувшего») и извлечение в виде брошюры на немецком языке (в издании Дица), и которая потребовала бы теперь одного-двух месяцев работы (если бы удалось их выкроить), чтобы быть окончательно подготовленной к печати [2]). Сюда же я могу отнести и свою брошюру: «Отказы-

---

[1]) Второе издание моей книги о Чернышевском выйдет в издании Госиздата в 1923 году.

[2]) Первый том моей монографии о Бакунине вышел в Москве в 1920 году; подготовляются к печати следующие томы.

ваемся ли мы от наследства? Историческое подготовление русской социал-демократии», вышедшую в первый раз заграницей в 1901 году в издании группы «Борьба» и во второй раз в Петербурге в 1907 году в издании «Свободный Труд».

Убедившись, что в скором времени мне не удастся написать систематическую, полную и цельную историю русского социально-революционного движения, я решил собрать хотя бы часть моих разрозненных статей, этюдов и заметок, относящихся к рассматриваемой теме. Так создалась идея предлагаемого вниманию товарищей сборника «Борцы за социализм.—Очерки из истории общественных и революционных движений в России». Конечно, этот сборник ни в какой степени не может заменить общую историю движения, но все же мне кажется, что собранные под одной обложкой разрозненные статьи дают некоторую общую картину. Мне тем более хотелось выпустить этот сборник, что в большинстве случаев писатели, разрабатывавшие историю нашего революционного движения и не стоявшие на марксистской точке зрения, по мере своих сил и способностей искажали и извращали эту историю. Особенно потрудились на этом пути покойный В. Богучарский (Яковлев) и беспокойный пустомеля В. Бурцев.

У меня не было времени перерабатывать собранный в этом сборнике материал, да по существу вопроса это и не требуется. Если бы я приступил к мало-мальски серьезным изменениям собранных здесь статей, то мне пришлось бы, конечно, заново написать всю книгу. К сожалению, в настоящем ее виде в книге имеются некоторые пробелы—и не только фактического свойства (об этом не приходится и говорить), а пробелы, если так можно выразиться, редакционно-политического характера. Это об'ясняется теми условиями, в которых до последнего времени находился русский писатель, стоящий на точке зрения революционного марксизма.

Ему обыкновенно приходилось подвергаться тройной цензуре. Во-первых, свирепствовала цензура царская. Подробно распространяться об этой стороне вопроса, конечно, не приходится. Эта цензура или делала совершенно невозможной разработку целого ряда вопросов, относящихся к истории революционного движения, или же заставляла трактовать их,

все время оглядываясь на цензорскую ферулу. Благодаря этой царской цензуре, в печать не могла в свое время попасть помещенная в этом сборнике заметка о Витте, предназначавшаяся для журнала «Современник» 1914 года. Ряд заметок, также напечатанных в настоящей книге и в свое время предназначенных для «Календаря русской революции» издания «Шиповник», задержался опубликованием на целых 11 лет, так как этот календарь, напечатанный в 1906 году, был тогда конфискован и получил возможность выйти в свет только после февральской революции в 1917 году.

Считаясь с предстоящим свирепством красного карандаша и цензорского меча, марксистский автор должен был сам подвергать себя известной самоцензуре (цензура № 2), стараясь по возможности обломать острые углы своих писаний и трактовать щекотливые вопросы эзоповским языком. К сожалению, автор этих строк никогда не отличался этой способностью и считался одним из беспардонных в этом отношении литераторов.

Засим следовала редакторская цензура (цензура № 3), осуществляемая страха ради полицейска. К марксистским литераторам редакторский карандаш также относился особенно строго, зная, что особенными симпатиями в «сферах» они не пользуются. Вследствие такой профилактической цензуры в печать не мог попасть очерк «Исторический документ», помещаемый в этой книге, а остальные статьи, которые увидали свет при царском режиме, подверглись в большей или меньшей степени ретушевке и оскоплению. В частности, эту участь отчасти испытала и перепечатываемая здесь брошюра «Отказываемся ли мы от наследства?». Если к моменту окончания печатания этой книги мне не удастся достать заграничное издание брошюры, то придется перепечатать ее в том виде, как она была издана в Петрограде в 1907 году [1]).

Но хуже всего была вторая редакторская цензура, по счету четвертая, а именно цензура политическая. Буржуазные редакторы русских журналов органически не переносили марксистского духа. Они вообще чуяли его за целую милю, но ко-

[1]) В настоящем издании эта статья восстановлена в своем первоначальном, подлинном виде. (Примечание 1923 года.)

ский, приезжавший весною 1914 года в Париж, где я тогда проживал в эмиграции, но фактический редактор журнала, известный умеренный кадет А. Посников, статьи не принял, вероятно потому, что в ней «обижался» анархизм. Удивительно чутко относятся эти буржуазные консерваторы к «обидам», чинимым марксистами анархистам!

Именно по этим мотивам была изуродована г. Мельгуновым, редактором «Голоса Минувшего», моя статья «Интернационал после Гаагского Конгресса». Он взял под свою защиту Кропоткина, Бакунина и особенно деятелей лондонского анархического с'езда 1881 года, который, как известно, был созван при ближайшем участии агентов парижского префекта полиции, пресловутого Андрие, и на котором анархизм окончательно выродился в «революционную химию». Свежо предание, а верится с трудом! Или же господа буржуа действительно чувствуют свою затаенную близость к анархистам, особенно когда с последними начинают полемизировать марксисты?

Из статей, напечатанных в этом сборнике, статья «Социально-политические взгляды Добролюбова» была помещена в «Современнике» 1911 года, № 11; первая половина статьи «Герцен и Чернышевский» в «Современнике» 1912 г., № 7; статья «Русский ткач Петр Алексеев» в петербургском журнале «Ткач» 1917 г., № 1; вторая статья о Петре Алексееве, статья о Халтурине [1]) и «Памяти Народной Воли»—в «Календаре для всех» на 1901 год, изданном в Женеве группой «Борьба»; брошюра «Отказываемся ли мы от наследства?—Историческое подготовление русской социал-демократии» напечатана в первый раз в Женеве в 1901 году и второй раз в Петербурге в 1907 г.; статья «О первой социал-демократической пропаганде в Одессе» напечатана была в журнале «Минувшие Годы» в 1908 г., № 9; в том же журнале за тот же год, № 3, напечатана и статья «Мой побег из Якутки». Мелкие заметки о с'ездах Р. С.-Д. Р. П., о праздновании 1-го мая в России, о первой всеобщей забастовке и т. д. были напечатаны в «Календаре рус-

[1]) Вторая статья о П. Алексееве и статья о П. Халтурине имеют компилятивный характер. Но они интересны в чисто фактическом отношении и входят составным звеном в общую цепь развертывающейся картины революционного движения.

ской революции», изд. «Шиповника» (1906 и 1917 года).

Из вышеизложенного явствует, что большая часть статьи о «Герцене и Чернышевском», статьи о Бакунине, о Витте и статья «Исторический документ» до сих пор в печати вовсе не появлялись; вторая статья о Петре Алексееве, статьи о Халтурине и «Памяти Народной Воли» были напечатаны в недоступном для широких кругов читающей публики заграничном издании. Таким образом, значительная, если не большая часть помещенного в этом сборнике материала появляется в печати впервые.

Выступая перед читающей публикой с настоящим сборником, я лучше всех других сознаю его недостатки, но все же мне думается, что он окажется не лишним и не бесполезным и поможет многим из наших товарищей, если не составить себе полное представление о затрагиваемых сторонах истории нашей общественности, то, по крайней мере, разобраться в существующих по этим вопросам взглядах и усвоить основные черты марксистского подхода к истории русской революции и марксистского метода, позволяющего правильно ставить и разрешать сложные исторические вопросы.

Ю. Стеклов.

Москва, октябрь 1918 года.

Предисловие ко второму изданию.

Второе издание этой книги выходит через пять лет после первого, появившегося в 1918 году. Первое издание, выпущенное в количестве 30.000 экземпляров, быстро разошлось. Это показывает, насколько велика потребность читающей публики в работах, трактующих историю нашего революционного движения, даже если они носят такой отрывочный характер, как моя книга, представляющая в сущности сборник отдельных статей.

Я лучше кого бы то ни было сознаю все недостатки моей книги. Но сделать лучше, т.-е. переработать ее сверху до низу, превратить ее в цельную и систематическую историю революционного движения, значит, в сущности написать совершенно новую работу,—для этого у меня нехватает времени. Надо полагать, что и в своем настоящем виде эта книга удовлетворяет некоторым запросам новой аудитории, выдвинутой нашей эпохой, и в этом виде способна принести некоторую пользу. Но насколько позволяли обстоятельства, я все же внес ряд исправлений и дополнений в текст первого издания.

Так, совершенно изменен текст очерка о С. Халтурине, причем учтены и использованы материалы, опубликованные со времени выхода первого издания настоящей книги. Вставлен биографический очерк Герцена (что, кстати, сделало неизбежными некоторые повторения, ибо ломать следующую дальше статью «Герцен и Чернышевский» я по целому ряду соображений считаю неудобным). Вставлен ряд статей о Ба-

кунине, опубликованных мною ранее в наших журналах. Вставлены также воспоминания о якутской ссылке, об эмиграции и о Я. М. Свердлове. Сделаны частичные исправления и в других местах.

Все эти вставки и дополнения настолько увеличили об'ем книги, что признано было целесообразным издать ее в двух выпусках. В первый выпуск войдут статьи о Добролюбове, Герцене, Чернышевском и Бакунине: это составит в известном смысле очерк 40-х и 60-х годов XIX века. Во второй выпуск войдут статьи о народничестве, народовольчестве, рабочем движении: это даст нечто вроде очерка конца XIX века (с 70-х годов) и до нашего времени.

Сознавая все недостатки книги и во втором издании, я все же позволяю себе надеяться, что она найдет своего читателя и кое-что ему даст.

Из наново вставленных статей биографические очерки Герцена и Халтурина выпущены отдельно Госиздатом в 1923 году; статья «Социально-политические воззрения Бакунина» была напечатана в «Современном Мире», 1914 г. №№ 2 и 3; «Маркс и Бакунин»—в большевистском журнале «Просвещение», 1914 г., №№ 5 и 6; «Бакунин и франко-прусская война»—в «Голосе Минувшего», 1915 г., № 5; «Последние годы Бакунина»—в «Голосе Минувшего», 1914 г., № 5; воспоминания об якутской ссылке—в журнале «Каторга и ссылка», 1923 г., № 6; воспоминания об идейной борьбе в ссылке и в эмиграции должны появиться в № 17 «Пролетарской Революции» за 1923 год; воспоминания о Я. М. Свердлове напечатаны в сборнике «Четыре года клуба имени Я. М. Свердлова», изд. клубного отдела ВЦИК. Москва,—Кремль, 1923.

Ю. Стеклов.

Москва, 17 Марта 1923 года.

Часть первая

Добролюбов.—Герцен.—Чернышевский.—Бакунин

Социально-политические взгляды Добролюбова.

I. Демократия и социализм.

В великом расколе, разбившем после Крымской войны некогда единый лагерь русской оппозиции на два враждебных стана, кружок «Современника» представлял интересы революционной демократии, интересы трудящихся или, как тогда выражались, простонародья. При этом между обоими главными лидерами выступившей тогда на сцену разночинной интеллигенции или «молодого поколения», миросозерцание которого они обосновывали и выражали, установилось своего рода разделение труда, в значительной мере соответствовавшее различию их темпераментов: в то время, как Чернышевский взял на себя по преимуществу разработку программных вопросов, стараясь подвести под миросозерцание новой общественной силы философский фундамент и дать с ее точки зрения исчерпывающую критику тогдашних политических и экономических отношений, Добролюбов занялся, главным образом, разработкой вопросов тактических, вопросов о том, как применить на деле те положения, к которым уже привела теоретическая критика царивших общественных неустройств. Сдержанный и несколько скептически настроенный Чернышевский спокойно очищал столбовую дорогу русского прогресса от накопившегося на ней исторического мусора, освещая пути грядущим поколениям и расчищая арену для грядущих борцов. Его пылкий последователь Добролюбов, этот гениальный юноша, не знавший сомнений и не допускавший компромиссов, смело ринулся на открытую дорогу с развернутым знаменем, будя

уснувших, подстрекая отсталых и во всех вселяя сжигавшее его самого «глубокое чувство гражданского долга». Этим об'ясняется, почему в его сочинениях так много места отведено выяснению вопросов нравственности, которую он, конечно, трактовал не в абстрактно-философском, а в конкретно-агитаторском смысле.

Демократ до мозга костей, демократ не только по убеждениям, но и по происхождению и общественному положению, Добролюбов страстно, до болезненности мечтал об освобождении трудящихся и об'являл беспощадную войну всем видам гнета—идейного, политического и экономического. Для него сущность истории—это борьба за счастье, а цель истории—освобождение личности. Как у Чернышевского, так и у Добролюбова в центре миросозерцания стояла человеческая личность и ее благо,—именно потому, что они были последовательными демократами. Но, с другой стороны, именно потому они не могли также остановиться на голом политическом либерализме [1]) и ограничить всю свою деятельность одной борьбой за конституционные реформы, оставляя в тени социальные задачи. А эти последние они могли решать только в самом радикальном смысле, в интересах эксплуатируемого и угнетаемого народа.

Это в свое время подало повод к недоразумениям, которые не совсем рассеялись и доныне. Умеренно-либеральные противники Добролюбова и Чернышевского пустили в ход легенду об их политическом индифферентизме и даже об их якобы враждебном отношении к политическим свободам. Конечно, у того и другого можно найти несколько неясные и даже двусмысленные заявления по этому поводу. В те времена связь между социализмом и политической борьбой представлялась далеко не с надлежащей ясностью. Только после тяжелого исторического опыта, по прошествии двух десятилетий теоретических блужданий и практических неудач, эта связь начала выясняться, да и то с грехом пополам. Притом нельзя сказать,

[1]) Теперь бы мы сказали: на формальной, буржуазной демократии. (Примечание 1923 года).

чтобы и в настоящий момент все сомнения в этой области были окончательно рассеяны не только в таких отсталых странах, как Россия, но даже в передовых и политически наиболее развитых демократиях Запада. Тем более естественна некоторая невыясненность политических взглядов среди первых русских революционных демократов. Но вместе с тем, повторяем, о политическом безразличии или даже враждебном отношении к политической свободе у Чернышевского и Добролюбова не может быть и речи.

Он недвусмысленно выражает свое сочувствие политической демократии Северо-Американских Соединенных Штатов, где в основе всего государственного строя лежит «народная воля» и полная «административная децентрализация». В другом месте он доказывает, что истинный патриотизм, интерес отдельной личности к благу общества, мыслим лишь в конституционных государствах: его нет в Австрии и России, но он есть в Англии и Соединенных Штатах. А говоря о необходимости изменения общественных отношений в России, он набрасывает программу конституционно-демократических реформ, которую можно скорее упрекнуть в некоторой умеренности (уничтожение сословий, судебная реформа, равенство перед законом, участие граждан в общественных делах, обеспечение каждому продукта его труда и т. п. [1]). Если же ему приходится иронически или критически отзываться о конституционных стремлениях, то такое отрицательное отношение имеет совершенно определенный смысл и отнюдь не свидетельствует об его политическом индифферентизме.

В самом деле. Утверждать, что прежде всего необходимо освободить крестьян от рабства и вообще раскрепостить человеческую личность, обеспечив ей вместе с тем право на продукт ее труда, а что остальное, в том числе и политические вольности, уже приложатся потом, значит ли это быть политическим индифферентистом (тем более, что Добролюбов, как и Чернышевский, допускал возможность революционного освобождения

[1]) Русская сатира в век Екатерины („Совр“., 1859, № 10). Сочинения, изд. 6, т. I, стр. 159.

крестьян, которое одновременно было бы торжеством полной политической демократии и даже социализма)? В этом смысле Добролюбов и говорит, что «первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности» (Соч. III, 368). В этом-то смысле он и утверждает, что «наши (тогдашние) нужды настоятельнее, без удовлетворения их труднее прожить, нежели без удовлетворения того, к чему стремятся теперь европейские народы. Брайтовская реформа в Англии, свобода прессы во Франции, требуемая каким-нибудь Фавром или Оливье, без сомнения, вещи нужные, и современем они будут достигнуты, но для них еще время терпит, они далеко не так существенны и настоятельны, как законное обеспечение гражданских прав и материального быта миллионов народа, до сих пор более или менее терпевших от тяжелого влияния произвола. Для этих миллионов дело идет не о какой-нибудь прибавке к правам, которые они уже приобрели прежде, а чисто-на-чисто о создании хотя каких-нибудь прав, потому что под влиянием крепостного принципа они, если не **de jure**, то **de facto** не имели вовсе никаких» (ibid., 365).

Здесь Добролюбов рассуждает с точки зрения крепостного крестьянина. Но у него имеется также критика политических свобод и с точки зрения социалистически настроенного пролетария. Именно с этой точки зрения он говорит об ограниченном значении буржуазного парламентаризма. Издеваясь над французскими либералами, любящими поговорить с трибуны, но отступающими перед всякими решительными действиями, протестующими против произвола, но ненавидящими **suffrage universel** и боящимися народной свободы пуще всякого деспотизма, он пишет, что «то, чего они добиваются, недурно между прочим» [1]). В данном случае Добролюбов подчеркивает, впрочем, не столько ограниченность буржуазного либерализма с точки зрения его содержания, сколько со стороны методов борьбы (о чем ниже). Но говоря «между прочим», Добролю-

[1]) По поводу одной очень обыкновенной истории. Соч. IV, стр. 6.

бов, конечно, имеет в виду умолчание буржуазного либерализма о вопросах социальных, наиболее насущных для трудовых масс. В биографии Оуэна он рассказывает о нежелании великого утописта примкнуть к радикальной партии.

«В это время шли сильные толки о реформе г н и л ы х м е с т е ч е к, от которой радикалы ждали совершенного обновления общества. Оуэн в простоте души имел смелость об'яснить им, что замышляемые ими меры вовсе не так важны, что они даже недостаточны и что от них весьма мало будет толку для благосостояния народных масс. Радикалы вознегодовали и лишили Оуэна своего доверия. Прямодушие и решительность и тут повредили наивному чудаку!» (Соч., IV, 41).

Ясно, что Добролюбов сочувствует точке зрения Оуэна. Но вместе с тем столь же очевидно, что усматривать в подобной критике либерализма проявление политического безразличия не приходится. Теперь, конечно, мы несколько иначе сформулировали бы выраженную в вышецитированных словах Добролюбова мысль; мы не сказали бы: «вовсе не так важны» и, пожалуй, не стали бы так прямолинейно утверждать, что «от них весьма мало будет толка для благосостояния народных масс». Но с основным зерном добролюбовской мысли о недостаточности одних политических реформ с точки зрения трудящихся масс нельзя не согласиться, ибо она составляет основное и традиционное завоевание социализма. Заслуга Добролюбова и Чернышевского в том и заключается, что они внесли эту мысль в сознание русской демократии и этим предопределили ее социалистический уклон.

Само собою разумеется, что в социализме Добролюбова, как и в социализме Чернышевского, как, впрочем, почти во всем тогдашнем европейском социализме (кроме небольшой, тогда мало известной и не пользовавшейся еще влиянием группы марксистов), имеется немало утопических черточек. Так, социализм он понимает, как защиту «беспомощных людей» от одностороннего могущества капитала и, хотя это отчасти и верно, особенно по отношению к первым стадиям утопического социализма, но все-таки звучит несколько странно через 10 лет после 1848 года. Добролюбов, видимо, совершенно не по-

нимал исторического значения стачек и, желая оправдать Оуэна от несправедливых нападок, указывает, что тот с самого начала не совсем одобрял затевавшуюся всеобщую стачку («заговор рабочих против хозяев с целью заставить их повысить заработную плату»). С другой стороны, он выражает сочувствие и признает верной идею народного банка, дарового народного кредита и рабочих квитанций, выдвинутую Оуэном, а затем повторенную во Франции Прудоном. Но, конечно, этими промахами не исчерпываются же политические взгляды нашего автора.

Прежде всего, как представитель передовой и активной социальной группы, Добролюбов держался активной философии истории. Подобно Чернышевскому, он знал, что в основе исторического процесса лежит борьба классов. «Борьба аристократии с демократией,—говорит Добролюбов,—составляет все содержание истории». Но, поясняет он далее, речь идет здесь не о борьбе генеалогических интересов, а интересов экономических, интересов социальных: борьба идет, по словам Добролюбова, между людьми трудящимися и дармоедами. «Уничтожение дармоедов и возвеличение труда—вот постоянная тенденция истории». По степени большего или меньшего уважения к труду и по умению оценивать труд более или менее соответственно его истинной ценности можно узнать степень цивилизации народа. Степень возможности размножения дармоедства в народе может служить безошибочным указателем большей или меньшей недостаточности его цивилизации (это несколько напоминает Фурье, но только тот взял критерием цивилизации положение женщин). Поэтому история культуры должна, по мнению Добролюбова, заниматься не столько внешними политическими событиями, сколько

> «с одной стороны, правами рабочих классов, а с другой—дармоедством во всех его видах, в печальном ли табу океанских дикарей, в индийском ли браминстве, персидском ли сатрапстве, римском патрицианстве, средневековой десятине и феодализме, или в современных откупах, взяточничестве, казнокрадстве, прихлебательстве, служебном бездельничестве, крепостном праве, де-

нежных браках, дамах в камелиях и других подобных явлениях... Дармоедство теперь прячется, правда, под покровом капитала и разных коммерческих предприятий, но тем не менее оно существует везде, эксплуатируя и придавливая бедных тружеников, которых труд не оценивается с достаточной справедливостью» [1]).

Некогда представителем дармоедства был класс феодалов, но постепенно к нему присоединялась и буржуазия, «окраина народа, те мещане, которых, по мнению г. Бабста, так не любят наши широкие натуры». Но лишь только мещане на себе почуяли благодать прогресса,—говорит Добролюбов,—они постарались прибрать ее к рукам и не пускать дальше в народ. И до сих пор массе рабочего сословия во всех странах Европы приходится расплачиваться, например, за прогресс фабричного производства, столь приятный для мещан. «Стало быть,—заключает наш автор,—теперь вся история только в том, что актеры переменились, а пьеса разыгрывается все та же». Прежде городские общины боролись с феодалами, стараясь получить свою долю в благах, которые человечество в своем прогрессивном движении завоевывает у природы. Города отчасти успели в этом стремлении, но при этом в правах, им уступленных, только очень ничтожная доля взята была действительно от феодалов; значительную же часть этих прав приобрели мещане от народа, положение которого и без того было очень тяжелым. «И вышло то, что рабочий народ остался под двумя гнетами: и старого феодализма, еще живущего в разных формах и под разными именами во всей западной Европе, и мещанского сословия, захватившего в свои руки всю промышленную область. И теперь в рабочих классах накипает новое неудовольствие, глухо готовится новая борьба, в которой могут повториться все явления прежней» [2]).

При этом выясняется одна любопытная черта, решительно отличающая Добролюбова, как и его учителя Чернышевского,

---

[1]) Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым. Соч. II, 293—294.

[2]) От Москвы до Лейпцига. Соч., III, 176.

от утопистов старой школы. Подобно бланкистам и другим инстинктивным революционерам, вышедшим из рядов рабочей массы, он абсолютно не верит в добрую волю и совесть господствующих классов и все свои надежды в смысле осуществления справедливости на земле возлагает исключительно на движение трудящихся масс и в частности пролетариата. В этом смысле встречающееся у него в статье о Роберте Оуэне выражение «бедствие пролетариата», подобно известному выражению Чернышевского «язва пролетариата», не должно вводить нас в заблуждение. Конечно, Добролюбов, подобно всякому социалисту, считал положение пролетариев, принужденных «отдавать свой труд в распоряжение богатых спекуляторов» и в любую минуту рискующих остаться без работы, крайне бедственным. Но это, конечно, не значит, чтобы он совершенно не понимал исторической роли пролетариата, по крайней мере, в промышленных странах Западной Европы. Он смеется над надеждами либерального экономиста Бабста, будто Европу спасут от классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией гласность, образованность и прочие блага. Эти наивные надежды Бабста Добролюбов об'ясняет тем, что тот рассматривает события с точки зрения обеспеченных средних классов.

> «О роли народных масс в будущей истории Западной Европы почтенный профессор думает очень мало. Он полагает, что для них достаточно будет отрицательных уступок, уже ассигнованных им в мнении высших классов, т.-е. если их не будут бить, грабить, морить с голоду и т. п. Но такое мнение, во-первых, не вполне согласуется с желаниями западного пролетария, а, во-вторых, и само по себе довольно наивно. Как будто можно для фабричных работников считать прочными и существенными те уступки, какие им делаются хозяевами и вообще капиталистами, лордами, баронами и т. д.... Милостыней не устраивается быт человека; тем, что дано из милости, не определяются ни гражданские права, ни материальное положение. Если капиталисты и лорды и сделают уступку работникам и фермерам, так или такую, которая им самим ничего не стоит, или такую, которая им даже вы-

годна... Но как скоро от прав работника и фермера страдают выгоды этих почтенных господ,—все права ставятся ни во что и будут ставиться до тех пор, пока сила и власть общественная будут в их руках... И пролетарий понимает свое положение гораздо лучше, нежели многие прекраснодушные ученые, надеющиеся на великодушие старших братьев в отношении к меньшим... Пройдет еще несколько времени, и меньшие братья поймут его еще лучше. Горький опыт научает понимать многие практические истины» (Соч., III, 176—177).

Мы намеренно привели эту длинную цитату из статьи Добролюбова, потому что в ней совершенно наглядно выступает его строгий социальный реализм, которого не подкупить никаким либеральным прекраснодушием и не смягчить розовой водицей социал-реформаторского штопанья. Прежде всего Добролюбов вообще не возлагает особых надежд на частичные реформы в рамках современного социального строя, а затем он прекрасно знает, что всякая реформа вырывается у господствующего класса только напором народного движения. «Призовите на помощь историю,—говорит он либеральному публицисту:—где и когда существенные улучшения народного быта делались просто вследствие убеждения умных людей, не вынужденные практическими требованиями народа?». Разглагольствования же о силе общественного мнения вызывают у Добролюбова только презрительное пожимание плеч. «Общественное мнение!». Но, во-первых, мнение «умных», «благожелательных», «прогрессивных», «лучших» и пр. людей сплошь и рядом наталкивается на «кирасирское решение экономических вопросов», т.-е. на грубую физическую силу господствующих классов, а, во-вторых, «так называемое общественное мнение в Европе далеко не есть в самом деле общественное убеждение всей нации, а есть обыкновенно (за исключением весьма редких случаев) мнение известной части общества, известного сословия или даже кружка, иногда довольно многочисленного, но всегда более или менее своекорыстного».

Оттого-то, с одной стороны, общественное мнение буржуазии вообще игнорирует насущные нужды низших классов, еще бесправных и безгласных, а, с другой стороны, силы старого самодержавного режима не слишком-то смущаются буржуазной оппозицией, зная, что представители ее сами заинтересованы в эксплуатации народных масс, а значит, и в их бесправности и безгласности. Этим-то молчаливым соглашением между абсолютизмом и буржуазией, установившимся вследствие усиления рабочего движения, и об'ясняется, по мнению Добролюбова, сила сопротивления абсолютизма движению в пользу политической свободы.

«Если рассмотреть дело ближе,—говорит он,—то и окажется, что между грубым произволом и просвещенным капиталом, несмотря на их видимый разлад, существует тайный невыговоренный союз, вследствие которого они и делают друг другу разные деликатные и трогательные уступки, и щадят друг друга, и прощают мелкие оскорбления, имея в виду одно: общими силами противостоять рабочим классам, чтобы те не вздумали потребовать своих прав... Самая борьба городов с феодализмом была горяча и решительна только до тех пор, пока не начала обозначаться пред тою и другою стороною разница между буржуазией и работником. Как только это различие было понято, обе враждующие стороны стали сдерживать свои порывы и даже делать попытки к сближению, как бы в виду нового общего врага. Это повторялось во всех переворотах, постигших Западную Европу, и, без сомнения, это обстоятельство было очень благоприятно для остатков феодализма, как для партии уже ослабевшей. Но для м е щ а н эта робость, сдержанность и уступчивость были вовсе не выгодны: вместо того, чтобы окончательно победить слабевшую партию и истребить самый принцип, ее поддерживавший, они дали ей усилиться из малодушного опасения, что придется поделиться своими правами с остальною массою народа. Вследствие таких своекорыстных ошибок остатки феодализма и принципы его—произвол, насилие и грабеж—

до сих пор еще не совсем искоренены в Западной Европе и часто выказываются то здесь, то там в самых разнообразных, даже цивилизованных формах».

В основе общественных отношений,—подчеркивает Добролюбов,—лежит принцип эксплуатации. С историческим развитием меняется только форма этой эксплуатации, становясь более ловкою и утонченною, но сущность все-таки остается та же, и вот почему необходимо для уничтожения зла начинать не с верхушки и побочных частей, а с основания. Добролюбов решительно отвергает все паллиативные и «половинные» меры, которые могут только повредить. Необходимо уничтожить самый принцип современного общественного строя, принцип эксплуатации, и заменить его новым принципом братства и равенства. «Тратиться по мелочам решительно не для чего: нужно непременно пустить в оборот весь капитал, сколько его найдется»...

Ибо его принципом всегда было: лучше потерпеть кораблекрушение, чем увязнуть в тине.

II. Крепостное право, абсолютизм, либерализм.

Естественно, что к тогдашним русским социально-политическим отношениям Добролюбов не мог относиться иначе, как с крайней враждой, и эту вражду он распространял также на всех тех, кто вольно или невольно являлся пособником царившего на Руси зла. И прежде всего Добролюбов страстно ненавидел тогдашний русский политический режим, в атмосфере которого задыхалось все честное и живое. С нескрываемой злобой говорит он о «разных неблагоприятных петербургских влияниях», губящих нежные ростки молодой общественности. Он чувствует «глубокую, непримиримую ненависть к тем влияниям, которые так задерживают и искажают нормальное развитие личности», ко всем принципам, на которых построено темное царство. Абсолютизм—вот враг, но ведь этот абсолютизм представляет лишь политическую оболочку того ненавистного социального явления, которое, под названием крепостного права, проникло во все поры национального организма и отравило его. Поэтому, первые и наиболее жестокие удары должны достаться этому главному, изначальному злу русской истории, которое, даже после своей юридической отмены, долго еще будет влиять на нашу общественную жизнь и на наши житейские отношения. Главная задача русской литературы это—бороться со всеми идейными и материальными пережитками крепостного права, «преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия, возводя их к коренному их началу».

Мы видели выше, что уничтожение крепостного права Добролюбов считал первым шагом к национальному освобождению, признавая эмансипацию рабов более насущной и настоя-

тельной задачей, чем завоевание даже политических вольностей. В настоящий момент будет совершенно бесплодным делом поднимать спор о том, можно ли и следует ли логически отделять эти два момента в демократической программе. Исторически они, во всяком случае, оказались разделенными на полвека. Для нас важно лишь указать, с какой жгучей страстью тогдашние демократы относились к вопросу о превращении русского крестьянина из крепостного раба в свободного гражданина, могущего хотя бы и в узких пределах, допускаемых административным строем, располагать своей личностью. А как отзывался на этот больной вопрос Добролюбов, видно из инцидента, о котором рассказывается в материалах для его биографии, собранных Чернышевским.

В одной из комнат Педагогического Института в начале 1857 года собралось несколько студентов, в том числе и Добролюбов. Явился какой-то студент, который, как помещик, слыл аристократом среди этих голышей. Передавая слух о предстоящем освобождении крестьян, этот господин высказал мнение, что Россия еще не созрела для такой реформы, причем выразил неудовольствие по поводу грозящих ему, как помещику, убытков вследствие освобождения крепостных. Здесь Добролюбов, обыкновенно отличавшийся удивительным самообладанием, не выдержал; бледный, вскочил он со своего места и неистовым голосом, какого до сих пор никто не слыхал от него, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Вон, бездельник! Вон, бесчестье нашей камеры!»

В этой сцене есть положительно нечто символическое. И впоследствии, сделавшись влиятельным литератором и властителем дум молодого поколения, он с той же жгучей ненавистью продолжал относиться ко всякому гнету и эксплуатации и ко всем тем, кто из личных или групповых видов готов был мириться с царящим злом или даже поддерживать его. И сквозь блестящий стиль его страстных статей, написанных в буквальном смысле кровью сердца и соком нервов, нам слышится, хотя и заглушенный цензурным намордником, неистовый голос великого энтузиаста, зовущий к беззаветной борьбе с темными силами жизни.

С каким убийственным сарказмом охарактеризовано им царящее на Руси бесправие и гнет в знаменитом сравнении угнетенной Болгарии со свободной Россией!

«Болгария порабощена, она страдает под турецким игом. Мы, слава богу, никем не порабощены, мы свободны, мы—великий народ, не раз решавший своим оружием судьбы царств и народов; мы владеем другими, а нами никто не владеет... В Болгарии нет общественных прав и гарантий... Россия, напротив того, государство благоустроенное: в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности; в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность. Церквей ни у кого не отнимают и веры не стесняют решительно ничем, а, напротив, поощряют ревность проповедников в обличении заблудших; прав и земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел доселе; в виде стада никого не гонят... У нас есть законы, для всех равные и нелицеприятно наказывающие преступление!» (Соч., III, 283—284).

Все отрицательные черты, присущие старому режиму, всю свойственную ему некультурность, начальническую грубость и дикость, все пагубное влияние его на общество, на отдельных лиц и на целые классы Добролюбов сконцентрировал в могучем образе «темного царства», охватившего своими щупальцами многострадальную русскую жизнь и жадно пьющего ее жизненные соки. «Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом темном мире: господствующее над ним самодурство—дикое, безумное, неправое—прогнало из него всякое сознание чести и права. И не может быть их там, где повержено в прах и нагло растоптано самодурами человеческое достоинство, свобода личности, вера в любовь, и счастье и святыня честного труда». Сущность темного царства заключается в диком, бесправном самовольстве одних над другими. Темное царство—это война всех против всех: война жены с мужем, мужа с женою, родителей с детьми, детей с родителями, хозяев с приказчиками, начальников с подчиненными. «И все эти люди воюют общими силами против людей честных, которые могут открыть глаза угнетенным труженикам и научить их

громко и настоятельно пред'явить свои права». Одним словом, это всестороннее осадное положение. Вся ложь, все зло темного царства «тяготеет страданиями и лишениями именно только над теми, которые слабы, изнурены и необеспечены в жизни; для людей же сильных и богатых та же самая ложь служит к услаждению жизни». Отсутствие всякого закона, всякой логики—вот закон и логика темного царства. Это не анархия, но нечто гораздо худшее. «Вообразите, что анархическое общество разделилось на две части: одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать законом всякую претензию первой и безропотно сносить все ее капризы, все безобразия». Таким образом,—говорит Добролюбов,—имея общим с анархией отсутствие всякого закона и права, обязательного для всех, самодурство в сущности несравненно ужаснее анархии, потому что дает озорничеству больше средств и простора и заставляет страдать большее число людей. С другой стороны, оно опаснее ее еще в том отношении, что может держаться гораздо дольше. Анархия (если она вообще возможна) может служить только переходным моментом к более рациональному устройству; самодурство, напротив, стремится узаконить себя и установить как незыблемую систему. Оттого оно вместе с самым широким понятием о своей собственной свободе старается принять все возможные меры, чтобы сохранить эту свободу навсегда только за собою и оградить себя от всяких посягательств. При этом жертвы темного царства всем своим положением, всей своей жизнью под гнетом произвола приучены уже мириться с безотчетностью и бессмыслием в общественной жизни и потому находят неловким и даже дерзким настойчиво доискиваться разумных оснований в чем бы то ни было. Если же какой-нибудь смельчак вздумает упорствовать в своей критике, то темное царство быстро расправится с ним своими специфическими средствами. «Поневоле тут резонировать перестанешь, когда на всякий резон кулак отвечает, и всегда в конце концов кулак остается правым».

Темное царство не только угнетает и убивает свои жертвы, но, что гораздо ужаснее, оно их обезличивает и делает неспо-

собными к протесту. В каких бы умеренных формах самодурство ни выражалось, в какую бы кроткую опеку ни переходило, оно все-таки ведет к обезличению людей, подвергшихся его влиянию. Отрицая права личности, кладя страх и покорность в основу воспитания и нравственности, принципы темного царства только и могут влечь за собою произвол, угнетение и обман. Но что ужаснее всего, в обществе, воспитанном под влиянием этих принципов, нет решимости на борьбу, нет способности к энергичному протесту. И если темное царство, столь гибельное для угнетенной массы и благоприятствующее только кучке насильников и эксплуататоров, все-таки сохраняется, то об'ясняется это множеством исторически сложившихся причин, из которых Добролюбов отмечает чувство законности, парализующее назревающий протест, засим материальную зависимость массы от господствующего класса, наконец, историческую косность и неподвижность темного царства, стоящего в стороне от кипучей свалки исторического прогресса. «Они (жители волжского городка) больше проводят время у себя дома, занимаются хозяйством, кушают, спят,—спать ложатся очень рано, так что непривычному человеку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задают себе. Но что же им делать, как не спать, когда они сыты? Их жизнь течет ровно и мирно, никакие интересы мира их не тревожат, потому что не доходят до них; царства могут рушиться, новые страны открываться, лицо земли может измениться, как ему угодно, мир может начать новую жизнь на новых началах,—обитатели городка Калинова будут себе существовать попрежнему; в полнейшем неведении об остальном мире. Всякая попытка итти наперекор убеждениям этой темной массы, ужасной в своей наивности и искренности, фатально обречена на плачевное фиаско. Масса проклянет смельчаков, будет бегать от них, как от зачумленных, не по злобе, не по расчету, а по глубокому убеждению в том, что новаторы сродни антихристу; в лучшем случае она сочтет их полоумными и станет над ними подсмеиваться.

Совершенно очевидно, что под видом критики купеческого быта, как он отразился в комедиях Островского, Добролюбов

подвергает убийственному анализу основные черты социально-политической физиономии старого режима и блестяще характеризует ту психику и то настроение, которые в последнее время получили название черносотенства. Он всячески дает понять читателю, что самодурство в национальном масштабе как раз и превращается в деспотический режим. Психика Торцова есть та же психика восточного султана, располагающего неограниченной властью.

> «Разница только в размерах, а сущность дела та же самая в словах Торцова. Дай ему какой-нибудь халифат, он и там стал бы распоряжаться так же точно, как теперь в своем семействе. Дурил бы, презирая все человеческие права и не признавая других законов, кроме своего произвола, а подчас удивлял бы своим великодушием, основанным опять-таки на той мысли, что «вот, дескать, смотрите, у вас прав никаких нет, а на все моя полная воля; могу казнить, могу и миловать!».
>
> «Конечно,—поясняет Добролюбов в другом месте,— купеческие самодуры сердиты, да не сильны, и общество очень много от них страдать не может. Но родовые черты самодурства остаются те же во всех сферах, и чем сфера обширнее, тем самодурство ужаснее и вреднее».

Прозрачно намекая на более широкую сферу проявлений самодурных принципов, он говорит: «Личность самодура ставится здесь центром всего нравственного мира; от нее все исходит, и к ней все должно возвращаться. Нет никаких прав, кроме милости самодура, никаких нравственных правил, кроме угождения его воле... Таким образом, вопрос о законности ставится здесь с бесстыдной прямотой: закон есть не что иное, как воля самодура, и все должны ей подчиняться, а он не должен стесняться ничем... Каково жить людям под такой моралью!».

В сфере бюрократической самодурство еще гаже и возмутительнее, чем в купеческом быту, потому что здесь дело идет об общих интересах и прикрывается именем права и закона.

«Кроме того, здесь мы видим уже бесчисленное множество оттенков и степеней; и чем выше, тем самодурство становится наглее внутренно и гибельнее для общего блага, но благообразнее и величавее в своих формах».

Это уж, кажется, довольно ясно, но как бы не желая оставить в уме читателя места ни для каких сомнений, Добролюбов неоднократно подчеркивает, что он говорит о самодурстве «в обширном значении слова», что принужден держаться «отчасти метафорического способа выражения», и что по требованию самого предмета он должен был взять для своей статьи «фигуральную форму». То же, что автор никак не мог удовлетворительно изложить и в этой фигуральной форме, он предпочел пока вовсе оставить в стороне, но при этом он выражал надежду, что читатель, внимательно следивший за его статьями, сам сделает надлежащие выводы и заключения.

И он был, конечно, прав. Читатель-друг, умевший читать между строк, прекрасно понимал, к чему клонит его любимый писатель. Вместе с ним он приветствовал приближающийся конец темного царства, вместе с ним он жадно ловил симптомы разложения печального режима, вместе с ним он благословлял «другую жизнь», которая выросла, не спросясь самодуров, и хотя далеко она еще и не видна хорошенько, но уже дает себя предчувствовать и пробуждает смутную тревогу в душе насильников. Вместе с ним он всеми силами призывал «новое движение народной жизни», отражение которого Добролюбов усмотрел в характере Катерины из «Грозы»: в этой личности он видел уже возмужалое, из глубины всего организма возникающее «требование права и простора жизни». Вместе с ним он радостно констатировал, что «отовсюду возникают требования, враждебные их (самодуров) произволу и грозящие им борьбою с пробуждающимся здравым смыслом огромного большинства человечества». Вместе с ним он признавал Катерину представительницей «великой народной идеи» протеста, и вместе с ним он понимал, что против самодурства можно действовать только силой, ибо никаких резонов самодурство не понимает: «ясно, что его никакие разумные убеждения не остановят до тех пор, пока с ними не соединяется ося-

зательная для него внешняя сила». И хотя он вместе с автором прекрасно знал, что самодурство не отдаст «свое значение и свою силу без сопротивления», тем не менее для всех, имевших очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, ясно было, что самодурство, недавно еще столь прочное и державшееся чуть ли не всеобщим согласием, после Крымской войны зашаталось, и казалось, что нужна лишь решимость и энергия для того, чтобы смелым натиском спровадить чудовище самодурства в царство теней и раз навсегда «зачислить его по химии» [1]).

Но для этого нужна была именно решимость. Во всех своих статьях Добролюбов не устает развивать эту мысль, варьируя ее на все лады, выворачивая и освещая ее со всех сторон, стараясь вселить в читателя убеждение, что все частичные реформы абсурдны, нелепы и вредны, что прогнившее насквозь здание самодурства подлежит радикальной ломке и сносу. Поражать зло надо в самой его сущности, не переставая твердил он молодому поколению, и «бесполезны в практическом отношении все нападки на частные проявления зла без уничтожения самого корня его». А в чем, по мнению Добролюбова, заключается этот корень, мы видели раньше: это—крепостничество во всех его социальных, психологических и политических проявлениях, в частности режим политического самодурства, чудовищный Левиафан, которого нужно поразить в первую голову (т.-е. царское самодержавие).

Но откуда возьмутся деятели, способные осуществить эту историческую задачу? На либералов кружок «Современника», и в особенности Добролюбов, возлагал очень мало надежд не только потому, что либералы меньше всего заботятся о народных интересах и преследуют чисто буржуазные цели, но и (и даже главным образом) потому, что они совершенно неспособны к энергичной борьбе даже за свои ограниченные цели, и еще в колыбели поражены параличем воли. Известно, с какой беспощадностью Добролюбов бичевал дряблость и бесхарактерность русского так называемого «образованного обще-

[1]) Выражение Герцена по поводу смерти Николая I.

ства», с какой злостью (и что еще более раздражало их, с каким талантом и с какой меткостью) он высмеивал политическую невоспитанность, ребяческие увлечения и неосновательную восторженность тогдашних либералов. И подобно тому, как все отрицательные черты политического самодурства он об'единил в образе темного царства, он создал для характеристики всех недостатков современного ему российского либерализма не менее яркий образ о б л о м о в щ и н ы, в котором органически соединились: барство, дармоедство, бездельничество, неспособность к живому делу и полнейшая бесхарактерность. Обескураживающую дряблость российского либерализма Добролюбов об'ясняет его барским происхождением. Крепостное право, извращавшее душу народную, в еще большей степени калечило и уродовало душу рабовладельца. Старый русский либерал, представитель «образованного общества», человек 40-х годов, это прежде всего, барин, у которого «есть Захар и еще 300 Захаров», который привык поэтому к безделью и сибаритству и не способен к серьезным усилиям и проявлению энергии. «Когда он вырастает, он делается Обломовым с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством—отвращением от серьезной и самобытной деятельности». Эти люди одержимы, своего рода, «нравственным рабством». Они страдают от того, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности; беспомощно мечутся они из стороны в сторону, но из их усилий ничего не выходит: «над всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладет на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете». Они неспособны к «страшной смертельной борьбе с обстоятельствами, которые их давили», и с ужасом отступают перед приглашением к действительно серьезной работе, к практическому осуществлению ими же проповедывавшихся отвлеченных начал. На отравленной почве темного царства не могли вырасти сильные характеры, действительные носители гражданской доблести.

«Решимся выговорить слово правды: целые поколения

жили и прожили у нас, не сделав ничего путного и показав только, что они не годны к настоящему делу потому именно, что в их понятиях и привычках всегда бродила закваска крепостных воззрений, и вся жизнь их слагалась с самого начала под влиянием крепостного устройства».

Не довольствуясь критикой умеренного либерализма в «серьезных» статьях, где он вместе с Чернышевским неустанно разоблачал барско-либеральное прекраснодушие и торжественно-напыщенное разглагольствование о русском прогрессе, Добролюбов завел при «Современнике» знаменитое сатирическое приложение «Свисток». В этом «Свистке», который составлялся почти исключительно Добролюбовым, в стихах и в прозе безжалостно вышучивалась либеральная восторженность, умеренность, аккуратность и набившая в те времена оскомину беззубая «гласность» и, вместе с тем, наглядно доказывалось, что вопреки оптимистическому кликушеству либералов ладья русского прогресса не только не пошла полным ходом вперед, но продолжает, как и прежде, преблагополучно торчать в старом историческом болоте.

Известно, что обличительная кампания Добролюбова и Чернышевского против либералов вызвала вмешательство Герцена, который, под влиянием Кавелина и К°, резко обрушился на революционный кружок «Современника» пресловутой статьей «Very dangerous», в № 44 «Колокола» 1859 года. В этой неудачной и бестактной статье Герцен, причислявший самого себя к людям 40-х годов и косвенно задетый нападками наших радикалов, отказывался принять взгляды Чернышевского и Добролюбова за выражение общественного мнения и намекал на то, что их статьи внушены им правительством. Особенно возмущало Герцена несправедливое, по его мнению, отношение «желчевиков» (т.-е. радикалов) к «лишним людям», к людям 40-х годов, которые при всех своих недостатках принесли все-таки известную пользу в качестве первых пропагандистов освободительных идей в России, и если не сделали больше, то сплошь и рядом ввиду внешних препон.

Но этого Добролюбов и не отрицал. Конечно, в качестве

страстной натуры и бойца, истекающего горячей кровью за дорогое ему дело, он мог в отдельных случаях увлекаться, преувеличивать и высказывать несправедливые суждения. Ибо кто в пылу битвы взвешивает силу удара? Но, в качестве исторического детерминиста, он прекрасно знал и неоднократно высказывал, что личность есть продукт среды, и что промахи людей часто зависят не от их воли, а от обстоятельств. Если он с точки зрения активного общественного деятеля строго осуждал Бельтовых и Рудиных, как лишних людей, неспособных к героическому усилию, то, становясь на почву историка общественных настроений, он иначе относился к «сборам на борьбу и страданиям героя, хлопотавшего о победе своих начал, и к его падению перед подавляющею силою людской пошлости». И он определенно признавал, что в свое время эти люди сделали свое и далеко не бесполезное дело:

> «Они были вносители новых идей в известный круг, просветители пропагандисты,—хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это их очень хвалили, и точно—в свое время, они, видно, очень нужны были, и дело их было очень трудно, почтенно и благотворно. Недаром же все встречали их с такой любовью, так сочувствовали их душевным страданиям, так жалели об их бесплодных усилиях».

Но наступили новые времена. Теперь роль благожелательных, но бесплодных идеалистов уже сыграна. «Нужно уже нечто другое, нужно итти дальше».

После того, как период подготовительный, период пропагандистский закончен, должна наступить полоса активных исторических действий: «после периода с о з н а н и я известных идей и стремлений должен являться в обществе период их о с у щ е с т в л е н и я; за размышлениями и разговорами должно следовать дело». Ту же мысль Добролюбов настойчиво развивает в статье «Благонамеренность и деятельность», написанной по поводу повестей и рассказов Плещеева.—Нам теперь,—говорит он,—вовсе не нужны люди с хорошими мечтами и с идиллическими ожиданиями. «Прекрасным стремлениям души мы не придаем никакого практического значения,

пока они остаются только стремлениями: да, мы ценим только факты, только по действиям признаем достоинство людей».

Но кто же будет совершать эти необходимые исторические действия? Конечно, не выходцы из Обломовки, над которою Добролюбов произнес суд беспощадный; и не умеренно-аккуратные и добродетельные Штольцы, которые поспешили успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастьи и, судя по этому, не доросли еще до идеала русского общественного деятеля («да и нельзя еще: рано»,—прибавляет Добролюбов). Кто же, наконец, сдвинет с места колесницу русского прогресса всемогущим словом: «вперед!», о котором так мечтал Гоголь, и которого так давно и томительно ожидает Русь? Рассчитывать на добрую волю господствующих классов—безумие: никогда цепь добровольно не распадается на узнике, ее нужно разорвать силой. Столь же мало надежд можно возлагать на бессильный, малодушный либерализм, уже идущий на всякие уступки и компромиссы и этим поддерживающий господство дикого самодурства. Все свои надежды Добролюбов возлагает на молодое поколение и на народную массу: соединение этих двух элементов новой жизни и должно положить конец темному царству и заложить основы свободного и разумного общества, построенного на принципах братства и равенства.

III. Народ и освободительное движение.

В 1859 году (май—статья об «Обломовщине», июнь и сентябрь—статьи о «Темном Царстве») Добролюбов еще не верит в непосредственную близость движения. Ему кажется, что темное царство настолько искалечило свои жертвы, что они уже неспособны к массовому и решительному протесту, и что в сущности из этого тупого переулка нет выхода, по крайней мере, в ближайшее время. Он находит, что Гончаров слишком рано решился похоронить обломовщину и сказать ей надгробное слово. Обломовка, наша родина, жива и долго еще будет, подобно болоту, засасывать все живые силы. Но это пессимистическое настроение Добролюбова скоро изменяется, и в 1860 году (март—статья о «Накануне», октябрь—статьи о «Грозе») он уже верит в неотвратимое приближение освободительного поворота, уже ловит чутко настороженным ухом отдаленные глухие раскаты надвигающейся грозы. Теперь ему кажется, что «тоска ожидания, которая давно уже томит русское общество», готова рассеяться.

С одной стороны здесь действовали чисто русские условия: уже выяснившийся к тому моменту характер крестьянской реформы, неспособной дать удовлетворение народным стремлениям и чаяниям, и растущая, в связи с этим, смелость крайней оппозиции. С другой—начавшееся с конца 50-х годов политическое оживление в Западной Европе, связанное с пробуждением рабочего движения, пробуждением, которое через несколько лет положило основание Первому Интернационалу.

И вот Добролюбов вместе со своим скептическим другом Чернышевским начинает надеяться на возможность движения

в России. В дневнике Левицкого [1]) изложены беседы Добролюбова (Левицкого) с Чернышевским (Волгиным), причем последний излагал свои глубокие, но подернутые дымкой безнадежного скептицизма мысли, а первый не всегда соглашался и возражал. Волгин говорил, что, вероятно, скоро где-нибудь в Европе, вероятнее всего во Франции, подымется буря и пойдет гулять по остальной Европе, как было в 1848 году. В 1830 году буря прошумела только по западной Германии, в 1848 году захватила Вену и Берлин; судя по этому, надобно думать, что в следующий раз она захватит Петербург и Москву. К этому времени и должна приберечь себя молодежь, чтобы было кому говорить во имя народа.

Но с такою ролью, отводимою молодежи, Добролюбов, считавший себя выразителем взглядов действующего молодого поколения, согласиться, конечно, не мог. Ведь все его статьи как раз и представляют несмолкаемый бурный протест против нерешительности и выжидательной тактики и сплошной гимн энергии, решимости и активности. Он не мог опровергнуть пессимистических рассуждений своего более опытного и ученого друга, но чувствовал, что в спорах с Волгиным у него была сильная сторона, а именно действенный порыв к практической работе. Он говорит:

> «Но в одном я был правее Волгина: никакое положение дел не оправдывает бездействие; всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать все, что можно. Об это разбивались все его насмешки над его собственною деятельностью, которая кажется ему пустою, и над моими стремлениями к такой же работе—положим, и действительно мелкой, жалкой».

Мелкой и жалкой Добролюбов готов, в припадке меланхолии, признать свою литературную работу, но отнюдь не порыв к воплощению своих идей в жизни,—рассуждения, но не дело. Пусть даже попытка к практическому осуществлению идеи рискует закончиться неудачей, она все-таки должна быть сделана, иначе «деятели» не исполнят своей обязанности перед

---

[1]) Вторая часть Пролога (см. соч. Чернышевского, т. X, ч. 1).

обществом: «элемент общественный вступил в свои права,—пишет он в статье о рассказах Плещеева,—и мы должны рассматривать себя как членов общества, обязанных что-нибудь делать для него, так как иначе мы будем ему вредны уже одним своим тунеядством».

Общество понимается здесь, конечно, в широком смысле, а не в смысле «общества» в кавычках или так называемого «образованного общества», к которому, как мы уже видели, Чернышевский и Добролюбов относились крайне отрицательно. И как бы плохо ни было это общество, попытка все-таки должна быть сделана, она не может не быть сделана, потому что этого перехода к действию властно требует сама натура действующего молодого поколения. Проживая в глухой провинции, Добролюбов-Левицкий вспоминает беседы со своим учителем Чернышевским-Волгиным.

> «В голове Петербург, журналистика, наши либералы и Волгин, с вялою усмешкою говорящий: «Эх, вы! Ну, какое пиво сваришь с этой сволочью?» И возражаешь Волгину: «Где же, когда же общество не было толпою сволочи? А между тем, порядочные люди всегда и везде работали».—«Натурально, по глупости; всегда и везде умные люди были глупы, Владимир Алексеевич. Что за радость толочь воду?—продолжал Волгин свои вялые сарказмы:—история движется не тем, не мыслями и работою умных людей, а глупостями дураков и невежд. Умным людям не для чего тут мешаться; глупо мешаться не в свое дело, поверьте». Отвечаешь ему и на это: «Вопрос не в том, умно ли мешаться, а в том, можешь ли не мешаться? Умно ли моему телу дрожать от холода, умно ли моей груди чувствовать стеснение в удушающем газе? Глупо. Лучше бы для меня, если бы иначе; но такова моя природа: дрожу от холода, негодую на подлость, и если нечем пробить стену душной тюрьмы, буду биться в нее лбом,—пусть она не пошатнется, так хоть он разобьется—все-таки я в выигрыше». Вижу вялую улыбку, вижу покачивание головы: «Эх, Владимир Алексеевич, натурально в этом смысле вы говорите справедливо, но

поверьте, не стоит иметь такие чувства».—«Не в том дело, стоит ли иметь, а в том, что имеешь их».

Психология молодого поколения складывалась из двояких элементов. Во-первых, сюда входило то, что впоследствии получило название долга перед народом и составило отличительную черту так называемого «кающегося дворянина».

> «Все эти поколения,—говорит Добролюбов,—прожившие свою жизнь даром, на счет других—все они должны были бы почувствовать стыд, горький стыд при виде самоотверженного бескорыстного труда своих крестьян... Горькое и тяжелое чувство сдавливает грудь при воспоминаниях о давно минувших несправедливостях и насилиях» [1].

И, действительно, часть молодых выходцев из помещичьего класса почувствовала стыд при виде страдания эксплуатируемого народа и пыталась, принося себя в жертву, искупить хоть часть исторической вины, великого исторического греха перед народной массой. Но другая, наиболее многочисленная и активная часть молодого поколения не имела ничего общего с эксплуататорским классом, а сама вышла из среды низших или, точнее, средних классов, мещан, духовенства, низшего чиновничества и т. п. Это были так называемые «разночинцы». В них говорил не голос покаяния за грехи, которых они не совершали, а протест против всяческих несправедливостей, которым они сами подвергались в классовом и сословном обществе. В них преобладает бодрый дух поднимающегося класса, дерзкая удаль, вызов судьбе, готовность сыграть с капризной историей ва-банк. Их сочувствие к униженным и оскорбленным базируется не на чувстве жалости или раскаяния, а подсказано здоровым социальным эгоизмом, чувством классового самосохранения.

Эти люди соединяют «с справедливостью и возвышенностью стремлений честную и неутомимую деятельность». Боль о чужом страдании, протест против социальной и политической эксплуатации соединяется в них с жаждою деятельного добра. Новое поколение, по словам

[1] Деревенская жизнь помещика в старые годы. Соч., I, 326.

Добролюбова, не обольщается «колоссальной фразой» и ложью самонадеянного либерализма. От предыдущего поколения оно отличается своим реалистическим характером. Люди того поколения проникнуты были высокими, но несколько отвлеченными стремлениями. Они стремились к истине, желали добра, их пленяло все прекрасное, но выше всего был для них принцип [1]). «Принципом же называли общую философскую идею, которую признавали основанием всей своей логики и морали. Страшной мукой сомнения и отрицания купили они свой принцип и никогда не могли освободиться от его давящего, мертвящего влияния. Что-то пантеистическое было у них в признании принципа: жизнь была для них служением принципу, человек—рабом принципа; всякий поступок, не соображенный с принципом, считался преступлением». Добролюбов упрекает их не в том, что они были людьми принципа, а в том, что их принципы и мораль не срослись органически с их существом и играли для них роль внешней давящей на них силы (исключением он признает только Белинского, у которого внешний, отвлеченный принцип превратился во внутреннюю жизненную потребность). Совсем иначе обстоит дело с молодым поколением, которое знать не хочет никаких внешних давлений и формальных предписаний морали, а в котором веления нравственного долга органически слились с естественными склонностями и потребностями их природы, которое не знает раздвоенности личности и психологического дуализма, отказывается противопоставлять грубую действительность возвышенным идеальным принципам и потому являет нам зрелище цельных и сильных характеров, у которого, одним словом, «любовь к общему благу есть не что иное, как благороднейшее проявление личного эгоизма». Это новый общественный тип, «тип людей реальных с крепкими нервами и здоровым воображением». Пожилые люди обыкновенно упрекают его в холодности, черствости и бесстрастии. Но это ошибка; молодое поколение просто стало тверже, реалистичнее и

[1]) Литературные мелочи прошлого года (Совр., 1859, 1). Соч., II, стр. 389.

жизненнее. Отвлеченные понятия заменились у него живыми представлениями.

«Люди нового времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютного в мире ничего нет, а все имеет только относительное значение». Они не умеют блистать и шуметь; «признавая неизменные законы исторического развития, люди нынешнего поколения не возлагают на себя несбыточных надежд, не думают, что они могут по произволу переделывать историю, не считают себя избавленными от влияния обстоятельств». Ясное сознание своего положения не позволяет им входить в азарт и убиваться из-за пустяков, но в то же время они вовсе не впадают в апатию и бесчувственность, потому что сознают и свое значение. Они смотрят на себя, как на одно из колес машины, как на одно из обстоятельств, управляющих ходом мировых событий; так как все мировые обстоятельства находятся в связи и некотором взаимном подчинении, то и они подчиняются необходимости, силе вещей; но вне этого подчинения они никаким кумирам не поклоняются, а отстаивают самостоятельность и полноправность своих действий против всех случайно возникающих претензий. «Предоставляя другим кричать, гневаться, плакать и прыгать, они делают свое дело ровно и спокойно, плачут и прыгают, когда приводит к этому сила событий, но не делают ни одного лишнего движения по своему капризу, а если и сделают что лишнее, то не гордятся этим, а прямо сознаются, что сделали лишнее. Они—актеры, хорошо вошедшие в свою роль житейской комедии; они делают, чего требует роль, и не выходят из нее, несмотря на все беснования, хлопанье, свист и стук партера... Пусть праздные зрители бесятся: актеру нет надобности покрывать их крик своим голосом. Он переждет немного; потом опять станет продолжать свою роль: стихнут же они, наконец, если хотят его слушать» (Соч., II, 394).

Мы нарочно привели эту блестящую страницу из Добролюбова, которая могла бы сделать честь любому об'ективисту, потому что в ней выражается его взгляд не только на характер молодого поколения, но и на значение его собственной литературной и общественной деятельности. Реализм, вражда к ли-

беральной и идеалистической фразеологии, отклонение невыполнимых задач, правильная оценка своих сил и окружающих обстоятельств, пробуждение и вразумление отсталых и спящих, выдержка и решимость в борьбе,—вот чего он требует от революционеров, вот что, по его мнению, может обеспечить им успех, при том непременном условии, чтобы они стремились поражать зло в корне и не тратили своей энергии на пустяки и паллиативы.

С этой точки зрения Добролюбов приветствовал появление тургеневской повести «Накануне», в которой, по его мнению, отразилась новая полоса русской общественности, готовность перейти от отвлеченной просветительной пропаганды к практике. Правда, пока еще русская жизнь не предъявляет прямого спроса на активных деятелей; вот почему Инсаров не может быть русским, и вот почему Елена, жаждущая непосредственного дела, уходит за ним из России. Но,—продолжает Добролюбов,—все симптомы психического перелома, наблюдающиеся теперь в русской жизни, служат порукою в том, что появление русских Инсаровых не за горами. Правда, русский Инсаров не будет иметь перед собою задачи освобождения родного народа от национального гнета. «Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними, и разве не требуется геройства для этой борьбы? До сих пор наша общественная среда не благоприятствовала появлению таких героев. Вдобавок, задача их будет гораздо сложнее и труднее, чем у Инсарова, ибо легче справиться с внешним притеснителем, чем с внутренним врагом, рассеянным повсюду в тысяче разных видов, отравляющим общественную атмосферу и не дающим организоваться своим противникам. Но изменения, происшедшие в самой общественной среде, помогут появлению активных деятелей. И тогда придет настоящий день!».

Но Добролюбов отмечает при этом оригинальную и осложняющую особенность в положении русского деятеля. Борьба национальная, какая предстоит Инсарову, и борьба классовая, которую предстоит вести русскому деятелю, далеко не одно и то же. «В Болгарии,—говорит Инсаров,—последний мужик, последний нищий и я—мы желаем одного и того же, у всех

одна цель». Такой однотонности,—замечает Добролюбов.—вовсе нет в русской жизни, в которой каждое сословие, даже каждый кружок живут своей отдельной жизнью, имеют свои особые цели и стремления, свое установленное назначение. Поэтому у нас не может быть и речи об общенациональных выступлениях, в которых могли бы об'единиться, скажем, помещики и крестьяне. Благодаря этому положение русского деятеля, особенно вышедшего из привилегированной среды и желающего работать на пользу народную, крайне осложняется. Он должен порвать со своей средой для того, чтобы слиться с народом. Сядьте-ка в пустой ящик и попробуйте его перевернуть вместе с собою! Между тем как, подойдя со стороны, вы могли бы опрокинуть его одним толчком. Сила Инсарова в том и состоит, что он не сидит в ящике: притеснители его отечества—турки, с которыми он не имеет ничего общего, ему стоит только подойти да и толкнуть их насколько силы хватит.

> «Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать. Он находится в таком положении, в каком был бы, например, один из сыновей турецкого аги, вздумавший освобождать Болгарию от турок. Трудно даже предположить такое явление; но если бы оно случилось, то, чтобы сын этот не представлялся нам глупым и забавным малым, нужно, чтобы он отрекся уже от всего, что его связывало с турками: и от веры, и от национальности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод своего положения. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно, и что подобная решительность требует несколько другого развития, нежели какое обыкновенно получает сын турецкого аги».

История вскоре показала, что при всей трудности такого подвига в России нашлось достаточно выходцев из привилегированных сословий, готовых с легким сердцем отказаться от всех преимуществ своего положения и окунуться в великое народное море в надежде вместе с ним скоро обрушиться грозным девятым валом на старый неправедный мир. Ибо они так

же, как и Добролюбов, глубоко верили, что народ хранит в себе неиссякаемый родник живого чувства.

Допустим, что народ и темен, и глуп, что он не поддержал своих друзей, что он позволил подавить революцию (1848 года), но ведь непосредственно-то боролся с революционерами не он, а высший класс. В других случаях, хотя народ, например, неаполитанский, «и оказался все еще не очень энергичным сподвижником своих освободителей, но встречал их с энтузиазмом и пассивным образом содействовал низвержению абсолютистского правления». Во всяком случае, мы не должны быть пессимистами по отношению к народу. Конечно, имеется множество фактов, оправдывающих пессимистическое отношение к народным массам. «Но, даже принимая все эти факты, мы надеемся при помощи некоторых дополнительных соображений притти не к отчаянию в жизненных силах народа, не к убеждению в бесконечности его апатии и неспособности к общественным делам, а к выводам совершенно противоположным». И доказательство жизненности русского народа Добролюбов усматривает в его борьбе с откупом, которая в конце 50-х годов наделала несколько шуму, и во время которой отдельные деревни проявили большую твердость и настойчивость [1]).

В народе таится много внутренних сил,—не устает повторять Добролюбов.—«Много сил должно таиться в том народе, который не опустился нравственно среди такой жизни, какую он вел много лет, работая на Багровых, Куралесовых и т. п.». Выяснению и доказательству этой мысли посвящена известная статья Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья», написанная по поводу рассказов Марка Вовчка. В этой статье Добролюбов анализирует все анормальные отношения, которые в течение нескольких столетий давили, убивали, обезличивали и искажали характер русского простолюдина, но которым так и не удалось его исказить. «Столько ему надо нравственной чистоты и твердости,—восклицает он,—чтобы не развратиться в конец под влиянием тяготеющих над ним обстоятельств разного рода». Немудрено, что и в крестьян-

[1]) Народное дело. Соч., т. IV, 65 п.

ском быту общее мнение часто бывает нелепо, иногда нечестно по неискренности, иногда совсем скрыто по малодушию. Но он утверждает, что в этой среде относятся с большим вниманием к достоинству человека и к доброй славе. Личности, которые нам с первого взгляда кажутся исключительными, оказываются при внимательном рассмотрении отнюдь не редкими в крестьянском сословии, где деликатные натуры встречаются не реже, если не чаще, чем в среде высших классов. Да и само пресловутое смирение, покорность, терпение и прочие свойства народа, воспеваемые реакционерами и славянофилами, составляют просто «жалкое и безобразное искажение этого прекрасного свойства деликатности». Порабощение русского народа чисто внешнее: под маской рабской покорности сплошь и рядом скрывается могучая сила протеста.

Народ тяжел на под'ем, но раз он решится на что-нибудь, то «решится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствия не страшат его, когда их нужно одолеть для достижения страстно желанного и глубоко задуманного». У народа слово не расходится с делом. Факт бойкота откупной водки имеет для Добролюбова важное значение в том отношении, что доказывает способность народа к противодействию незаконным притеснениям и к единодушию в действиях. Сказал да и сделал—не стал пить, потому что он не то, что образованное общество, не станет тратить слов по пустому. «В народе, в коренном народе, нет и тени того, что преобладает в нашем цивилизованном обществе. В народной массе нашей есть дельность, серьезность, есть способность к жертвам... В этом народе есть такая сила на добро, какой положительно нет в том развращенном и полупомешанном обществе, которое имеет претензию одного себя считать образованным и годным на что-нибудь дельное».

Народные массы не умеют красно говорить, но слово их никогда не праздно. Сотни тысяч народа без всяких предварительных обсуждений в разных концах обширного царства отказались от водки. Эти же сотни тысяч откажутся от мяса, от пирога, от теплого угла, от единственного армячишка, от последнего гроша, если того потребует доброе дело, сознание в

необходимости которого созреет в их душах. В этой-то способности приносить существенные жертвы раз сознанному и порешенному делу и заключается величие простой народной массы.

> «Кто серьезно проникся этой мыслью, тот почувствует в себе более доверия к народу, больше охоты сблизиться с ним в полной надежде, что он поймет, в чем заключается его благо, и не откажется от него по лени или малодушию. С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения можно действовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дело крепкие свежие силы и предохранить их от того искажения, какому они так часто подвергаются при настоящем порядке вещей».

Таким образом, в сентябре 1860 года Добролюбов вполне определенно повторяет свой призыв к молодежи непосредственно сблизиться с народом для живого дела, призыв, который он в гораздо менее ясной и решительной форме сделал, или, вернее, на который он намекал шестью месяцами ранее в статье «Когда же придет настоящий день?». Необходимо отметить, что призыв к хождению в народ сделан был Добролюбовым на год-полтора раньше, чем Чернышевским, который открыто призывал интеллигенцию итти в народ в конце 1861 года в знаменитой статье «Не начало ли перемены?», напечатанной в ноябрьской книжке «Современника». Впоследствии неоднократно указывали на то, что Добролюбов исходил при этом из ложной идеализации народа (т.-е. крестьянства), что он игнорировал существовавшие в среде этого народа групповые и классовые различия и пр. Это, конечно, так. Но, во-первых, в то время эти различия были не так еще глубоки, а, во-вторых, эта идеализация была об'ективной исторической необходимостью. Только она могла возбудить в немногочисленных кружках тогдашней активной демократии могучую вспышку энтузиазма и побудить их к полному разрыву с привилегированным обществом и к слиянию с народной массой, в которой и только в которой заключалось спасение, если оно вообще было возможно. Не забудем, что от этих призывов к

слиянию с народом, основанных на идеализации крестьянских масс, и датирует, собственно, начало русского движения новой эпохи, его, если так можно выразиться, переход из метафизической стадии в положительную. И в этом—бессмертная заслуга Добролюбова.

Добролюбов не сомневался в том, что движение в России неизбежно. Статья «Непостижимая странность», посвященная неаполитанской революции и напечатанная за год до его смерти, была написана специально для того, чтобы доказать, что и в России, несмотря на кажущийся застой и апатию народа, возможен известный переворот. К чему приведет этот переворот при наших социальных отношениях, об этом Добролюбов никогда определенно не говорил: как мы уже указывали в начале статьи, Добролюбов программными вопросами почти не занимался, предоставив их в исключительное ведение Чернышевского. Взгляд же последнего можно формулировать приблизительно так: если революционной партии удастся воспользоваться замешательством правительства и недовольством широких масс, то при общеевропейской революции, которая, в большей или меньшей степени, будет окрашена социалистическим цветом, и при наличности общинного землевладения, России удастся, быть может, сильно приблизиться к социализму... Вот программа, которую Чернышевский развивал перед своими современниками, и которую, несомненно, разделял с ним Добролюбов.

В статье о Бабсте Добролюбов развивает ту идею, что Россия, вступившая на путь экономического развития позже Запада, должна воспользоваться его опытом, дабы остеречься от тех падений, которые пришлось испытать более развитым и старым народам. Но реалист и революционер, Добролюбов не разделяет либеральных иллюзий буржуазного экономиста. Он очень желал бы, чтобы Европа неуклонно и быстро шла к идеальному совершенству без всяких жертв и потрясений, но он не надеется, чтобы все это совершилось так гладко и просто. «Мы еще более желаем,—продолжает он,—чтобы Россия достигла хоть того, что теперь есть хорошего в Западной Европе, и при этом уберегласъ от всех ее заблуждений, отвергла все,

что было вредного и губительного в европейской истории; но мы не смеем утверждать, что это именно так и будет». История не знает совершенно логического, правильного, прямолинейного движения; ошибки, уклонения, перерывы неизбежны, но это не беда. Во всяком случае, «счастье наше, что мы позднее других народов вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь к ходу развития Западной Европы и представляя себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь будет лучше. Что и мы должны пройти тем же путем, это несомненно и даже нисколько не прискорбно для нас... Что и мы на пути своего будущего развития не совершенно избегнем ошибок и уклонений, в этом тоже сомневаться нечего. Но все-таки наш путь облегчен; все-таки наше гражданское развитие может несколько скорей перейти те фазисы, которые так медленно переходило оно в Западной Европе. А главное—мы можем и должны итти решительнее и тверже, потому что уже вооружены опытом и знанием».

Вопрос о фазисах развития России и о сокращении этих фазисов сравнительно с историей Западной Европы—это проклятый вопрос, над которым бились в муках столько русских голов. Как мы видим, Добролюбов решает его приблизительно так же, как Герцен и Чернышевский, но, пожалуй, менее оптимистически, чем эти последние писатели, допускавшие возможность полного выпадения некоторых звеньев из логической цепи эволюции и чуть ли не идейного только, а не реального переживания Россией некоторых стадий социального развития. Во всяком случае, этого места не следует толковать в смысле хотя бы временного примирения Добролюбова с медленным буржуазным прогрессом. Этот медленный прогресс он ненавидел всей душой (вспомним хотя бы его знаменитое стихотворение «Прогресс стопою благородной шел тихо торною стезей» в № 4 «Свистка»). Живя в такую эпоху, когда буржуазные начала только вторгались в русскую жизнь, когда история, казалось, допускала возможность грандиозного эксперимента в смысле непосредственного перехода от натурального хозяйства

к иному [1]) строю, Добролюбов при всем своем реализме и выдержке должен был в глубине души склоняться именно к такому решению вопроса. Во всяком случае, именно к нему склонились те социальные группы, на которые имела влияние литературная проповедь Добролюбова. И если бы преждевременная смерть не вырвала из рядов живущих этого великого энтузиаста, не подлежит сомнению, что он непременно сделал бы попытку осуществить свои идеи на практике.

Лишний раз оправдались вещие слова его учителя и друга, не переставшего оплакивать рано погибшего гениального юношу: «такова уж судьба русского народа: не живучи его лучшие деятели».

---

[1]) Читай: социалистическому. Результат царской и редакторской цензуры. (Прим. сентября 1918 года.)

А. И. ГЕРЦЕН (Искандер).

(1812—1870.)

I.

Александр Иванович Герцен родился в Москве 25 марта 1812 года. Его отцом был Иван Алексеевич Яковлев, родовитый и богатый помещик, владевший целым рядом имений, домами в Москве и денежными капиталами. Матерью его была штуттгартская немка Генриетта-Вильгельмина-Луиза Гааг, которую в доме Яковлева называли Луизой Ивановной.

Отец Герцена в молодости служил на военной службе и вышел в отставку с чином капитана гвардии. С 1801 по 1811 год он проживал за границей, откуда и вывез в Россию будущую мать Герцена. Поселившись по возвращении на родину в Москве, Яковлев жил здесь замкнутой жизнью, вечно лечась, над всеми подсмеиваясь и всех подавляя своей мрачностью и придирчивостью. Чуткий мальчик одиноко рос в этой тяжелой атмосфере барского дома. Дворянская спесь не позволяла Яковлеву жениться на простой немецкой девушке или усыновить прижитого от нее ребенка. Шура оказался «незаконным» сыном, и ему дана была вымышленная фамилия Герцена, показывавшая, что он «дитя сердца» (от немецкого слова „Herz" —сердце).

Официально Герцен считался «воспитанником» Яковлева.

Удушливая обстановка барского дома и двусмысленное положение ребенка с матерью в доме Яковлева не могли остаться без влияния на живого и впечатлительного мальчика. Он начал сближаться с дворовой прислугой, рано почувствовал темные стороны крепостного права, и уже в детском сердце начал складываться против них громкий протест.

В детстве он отдан был на попечение двух нянек—русской

и немки. Позднее к нему были приглашены учителя-иностранцы. Из них француз Бюшо, несомненно, оказал на мальчика большое влияние своими рассказами о французской революции. Еще более глубокое влияние имел на мальчика учитель русского языка студент Протопопов, ознакомивший своего ученика с новой русской литературой и в частности с политическими стихотворениями Пушкина и Рылеева, ходившими тогда по рукам.

С другой стороны, предоставленный самому себе, Шура набросился на большую библиотеку своего отца. Здесь он познакомился с просветительной литературой, предшествовавшей французской революции, Вольтером, Бомарше, а также с произведениями Гете и Шиллера.

Начавшее развиваться в мальчике вольнодумство и революционное настроение нашло себе поддержку во влиянии одного из двоюродных братьев Герцена, Алексея Александровича Яковлева, прозванного родней «химиком» (он много занимался химией). «Химик», который был материалистом, пробудил интерес юного Герцена к естественным наукам. Влияние на мальчика имела также его родственница Татьяна Кучина, вышедшая впоследствии замуж за друга Герцена, Вадима Пассека.

Но самое глубокое влияние на молодого Герцена имела его дружба с дальним родственником и сверстником Николаем Платоновичем Огаревым. Еще более глубокий и восторженный, Огарев поддерживал в своем товарище революционное настроение. Они вместе зачитывались Шиллером, увлекались его «Разбойниками», маркизом Позой; клялись пожертвовать своей жизнью в борьбе за свободу и готовились к будущей общественной деятельности.

Юные годы Герцена совпали с оживлением общественного движения в России. Войны с Наполеоном пробудили революционное настроение среди части русского дворянства. Появляются первые произведения Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, складываются тайные общества. Движение это, как известно, закончилось восстанием декабристов (14 декабря 1825 г.). Трагическая судьба декабристов произвела сильное впечатле-

ние на Герцена, и он с Огаревым дали себе слово продолжать дело декабристов и бороться с царским деспотизмом.

В своих воспоминаниях Герцен поэтически рассказал, как он с Огаревым, возвращаясь с прогулки на Воробьевых горах, дали другу другу клятву посвятить свои силы революционной борьбе. «Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас. Постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу».

Эту клятву Герцен и Огарев сдержали до конца.

II.

К семнадцати годам домашнее образование было закончено, и Герцен, после некоторого сопротивления со стороны отца, поступил в Московский университет студентом физико-математического отделения. Несмотря на все недостатки тогдашнего университетского преподавания, скованного тяжелым деспотизмом Николая I, университет все же оказал на Герцена огромное влияние. Здесь действовали не столько профессорские лекции, сколько общение с товарищами и усердное самообразование. Кроме того, не следует забывать, что идеи декабристов не умерли, и влияние их примера продолжало сказываться в русском обществе. Как впоследствии выразился Герцен, пром пушек на Сенатской площади (в Петербурге) разбудил целое поколение. К этому поколению принадлежал и сам Герцен.

Вокруг Герцена и Огарева, одновременно с ним поступившего в университет, сложился кружок из юношей, проникнутых одинаковыми прогрессивными взглядами и стремившихся вырваться из тесных рамок тогдашней русской жизни. К этому кружку принадлежали Сазонов, Сатин, Савич, Вадим Пассек, а также лекарь Н. Кетчер, переводчик Шекспира, человек более пожилой, но державшийся с молодежью, «вечный студент».

В кружке Герцена и Огарева преобладало политическое направление. Сам Герцен впоследствии охарактеризовал про-

пагапду, которую вел этот кружок среди окружающих, в следующих выражениях: «Что мы собственно проповедывали, трудно сказать. Идеи были смутные: мы проповедывали декабристов и французскую революцию, потом проповедывали сенсимонизм и ту же революцию, мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе, но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому нравственному произволу».

Кружок мечтал о каком-то политическом заговоре в романтическом, шиллеровском духе, но дальше разговоров дело у них не шло. О существовании кружка сделалось известным вездесущей николаевской полиции, которая после революции 1830 года и польского восстания насторожилась и всюду отыскивала крамолу. В июле 1833 года Герцен окончил университет, а в ночь с 19 на 20 июля 1834 года был арестован и привлечен к делу о распевании революционных песен на одном собрании молодежи, к которому не имел ровно никакого отношения.

После 9-ти месяцев тюремного заключения обвиняемые были приговорены к различным наказаниям, начиная от бессрочного заточения в Шлиссельбурге до высылки в провинцию. Герцен был приговорен к высылке в Пермь на гражданскую службу под надзором местного начальства.

Надо заметить, что на службу Герцен был зачислен с девяти лет. По тогдашнему обычаю это делалось для выслуги чинов. Отец Герцена хотел, чтобы сын его выслужил дворянство и таким образом получил право владеть поместьями с крепостными крестьянами. К моменту отправления в Пермь Герцен был титулярным советником.

В Перми Герцен пробыл всего несколько дней, а затем был переведен на службу в Вятку, куда прибыл 19 мая 1835 года.

В Вятке Герцен прожил три года. Он там служил в губернском правлении и под конец заведывал губернским статистическим комитетом. Но, конечно, не служба поглощала интересы Герцена. Он много читал, работал, начал писать, и уже здесь для него ясно стало, что призвание его—литература. Знаком-

ство его с ссыльными поляками укрепило его оппозиционное настроение. Вообще же Герцен в то время находился в восторженном состоянии, окрашенном даже религиозным мистицизмом. В этом отношении на него влиял проживавший в вятской ссылке художник-архитектор Витберг. Здесь же Герцен завел переписку с Натальей Александровной Захарьиной, внебрачной дочерью одного из братьев его отца, воспитывавшейся в доме тетки Герцена, княгини Хованской. Переписка эта закончилась тем, что молодые люди убедились в своей горячей взаимной любви.

Вятский губернатор Тюфяев сперва относился к Герцену дружелюбно, но затем у них создались враждебные отношения на почве любовного соперничества (речь шла о жене местного чиновника Мéдведевой). Тюфяев начал преследовать Герцена и собирался даже услать его в один из самых глухих городков Вятской губернии. Но здесь Герцену пришло на помощь путешествие наследника, раз'езжавшего тогда по России и заехавшего в Вятку. Находившиеся в свите наследника Жуковский (известный писатель) и Арсеньев приняли участие в Герцене и уговорили наследника ходатайствовать за него перед отцом. В результате Герцен в конце 1837 г. был переведен на службу во Владимир, куда и переехал в начале 1838 года.

Во Владимире Герцен продолжал переписку с Н. А. Захарьиной. Так как родные были против их брака, то Герцен с большим риском тайком прискакал в Москву, с помощью Кетчера увез свою невесту и обвенчался с нею во Владимире.

Теперь для Герцена началась полная жизнь дружбы, любви и науки. В это время он находился в состоянии душевной восторженности и романтических порывов. Ссылка и служба угнетали его, он рвался к чему-то широкому и великому. В июле 1839 года Герцен был освобожден от полицейского надзора и получил возможность свободно приезжать в Москву, а в начале 1840 года он выехал из Владимира.

В Москве Герцен встретил некоторых старых друзей, в том числе Кетчера и Огарева, который по смерти отца сделался богатым помещиком и женился, а также много новых людей. Теперь здесь господствовали новые интересы. Еще до герценов-

ской ссылки в Москве существовал, на-ряду с его кружком, кружок Станкевича, интересовавшийся преимущественно философскими вопросами. Из этого кружка вышли такие крупные деятели сороковых годов, как Белинский, Бакунин и Грановский. К моменту возвращения Герцена в Москву кружок Станкевича притянул к себе остатки бывшего герценовского кружка и вовлек их в круг своих философских интересов.

В рассматриваемое время кружок был увлечен популярной тогда философией Гегеля. Но русские гегелианцы придавали этой философии слишком узкое толкование, пытаясь с ее помощью оправдать тогдашнее положение дел в России. Этим они отдали дань своей собственной слабости и невозможности активной борьбы с диким николаевским самодержавием.

Герцен был страшно возмущен этим направлением. Он вступил в яростный бой с московскими гегелианцами, среди которых Белинский доходил до особых крайностей. В спорах с ними он убедился в необходимости основательно познакомиться с философией Гегеля и засел за нее. Изучение творений учителя убедило его в том, что его русские последователи неправильно толкуют его систему. Герцен пришел к тому выводу, что философия Гегеля в сущности представляет «алгебру революции», и понял, что если она, с одной стороны, оправдывает и об'ясняет существующее, то в такой же мере оправдывает и борьбу с ним. В конце концов, Герцен одержал победу, и самые ярые гегелианцы, Бакунин и Белинский, очень скоро пришли к таким же революционным выводам, как и сам Герцен. А затем Герцен познакомился с сочинениями Фейербаха, основателя школы «левых гегелианцев», и с радостью убедился в том, что в свое время правильно истолковал философский метод Гегеля.

В начале 1840 года Герцен был причислен к канцелярии министра внутренних дел. В мае того же года он, проживши два месяца в Москве, переехал в Петербург. Здесь он особенно близко сошелся с Белинским, который уже успел отказаться от своих прежних взглядов и сделался ярым революционером. Но в Петербурге Герцену пришлось прожить недолго. В конце 1840 года было перехвачено на почте его письмо к отцу, в ко-

тором он рассказывал об убийстве полицейским прохожего (случай этот наделал в Петербурге шуму). Третье Отделение снова подняло дело против Герцена и хотело даже вернуть его в вятскую ссылку. Но, в конце концов, ограничились тем, что послали его советником губернского правления в Новгород, при чем начальник Третьего Отделения, генерал Дубельт, предупредил Герцена, что в третий раз он так легко не отделается.

В Новгород Герцен прибыл 2 июля 1841 года. Началась вторая ссылка Герцена. В губернском правлении Герцену было поручено отделение, где ведались дела о злоупотреблениях помещичьей власти, о раскольниках, о фальшивомонетчиках и о людях, состоящих под полицейским надзором. Здесь Герцен чувствовал себя в еще более ложном положении, чем в Вятке и во Владимире. Ему приходилось прикладывать свою руку к угнетению крепостного крестьянства. Этого вынести он не мог.

Однажды к нему явилась на службу крестьянка, упавшая перед ним на колени и в слезах просившая заступиться за нее. Оказалось, что ее барин ссылал ее с мужем на поселение, а их десятилетнего сына оставлял у себя. Тогдашний закон давал помещику такое право. Тщетно женщина валялась в ногах у чиновников, рыдала. Герцен почувствовал, что он больше служить не может. Он уехал домой, написал в тот же день рапорт о своей болезни и с тех пор больше не приезжал в губернское правление. Затем он подал в отставку по болезни. Он получил просимую отставку с чином надворного советника. Вместе с тем, ему было сообщено, что в'езд в столицу ему воспрещен, и что ему приказано жить в Новгороде.

Но, благодаря хлопотам Огарева, в июле 1842 года Герцену разрешено было жительство в Москве ввиду болезни его жены. Герцен уехал в Москву, где продолжал состоять под полицейским надзором. Здесь он жил то в самом городе, то в подмосковных деревнях своего отца.

III.

Теперь для Герцена начинается «та изящная, возмужалая и деятельная полоса... жизни», которая длилась до смерти его отца и до от'езда за границу.

Герцен был тогда в расцвете сил. Ему исполнилось 30 лет. Взгляды его окончательно сложились. Герцен был теперь признанным писателем. В сороковых годах в журналах появляется ряд его произведений: «Диллетантизм в науке», «Письма об изучении природы», «По поводу одной драмы», а также беллетристические произведения: «Записки доктора Крупова», «Сорока-воровка», «Кто виноват?». Впрочем, скоро Герцен пришел к выводу, что беллетристика—не его дело. Он выработал свой особый жанр, представляющий сочетание всех форм литературы—публицистики, беллетристики, философии и проч.,—жанр, в котором он не имеет соперников.

Считаясь с свирепостью николаевской цензуры, Герцен чрезвычайно осторожно проводил свои мысли в своих литературных произведениях, тем не менее читатели понимали, что автор хочет сказать. Он не пользовался, конечно, таким колоссальным влиянием, как Белинский, но и его литературные работы были популярны среди молодежи и оказывали на нее благотворное влияние. Впрочем, главная сила Герцена была тогда не в литературной, а в устной пропаганде, в его влиянии на руководящие кружки тогдашнего русского общества. Герцен сделался главой так называемых «западников» и одним из главных борцов в полемике со «славянами» или «славянофилами».

И та, и другая группа представляли в сущности два буржуазные течения. Русская жизнь того времени шла от крепостного феодализма к развитию капиталистического общества. Западники выражали более чистую буржуазную струю (особенно правое их крыло): это были предшественники наших «кадетов». Славянофилы были представителями течения, пытавшегося сочетать русское барство с развитием капитализма. Они приблизительно предвещали будущую партию октябристов, об'единившую после революции 1905 года в своих рядах отечественный капитал с дворянским землевладением. В учении славянофилов слишком ясно сквозило примирение со старыми силами русского общества, с царским самодержавием и с православной церковью. Демократы на словах, много толковавшие о простом народе, об истинно-русских началах, ко-

торые народ в себе сохранил, ожесточенно протестовавшие против европеизации России, начавшейся, по их мнению, с Петра I, славянофилы были в сущности реакционерами. Герцен сразу это почувствовал. Он вступил с ними в ожесточенную борьбу, но в то же время советовал своим друзьям «овладеть темами славянофилов», чтобы тем вернее их победить.

Основные же темы славянофилов заключались в том, что России предназначен особый путь развития, не имеющий ничего общего с историческим развитием Запада, ввиду того, что у русского народа имеются в наличности своеобразные формы экономической жизни в лице сельской общины и артели. Поэтому, по мнению славянофилов, Россия не пройдет через капиталистическую фазу развития, а сохранит особую физиономию в экономической и политической жизни. Внизу община, наверху неограниченное самодержавие. Царь правит неограниченно, по совести, «земля» (главным образом, дворянская) свободно высказывает свое «мнение». Таким путем, по мнению славянофилов, Россия будет предохранена от опасности пролетариата и революции.

Западники, которых, наоборот, увлекало развитие капитализма и политической свободы в Европе, решительно отвергали эту теорию славянофилов. Но среди самих западников вовсе не было единогласия. Правое их крыло (Грановский, И. С. Тургенев, Кавелин, Анненков, В. Боткин и др.) имело чисто буржуазный, умеренно-либеральный характер. Оно сознательно закрывало глаза на ожесточенную классовую борьбу в Западной Европе, а поскольку замечало ее, сочувствовало буржуазному либерализму, а не пролетарскому социализму. Оно могло итти вместе с левым крылом, во главе которого стояли Герцен, Белинский, Бакунин, Огарев, до тех пор, пока речь шла о борьбе с реакционными стремлениями славянофилов (у которых, кстати, тоже было свое правое и левое крыло). Но левое крыло западников шло дальше. Оно ясно видело классовую борьбу в буржуазном обществе, но склонялось к демократии и к социализму. И как раз среди этого левого крыла, которое, казалось, отстояло от славянофилов гораздо дальше, чем правое крыло западников, имелись люди, в сущности стоявшие по

основным вопросам гораздо ближе к ним, чем умеренно-либеральные западники. Так, например, Герцен подобно славянофилам также полагал, что основным источником дальнейшего общественного развития России послужат отсталые формы хозяйства (община и артель), которые еще сохранились к тому времени у русского народа. Только славянофилы надеялись опереться на эти формы, чтобы задержать развитие России в сторону европейских начал, тогда как Герцен и его единомышленники, наоборот, полагали найти в них опору для дальнейшего развития в социалистическом духе. Но это совпадение особенно ясно сказалось только впоследствии. А пока между западниками и славянофилами шла ожесточенная борьба, в которой Герцен выступал как один из застрельщиков.

В процессе устной и литературной борьбы с славянофилами начал распадаться и западнический кружок. Становилось все яснее, что между правым и левым его крылом далеко не существует единогласия. То, что Герцену казалось особенно важным (материализм в философии, неверие, политический радикализм, социализм), отвергалось или не принималось умеренным течением среди западников, во главе которого стоял профессор Московского университета Грановский. На этой почве происходили тягостные недоразумения, разногласия и охлаждение. В конце концов, атмосфера для Герцена в Москве сделалась совершенно нестерпимой. Он давно уже тяготился русской жизнью, ему страстно хотелось вырваться на свежий воздух Запада, и он все больше и больше начинает склоняться к мысли о поездке за границу. «Меня манила,—писал он впоследствии,—иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости; мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавши все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение». Смерть отца помогла Герцену выполнить свое заветное желание.

В мае 1846 года умер старик Яковлев, оставив своему сыну огромное состояние, заключавшееся отчасти в поместьях, но, главным образом, в денежных капиталах (во всяком случае, Герцен получил больше миллиона рублей). В те времена полу-

чить право на заграничный паспорт было очень трудно, но, в конце концов, Герцен добился его. В конце января 1847 года Герцен, получивший шестимесячный паспорт, выехал за границу. Его провожали друзья, грустно простившиеся с ним, как бы предчувствуя, что он больше в Россию не вернется.

IV.

Теперь для Герцена начинается новая полоса жизни, борьбы и страданий.

Уезжая за границу, Герцен еще не решил окончательно порвать с родиной и навсегда остаться в чужих краях. Но возможность такого исхода у него несомненно мелькала.

В первое время он с головой погрузился в европейскую жизнь. Его тянуло в Париж, о котором он мечтал с самого детства, в этот город революции, социализма и борьбы. В Париж он в'езжал «с трепетом сердца, с робостью, как некогда в'езжали в Иерусалим, Рим». Здесь Герцен нашел старых товарищей: Бакунина и Сазонова. Здесь он быстро перезнакомился с вождями тогдашнего революционного движения. Впрочем, Герцен встречался, главным образом, с интеллигентными кругами, с буржуазными демократами, искренно воображая, что это соль земли, цвет человечества, что это главные деятели истории. С рабочей массой Герцен ни тогда, ни после не был связан и даже оставался чужд ее психологии. Обладая большими денежными средствами, Герцен зажил за границей очень широко, купил (позже) в Париже собственный дом, останавливался в лучших гостиницах и не отказывал себе ни в чем. С утра до ночи бегал он по кафе, театрам, по рёдакциям оппозиционных газет, знакомился, шумел, спорил и вместе с другими ждал революции, которая должна была очистить мир и положить начало всеобщему братству и свободе.

Но уже с первых дней пребывания на Западе Герцен начал в нем разочаровываться. Запад, который представлялся ему в николаевской России обетованным царством, полным жизни и революционного творчества, на деле оказался далеко не таким, как его воображали себе в московских передовых кружках. Присмотревшись ближе к европейской жизни, Герцен увидел

там царство буржуазии, господство мещанства, которое было ему ненавистно и как социалисту, и как аристократу (каковым Герцен оставался до конца дней своих). Увлечение Европой у него начинает проходить и сменяется противоположной крайностью—полным разочарованием в западной цивилизации. «Париж в один год отрезвил меня,—писал он впоследствии,—зато этот год был 1848 год».

В августе и сентябре 1847 года Герцен совершил первую поездку по Италии, в октябре вернулся на неделю в Париж, а 21 октября снова уехал в Италию. Здесь он присутствовал при первых вспышках революции 1848—1849 г.г. и был свидетелем пробуждения итальянского народа, наблюдал народные манифестации, сам принимал в них участие, и ему показалось, что приближается желанный день, о котором он всегда мечтал. В это время вспыхнула февральская революция в Париже. Герцена сразу потянуло обратно в революционную столицу. Ему казалось изменой всем убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика.

Уже первые впечатления во Франции навели Герцена на печальные размышления, но он гнал от себя скептические мысли. События в Париже нанесли окончательный удар старым верованиям Герцена. Он своими глазами наблюдал торжество буржуазии, ее тупую реакционность, зверскую вражду к пролетариату, бессилие рабочих разбить свои цепи. Но особенно поразило его банкротство революционных вождей, говоривших старыми фразами, не понимавших, как ему казалось, развертывавшихся событий и оказавшихся совершенно не на высоте задачи. Особенно же тяжелое впечатление произвело на него беспощадное усмирение июньского восстания рабочих в Париже. Этих мрачных картин он не мог забыть никогда.

> «В ушах еще раздаются выстрелы,—писал он под свежим впечатлением виденного,—топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности: раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови на руке; омнибусы, наполненные трупами, пленные со связанными руками, пушки на Бастильской

площади, лагерь у ворот Сен-Дени, на Елисейских полях и мрачное ночное «часовой, слуша-ай!»... Сидеть у себя в комнате, сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой, и знать, что возле льется кровь, режут, колют, что возле умирают,—от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарился, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжкой болезни» («С того берега»).

После поражения июньских инсургентов во Франции началась безудержная буржуазная реакция, предвещавшая скорое падение республики. Герцен видел все это, но вместе с тем, он видел, что вожди тогдашнего революционного движения совершенно бессильны чему-нибудь помочь и что-нибудь предотвратить. Делались попытки остановить буржуазную реакцию, но они не удавались и только ее усиливали. Сам Герцен вместе с другими эмигрантами, проживавшими в то время в Париже, принял участие в невооруженной демонстрации 13 июня 1849 года, которая была разогнана драгунскими саблями. После этого, Герцен счел свое дальнейшее пребывание в Париже небезопасным и уехал в Швейцарию.

V.

После банкротства революционных надежд 1848 года Герцен почувствовал, как его охватила «глубокая ночь». К политическим разочарованиям присоединились личные несчастья. Жена Герцена, с которой он некогда жил душа в душу, полюбила немецкого поэта Георга Гервега, который был одно время близким другом Герцена и жил с семьей в его доме. Герцен отнесся к этому событию с присущей ему страстностью. Он хотел покончить с собой, убить своего соперника, ссорился со старыми друзьями, которые смотрели на инцидент не его глазами, и вообще потерял душевное равновесие. Здоровье его жены, и без того хрупкое, окончательно надорвалось, и некогда веселый дом Герцена сделался обиталищем скорби. Вдобавок Герцена постигло новое несчастье: в январе 1851 года утонули в море его мать и сын Николай. Это новое несчастье оконча-

тельно добило жену Герцена и надломило его собственную душу. 2 мая 1852 года жена Герцена умерла. После пережитых потрясений Герцен отдал своих детей старой русской приятельнице, Марье Каспаровне Эрн, вышедшей замуж за известного музыканта Рейхеля и проживавшей тогда в Париже, а сам со старшим сыном Александром в августе 1852 г. переехал в Лондон, где ему суждено было остаться надолго.

При таком неуравновешенном душевном состоянии разочарование Герцена в европейской жизни приняло особенно резкие и болезненные формы и сложилось в какой-то безысходный пессимизм. «Все рухнуло—общее и частное,—писал он,—европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье. Камня на камне не осталось от прежней жизни».

Половина надежд, половина верований была убита. Мысли отрицания и отчаяния бродили в голове и укоренялись... После таких потрясений, как говорит Герцен, живой человек не остается по-старому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования и находит утешение в самой безнадежности—и человек вновь зеленеет, обожженный грозой, неся смерть в груди; или же он мужественно и скрепя сердце отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.

> «Что лучше? Мудрено сказать. Одно ведет к блаженству безумия, другое—к несчастью знания. Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все; другое ничем не обеспечено, зато многое дает... Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белу свету,—но с корнем вон детские надежды, отроческие упования! Все их под суд неподкупного разума».

Герцену казалось, что, поставив крест над Западной Европой, признав ее неспособной к творчеству новых форм жизни, он достиг правильного понимания исторического развития. Свой безнадежный взгляд на ход европейских событий он считал точно установленным «знанием». И по мере того, как он разочаровывался в Западной Европе, он духовно и мысленно

«возвращался на родину», в Россию. Все свои надежды он начал теперь возлагать на русский народ. Вновь проснулись в его душе старые славянофильские идеи, с которыми он в свое время так боролся в Москве и которыми он незаметно для самого себя заразился от своих противников. В отсталых формах русской жизни он усматривал глубокие основы и верный источник социального устройства, к которому Запад стремился с таким трудом, но осуществить которое у него нехватало сил. Начинается та идеализация русской общины и вообще русских общественных отношений, которой Герцен остался верен до конца и которая дает ему право на звание одного из основателей русского народничества.

VI.

В общем взгляды Герцена на будущие судьбы России сложились в следующую систему:

Славяне более всех других народов подготовлены к социализму, особенно там, где они не подверглись глубокому влиянию буржуазно-государственной культуры.

> «Нет в Европе народов, более подготовленных для социальной революции, чем все неонемеченные славяне, начиная с черногорцев и сербов и кончая народностями России в недрах Сибири. Образ жизни и обычное право славян в основе своей представляют картину общинной организации и общинных обычаев, иначе—коммунистических, в полуварварской, первобытной форме, главным недостатком которой является отсутствие личной, индивидуальной свободы. Ничего подобного не встречается нигде у народов римско-германских» («В редакцию «Польского Демократа», 1854 г.).

Быт славянских племен, сохранивших независимость и собственную физиономию, представляет «нечто вроде колеблющегося, неопределенного, неустоявшегося анархизма». Славянские народы собственно «не любят» ни государства, ни централизации. Федерация была бы самая народная форма для славянских народов. В частности, это относится и к русскому

народу. «В России нет ничего оконченного, окаменелого: все в ней находится еще в состоянии раствора, приготовления».

И тут Герцен (в письмах к Линтону, 1854 г.) ставит знаменитый вопрос, который с тех пор в течение полувека не сходил со страниц русской легальной и нелегальной печати и сыграл такую выдающуюся роль в спорах между различными русскими политическими течениями: «Должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам?». В частности, должна ли Россия пройти через фазу капитализма, буржуазных отношений?

Герцен отвечает на этот вопрос отрицательно.

«Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования. Оконченный труд и добытый результат входят в общее достояние всех понимающих, это—круговая порука прогресса, майорат человечества. Я знаю, что результат сам по себе не передается, по крайней мере, бесполезен,—результат действителен, как последствие целого логического развития. Всякий школьник должен сам найти решение эвклидовых предложений, но какая огромная разница между трудом Эвклида, открывшего их, и трудом ученика нашего времени!

«Россия проделала свою революционную эмбриогению (прохождение зародышем разных ступеней развития) в «европейском классе»... Народу русскому не нужно начинать снова этот тяжкий труд. Зачем ему проливать кровь свою для достижения тех полурешений, до которых мы дошли и которых вся важность состоит только в том, что мы через них дошли до иных вопросов, до новых стремлений? Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее виселицами, каторжною работою, казематами, ссылкою, разорением и нестерпимой жизнью, в которой живем!»

Эта мысль, что идейный опыт интеллигенции может заме-

нить для народа его действительный опыт, повторяется Герценом неоднократно. Даже с революцией, по его мнению, можно «справиться так, как с оспой,—путем прививки». Вообще, раз известные результаты добыты и получены, они добыты и получены для всех народов, «желающих пользоваться ими». Эта мысль вошла в обиход народничества, и даже у Чернышевского мы встречаем ее,—правда, не в таком упрощенном виде.

России легче будет перейти к социализму, чем Европе,—не перестает на все лады доказывать Герцен. «Мы в некоторых вопросах потому дальше Европы, свободнее ее, что так отстали от нее». России нечего терять, ей нечем дорожить, а человек, живущий в меблированных комнатах, легче переезжает, нежели тот, кто обзавелся домом. «Европа идет ко дну оттого, что не может отделаться от своего груза,—в нем бездна драгоценностей, набранных в дальнем опасном плавании. У нас это—искусственный балласт; за борт его,—и на всех парусах в широкое море!» (1858 г.).

Нравственно русские свободнее европейцев,—говорит Герцен в письме к Г. Гервегу (1849 г.),—и это потому, что у них нет прошлого, которое владычествовало бы над ними. Все, что так тесно сковывает западных людей со старым миром, не существует для нас. Россия—пролетарий среди народов. «Русские круто отрешаются от всех связей разом, от религии, от преданий, от авторитета; нам нечего щадить, нечего беречь, нечего любить, но есть, что ненавидеть. Россия, в отношении к старому миру, поставлена так же, как пролетариат: ей ничего не досталось, кроме несчастий, рабства и стыда. Потому эти двое, лишенные наследства, и надеются на общее воскресение в социальном перевороте» (речь на 23-й годовщине польского восстания в Лондоне 1853 г.).

Русский беднее бедуина, беднее еврея (в смысле связывающих его традиций),—у него ничего нет, на чем бы он мог примириться, что бы его утешило. Возможно, что в этом и лежит зародыш его революционного призвания. Государство враждебно народу, правительство носит немецкий характер (слабость Герцена, отголосок славянофильства) и чуждо народным массам, буржуазия слаба, собственнические традиции отсутству-

ют,—словом, Россия—тот щедринский мальчик без штанов, которому нечего терять. Она терпит власть помещиков и правительства, потому что у нее не хватает сил освободиться от них. Но когда она восстанет, она не остановится на полдороге. Она не сбросит с себя дворянских цепей только для того, чтобы сейчас же надеть вместо них буржуазные. Она сразу сделает социальную революцию (Письмо к Мишле, 1851 г., и письмо к редактору «L'Homme», 1854 г.):

«Порог, за который Европа зацепилась, для нас почти не существует. В естественной непосредственности нашего сельского быта, в шатких и неустоявшихся экономических и юридических понятиях, в смутном праве собственности, в отсутствии мещанства и в необычайной усвоимости чужого мы имеем шаг (т.-е. преимущество) перед народами вполне сложившимися и усталыми... Общинное владение землею, мир и выборы составляют почву, на которой легко может возрасти новая общественная жизнь,—почву, которой, как нашего чернозема, почти нет в Европе» («Еще вариации на старую тему», письмо к И. С. Тургеневу, 1857 г.).

Герцен убежден, что один факт общинного владения землею и передела полей сам по себе оправдывает предположение, что «наша невозделанная почва, наш чернозем *способнее* для посева зерна, собранного с западных полей,—способнее по стихиям, из которых она состоит, способнее потому, что на ней меньше мусора и всякого рода развалин, чем на западных полях» («Повторение есть мать учения», 1861 г.).

Наконец, Герцен верит в глубокую внутреннюю силу русского народа, которая помогла ему сохранить душу живу посреди вышавших на его долю тяжких исторических испытаний.

> «Мне кажется,—говорит он,—что в русской жизни есть нечто более возвышенное, чем община, и более сильное, чем власть; это «нечто» трудно выразить словами и еще труднее указать на него пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознающей себя, силе, которая так удивительно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным кнутом татарина и западной розгой капрала,—я говорю

о той внутренней силе, благодаря которой, несмотря на унизительную дисциплину рабства, русский крестьянин сохранил открытое красивое лицо и живой ум, и которая на императорский приказ ввести цивилизацию ответила, спустя столетие, колоссальным явлением Пушкина; я говорю, наконец, о той силе и той вере в себя, которые волнуют нашу грудь. Сила эта, независимо от всех внешних случайностей и несмотря на них, сохранила русский народ и покровительствовала его непоколебимой вере в себя. Зачем?.. Это выяснит время» («Россия», Г. Гервегу, 1849 г.).

Эта почти религиозная вера в русский народ и в его великое историческое призвание спасала Герцена от полного отчаяния, вызванного поражением европейской революции 1848—1849 г.г. и личными несчастиями. Вот почему, говоря его словами, он среди мрачного, раздирающего душу реквиема, среди темной ночи, которая опустилась над «усталым, больным Западом», отворачивался от «предсмертного стона великого бойца, которому помочь нельзя», и с упованием смотрел на родной Восток, «внутри радуясь, что он русский». Вот почему он восклицал: «Да здравствует русское село! Будущность его велика».

Временами Герцен не закрывает глаз на ограниченность первобытного сельского коммунизма и указывает на его недостатки. «Сельская жизнь, как и всякий коммунизм,—говорит он,—совершенно поглощает личность». В общине слишком мало движения; извне она не получает никаких толчков, которые побуждали бы ее к развитию. Нет ни конкуренции, ни внутренней борьбы, которые вызывали бы разнообразие и движение. И Герцен доходит даже до утверждения, что общинное устройство усыпило русский народ («Россия», 1849 г.).

«Само собою разумеется,—замечает он в другом месте («Крещеная собственность», 1853 г.),—что ни в коммунизме деревень, ни в казацких республиках мы не могли бы найти удовлетворения нашим стремлениям. Все это было слишком дико, молодо, неразвито, но из этого не следует, что нам должно ломать эти незрелые начина-

ния,—напротив, их надобно продолжать, развивать, образовывать. Тут нет большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину в то время, как германские народы ее утратили, но это—большое счастье, и его не надобно выпускать из рук. Мы долго ждали, долго временили,—воспользуемся опытностью наших соседей: она им страшно дорого стоит».

Возражая либералам, сторонникам уничтожения общины в интересах развития капиталистического производства, Герцен говорит, что община с переделами и собственное мирское управление—единственные сокровища, оставшиеся у русского народа. «Вот и все приданое Сандрильоны; зачем же отнимать последнее?» Но вместе с тем Герцен готов признать, что одними собственными силами русская община вряд ли сумеет доразвиться до более высоких социальных форм. Она воспользуется примером Запада, от которого возьмет «оплодотворяющее зерно» в лице европейского социализма» (1861 г.). Ту же мысль он высказывает и раньше в письмах к Мишле от 8 июля 1855 г. «Ленивый народ, славянин, «усыпляющий себя собственной песней», по выражению одного летописца времени Багрянородных, нуждается в сильной и энергичной мысли Запада. Славянский мир никогда не сумеет развить свою социалистическую основу, дикарскую, врожденную, без той революционной идеи, которая реет над Западом, как его бессмертная душа. Мы не претендуем на пресловутое fara da se (самодоклеемость) помимо солидарности и единения народов... Я говорю русским и на все лады повторяю, что социальная идея, выработанная Западом,—единственное средство рационально развить способности (склонности) и социальные нравы славян».

Оптимизм Герцена по отношению к русским делам питался еще уверенностью, что России предстоит путь мирного развития к высшим формам общественной жизни. «Вопросы наши так поставлены,—говорит он,—что они могут быть разрешены общими социально-государственными мерами без насильственных потрясений» («Еще вариации», 1857 г.). Это странное убеждение Герцена зависело от того, что, как мы увидим ниже, он

выдвинул в качестве ближайшей программы такие частичные вопросы, которые действительно допускали мирное разрешение. Но если он надеялся в России достигнуть социальной революции мирным путем, то это об'яснялось только его душевной усталостью и отвращением к кровопролитию, развившимся у него после подавления революции 1848 года.

Эти взгляды Герцена вызывали возражения с разных сторон. Против них протестовали умеренные западники, недовольные отрицательным отношением Герцена к буржуазной цивилизации и уступками, которые он невольно для себя делал при этом славянофилам. Грановский изумлялся, чего ради Герцену вздумалось разыгрывать перед Европой роль московского славянофила. А. И. С. Тургенев резко раскритиковал упования Герцена на русскую самобытность и общину, указав ему, что Россия как запнулась о мужицкую избу, так и стоит на месте несколько столетий. В тех самых условиях сельского быта, в которых Герцен видел основу будущего социализма, Тургенев усматривал возможность такой самобытной российской буржуазии в сапогах и в овчинном тулупе, которая заткнет за пояс западно-европейскую.

Но и социалисты выступили против преувеличенно-отрицательного отношения Герцена к европейской истории и против его неосновательных надежд на русскую общину. Особенно резко напал на него Н. Чернышевский в знаменитой статье «О причинах падения Рима». Чернышевский напоминал о том, что община существовала у всех народов на известной ступени развития, сохранение же ее в России свидетельствует лишь о нашей отсталости, о медленности и вялости исторического развития. Он протестует против идеализации первобытных форм, представляющих «просто смесь анархии с деспотизмом», и издевается над людьми, «любящими дешевым манёром подсмеиваться над славянофилами, не замечая того, что сами не чужды коренной тенденции, из которой происходит славянофильство» [1]). Чернышевский же смеется над утверждениями,

[1]) На почве разочарования западной цивилизацией у Герцена действительно произошло некоторое духовное сближение с славянофилами. Вообще Герцен считал их дикими изуверами, от которых „веет

что Россия своей общиной призвана возродить Запад и внести в европейскую цивилизацию высшие элементы. Европа идет к осуществлению социализма своим путем, если же Герцен этого не замечает, то лишь потому, что не понимает исторической роли пролетариата. Запад не умирает, он только начинает жить, ибо рабочий класс только выступает на сцену.

Особенно же враждебно отнеслись к проповеди Герцена европейские демократы, усмотревшие в ней отголосок ненавистного им панславизма, этого испытанного орудия в руках царизма. Действительно, идеи, развиваемые Герценом, могли подать повод к недоразумениям, тем более, что он часто не удерживался от неосторожных и двусмысленных выражений.

В письме к анархисту Э. Кердеруа от 7 июня 1854 г. Герцен грозит Европе, если она сама не устроится, вторжением (ясно, казаков). Пусть это обмолвка, вызванная самим Кердеруа, озлобленным жестокостью буржуазии и призывавшим на голову обанкротившейся цивилизации казачьи нагайки. Но в устах русского такие неосторожные слова весьма дурно воспринимались западными демократами, ненавидевшими русский царизм, который в те времена сковывал развитие европейской жизни и был самым опасным врагом революции.

Столь же возмущала европейских демократов манера Герцена (и Бакунина) об'яснять все отрицательные стороны русской истории немецким влиянием, его огульные нападки на немецкую культуру и на всех немцев без из'ятия. Эту привычку и Герцен, и Бакунин (да и вообще их круг) заимствовали от славянофилов. Но особенное подозрение со стороны западноевропейских демократов вызывали такие заявления Герцена, в

застенком, рваными ноздрями, эпитимией, покаянием, Соловецким монастырем". Попадись этим господам в руки власть, они заткнут за пояс III отделение (письмо к Тургеневу, 1857 г.). Но в некрологе К. С. Аксакова („Колокол", № 90, 15 января 1861 г.) Герцен уже говорит о славянофилах дружеским тоном. Он уверяет, что у них и у западников была даже о д н а любовь, но не о д и н а к а я—к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. „Мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как с е р д ц е б и л о с ь о д н о". Разумеется, славянофилы остались очень довольны этой статьей Герцена.

которых они усматривали явное проявление панславистских стремлений.

Так, в письме к Маццини от 20 ноября 1849 г. Герцен пишет: «Взятие Константинополя было бы началом новой России, началом славянской федерации—демократической и социальной (!)». Что у Герцена это не было простой обмолвкой, видно из того, что к мысли о завоевании Константинополя он возвращается неоднократно. В письмах к Линтону (20 февраля 1850 г.) он говорит: «Настоящая столица об'единенных славян—Константинополь, Рим восточной церкви (!)». И вокруг этого центра должны собраться «пробужденные социализмом» славяне.

Немудрено, что европейские демократы с недоверием относились к такому социализму, одно из требований которого удивительным образом совпадало с стародавним стремлением петербургского самодержавия—стремлением к овладению наследством «больного человека» и к захвату Стамбула, Царьграда. И по этому поводу Герцену пришлось выслушать много горьких упреков. Если даже для нас, русских, могущих разобраться в наших партиях и хорошо знающих, что Герцен и Бакунин были непримиримыми врагами самодержавия, подобные заявления звучат крайне странно, то нетрудно себе представить, как к ним должны были отнестись западные демократы, для которых русский революционер тогда вообще был новинкой, и которые справедливо усматривали в царской России своего самого заклятого врага.

VII.

Мы видели, как после разочарования в судьбах европейской революции состоялось «духовное возвращение» Герцена на родину. Однако в Россию Герцен не вернулся. Слухи об его связях с европейскими революционерами и об его участии в революционной агитации дошли до русских правящих сфер. Узнав об этом, правительство Николая I наложило секвестр на недвижимые имения Герцена и пыталось даже захватить деньги его матери в московской сохранной казне. Засим Герцену был послан приказ вернуться в Россию. Но он, прекрасно зная, что

ждет его на родине, где к тому времени восторжествовала самая дикая реакция, отказался выполнить приказ правительства и предпочел сделаться политическим эмигрантом. 22 марта 1851 года сенат постановил лишить Герцена всех прав состояния и считать его навсегда изгнанником из пределов государства, а с имением его поступить по законам (т.-е. взять в опекунское управление). Государственный Совет подтвердил это решение, а 26 сентября оно было утверждено царем.

Интересно прибавить, что московские друзья Герцена отрицательно отнеслись к его решению и даже вообще осуждали его политическую деятельность за границей. Подавленные николаевским террором и будучи по существу умеренными буржуазными либералами, а вовсе не революционерами или социалистами, они смотрели на работу Герцена как на совершенно бесплодную агитацию, России не нужную и не имеющую никаких корней в русской жизни. Герцен счел нужным об'яснить им, почему он предпочел тяжелую жизнь эмигранта возвращению в деспотическую Россию.

«Пожалуйста, не ошибитесь,—писал он им в предисловии к своей книге «С того берега»,—не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь, да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых,—отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы... Время прежних обманов и упований миновало. Я ни во что не верю здесь, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни его вершинное образование, ни его учреждения... Я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,—и остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.

«Зачем же остаюсь? Остаюсь затем, что борьба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страданья болезненны,

жгучи, но г л а с н ы: борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка, прежде чем вымолвили слово; велико насилие, но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эти речи, за эту гласность я остаюсь здесь.

«За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык—моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

«Дорого мне стоило решиться... Вы знаете меня... и поверите... Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву человеческому достоинству, свободной речи...

«Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить, сложа руки, можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела... Я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель».

Герцен, оставшись за границей, решил не сидеть сложа руки. В тот момент в России не было никакого движения; поэтому в первое время Герцен не мечтал еще о работе для России: эта мысль возникла у него впоследствии. Первая задача, которую он себе поставил,—это ознакомить Европу с Россией. Европа знала тогда русское правительство, фасад русского государственного здания, давившего ее своим внешним величием и пугавшего ее своей кажущейся грозной силой. Но русского народа она не знала. Герцен решил познакомить передовых европейских людей с жизнью и страданиями русского народа, с первыми проявлениями революционного движения в России и с теми чаяниями, которые питают передовые русские люди.

«Пусть,—говорил он,—она (Европа) узнает ближе народ, которого отроческую силу она узнала в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; о народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским, который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся,—надобно им знать, чего они боятся».

Мы уже говорили, что в 1849 году Герцен уехал из Франции в Швейцарию. В 1850 году он сделался швейцарским гражданином, натурализовавшись в деревне Шатель, близ Муртена, во Фрейбургском кантоне. После этого он проживал то в Швейцарии, то в Ницце, то в различных итальянских городах, пока не уехал надолго в Лондон. В это время он в целом ряде газетных статей, брошюр и книг [1]) старался выполнить свое намерение ознакомить Европу с неоффициальной Россией, с русской литературой и народом. Между прочим, в 1849 году он пытался использовать для этой цели газету Прудона «La Voix du Peuple» («Голос Народа»), на залог для которой он дал 24 тысячи франков. Иностранный отдел в газете был предоставлен в распоряжение Герцена. Газета пошла было хорошо, но капитал ее был быстро с'еден правительственными штрафами, и она через несколько месяцев закрылась. Из главных работ Герцена, посвященных задаче ознакомления европейской публики с русским народом, следует назвать: «Россия» (Г. Г-у,

[1]) Главным образом, под псевдонимом Искандер (восточная переделка имени Александр).

то-есть Георгу Гервегу), «Письмо русского к Маццини», «О развитии революционных идей в России», «Русский народ и социализм» (письмо Ж. Мишле), «Михаил Бакунин» (письмо Ж. Мишле)—все это по-французски, «Русское крепостничество» по-английски, «Старый мир и Россия» (письма к В. Линтону)—по-английски, по-французски и пр. Сюда же относятся его знаменитые мемуары «Былое и Думы», значительная часть которых была напечатана на иностранных языках, и которые имели особенный успех среди европейских читателей—в значительной мере благодаря выдающемуся таланту, с которым они написаны.

Эти мемуары были задуманы Герценом в 1852 году вскоре по переезде его в Лондон. Чувствуя себя тогда совершенно разбитым после всех пережитых им личных потрясений и общественных разочарований, Герцен смотрел на эту работу как на постройку «надгробного памятника». Записки, действительно, проникнуты глубоким чувством меланхолии и усталости, но глубокий талант Герцена и широта его ума далеко раздвинули намеченные первоначально рамки, и в результате получилась интереснейшая работа, характеризующая развитие умственного движения в передовом русском обществе в тридцатые и сороковые годы. Вместе с тем «Былое и Думы», представляя историю мятущейся души русского интеллигента, кающегося дворянина, одновременно затрагивают такие глубокие струны человеческого сердца, что это сочинение Герцена, вероятно, переживет все его остальные и надолго останется любимым чтением современного человека.

VIII.

Но живая и деятельная натура Герцена не могла примириться с узкими рамками писания для европейской публики о России. Для него важнее была вторая задача, поставленная им себе, когда он решил сделаться эмигрантом, это—писать для русской публики из Европы. В письме к прусскому демократу Иоганну Якоби от 24 апреля 1850 года Герцен говорил: «Пропаганда—единственное дело, которое мне остается». А в письме к своему другу М. К. Рейхель (Эрн) от 8 февраля 1853 года он

сообщает, что решил приступить к печатанию «по-русски». Эта мысль возникла у него еще в 1849 году в Париже, после первых ударов, нанесенных его старой вере в Европу.

Нужно отметить, что его московские друзья, задавленные николаевским деспотизмом, осуждали революционные замашки Герцена, не сочувствовали его деятельности и всячески уклонялись от сношений с ним (даже присылки запрещенных сочинений Пушкина он не мог от них добиться). Чтобы доказать им возможность таких сношений, он решил приступить к изданию книг и брошюр на русском языке, при чем польские эмигранты взяли на себя их доставку в Россию.

В начале 1853 года на средства Герцена при типографии Польского Демократического Общества устроена была «Вольная русская типография», которая с мая того же года начала свою работу. Первой ее публикацией было обращение к «Братьям на Руси». Здесь Герцен упрекает своих московских друзей в рабском молчании. Свободное слово в России невозможно. Пусть же свободная русская речь раздается за границей. «Открытая вольная речь—великое дело; без вольной речи нет вольного человека. Недаром за нее люди дают жизнь, оставляют отечество, бросают достояние... Открытое слово—торжественное признание, переход к действию». Выражая уверенность в том, что наступило время издания свободной русской литературы, он предлагает своим московским друзьям помочь ему в этом предприятии.

Герцен давно уже почувствовал себя «лишним» на Западе. С весны 1853 года он, по его словам, окончательно покинул западные дела и решил заняться русской пропагандой. 1 мая 1853 года «Вольная русская типография» была открыта. Герцен возлагал на нее большие надежды. 12 февраля 1854 года он пишет той же М. К. Рейхель: «От заведения русской типографии начинается новый период русской революционной деятельности». И по существу Герцен был, конечно, прав. Именно с этого момента начинается зарубежная вольная русская литература.

Сначала Герцен выпускает в своей типографии ряд листков: «Братьям на Руси», «Юрьев день», «Поляки прощают нас». Затем, в связи с оживлением, начавшимся в России после

Крымской войны, Герцен решается расширить свою издательскую деятельность. В 1855 году он приступает к изданию журнала «Полярная Звезда», названного так в честь одноименного альманаха, выпускавшегося в 1823—1825 г.г. будущими декабристами А. А. Бестужевым (Марлинским) и Рылеевым в Петербурге. С 1855 года журнал выходил почти ежегодно вплоть до 1862 года.

Герцен чувствовал, что толстый лед, которым Николай I сковал Россию, начал оттаивать, и ждал глубоких изменений в русской жизни. Ему казалось, что дело декабристов оживает.

> «Неужели,—писал он в первой книжке «Полярной Звезды»,—неужели через сорок лет (после наполеоновских войн) пройдет даром гигантский бой в Тавриде? Неужели севастопольский солдат, израненный и твердый как гранит, испытавший свою силу, так же подставит свою спину палке, как и прежде? Ополченный крестьянин воротится на барщину так же покойно, как кочевой всадник с берегов каспийских, сторожащий теперь балтийскую границу, пропадет в своих степях? И Петербург видел понапрасну английский флот? Не может быть. Все в движении, все потрясено, натянуто... и чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?! Лучше пусть погибнет Россия! Но этого не будет».

Волны общественного оживления в России хлестали все выше и выше. На-ряду с усилением умеренно-либерального течения появились и радикальные стремления среди разночинцев, выражением которых скоро стал «Современник» Добролюбова и Чернышевского. Правительство увидело себя вынужденным приступить к разрешению крестьянского вопроса. Перед Герценом открывалось все более широкое поле деятельности.

В 1856 году в Лондон приехал Огарев. Теперь работа закипела еще сильнее. Уже «Полярная Звезда» могла похвастать некоторым успехом: со второй книжки журнала расходы по типографии начали окупаться. Но журнал был слишком тяжеловесным оружием. Нужно было более частое и боевое издание, способное откликаться на все быстро вставшие в забродившей России вопросы. Приезд Огарева в Лондон прямо из России

сыграл в этом отношении большую роль. С 1 июля 1857 года Герцен и Огарев приступили к изданию «Колокола», почти целиком посвященного русским делам.

«Колокол», выходивший до 15 февраля 1858 года раз в месяц, а затем дважды в месяц, быстро достиг очень крупного успеха. Тираж его дошел до 2.500 экземпляров, что по тогдашним временам было очень большой цифрой; некоторые номера его выходили даже вторым изданием. «Колокол» был не только в руках учащейся молодежи, но и проник во все сферы русского общества. Даже при дворе «Колокол» читали с величайшим интересом. Кое-где даже жандармские полковники распространяли его из-под полы. За «Колоколом» нервно следили Александр II и его жена. Герцен сделался «властью». Явились как бы два правительства—оффициальное в Петербурге и неоффициальное в Лондоне—и «которое строже, трудно сказать»,—замечает один современник. У Герцена сразу появилась масса корреспондентов из России. Западники, славянофилы, консерваторы, либералы, революционеры, обыватели, чиновники—все это писало в Лондон, сообщало факты, разоблачало. Русские, выезжавшие за границу, начиная от крестьян и кончая придворными аристократами и сановниками, считали своим долгом заехать к Герцену, накупить его литературы и привезти ее в Россию. В правящих сферах Герцена боялись как огня. Но это влияние, этот страх вызывались не столько теоретическими взглядами Герцена, сколько теми разоблачениями, которые систематически начали появляться в «Колоколе». Всякий чиновник, сановник, помещик, совершавший ту или иную пакость, мог быть уверен, что вскоре его подвиги будут раскрыты на страницах «Колокола». Гнилое болото самодержавной России всколыхнулось и заволновалось. Правительство начало принимать решительные меры борьбы с изданиями Герцена. Ему удалось даже побудить иностранные правительства, как французское, прусское, саксонское и другие, открыть гонение на эти издания и запретить их продажу в своих пределах. Но это не помогало делу. Влияние Герцена росло неудержимо.

Но в народные массы издания Герцена не проникли. Да он к ним и не обращался. Его аудиторией было либеральное дво-

рянство, готовое отказаться от крепостного права и перейти к капиталистической системе производства. Убежденный социалист, во многих случаях склонный даже к анархическим воззрениям, Герцен, обращаясь к России, отказывался от всякой «системы», от всякого «учения» и неоднократно с гордостью подчеркивал это.

В статье «Вперед! Вперед!», написанной после заключения парижского трактата, подписанного 3 марта 1856 года, Герцен выставил крайне узкую программу: «Долой дикую цензуру и дикое помещичье право! Долой барщину и оброк! Дворовых на волю!» И, подчеркивая, что с этой программой он обращается не к народу, а к дворянам, в частности к царю, Герцен прибавлял: «А с становыми и квартальными мы сделаемся потом». Таким образом, он не связывал разрешение крестьянского вопроса с политической реформой, в данном случае с уничтожением самодержавия, и полагал, что освобождение крестьян с землею и установление свободы слова возможны при царизме.

Приступая к изданию «Колокола», Герцен выставил такую программу: «Везде, во всем, всегда быть со стороны воли против насилия, со стороны разума против предрассудков, со стороны науки против изуверства и со стороны развивающихся народов против отстающих правительств. Таковы общие догматы наши». По отношению к России он выдвинул ближайшую программу, состоявшую из трех пунктов: «Освобождение слова от цензуры, освобождение крестьян от помещиков, освобождение податного сословия от побоев». И только через 4 года, когда правительство Александра II достаточно показало свою физиономию, когда умеренная программа Герцена начала вызывать протесты со стороны радикалов, он несколько расширил ее. В статье «Третья кровь», после избиения поляков, крестьян и столичных студентов, Герцен формулирует новую программу, также состоящую из трех пунктов, но несколько более широких: «Независимость Польше, земля крестьянам, свобода России». При этом он заговаривает уже о Земской Думе, которая должна притти на смену самодержавию. Но на-

стоящей социалистической и революционной программы Герцен так и не выставлял до конца.

Успех Герцена недолго держался на достигнутой им высоте. По мере того, как обнаруживалось, что надежды Герцена на царя и либеральное дворянство не оправдались на деле, «Колокол» стал все больше леветь. Крестьянская реформа была искажена в интересах дворянства; крестьяне получили недостаточные и плохие наделы, причем на них наложен был тяжелый выкуп. Печать не получила свободы, оппозиционное движение подавлялось самым беспощадным образом. И после недолгого колебания правительство вернулось к старой самодержавной практике Николая I. Таким образом даже крайне умеренная программа, выставленная Герценом, не была осуществлена. Вследствие этого он начал подаваться влево. В его газете появляются, правда, неопределенные призывы к народному восстанию, к активной борьбе с самодержавием и дворянством и т. п. В этом отношении на него влиял сначала Огарев, а затем бежавший из Сибири М. Бакунин. В «Колоколе» начали появляться все чаще статьи социалистического и революционного содержания. И влияние Герцена начало падать.

Если бы «Колокол» был органом начавшегося в России революционного движения, то полевение Герцена могло бы только усилить его влияние. Но в том-то и дело, что революционная молодежь признавала своим выразителем не его, а кружок Чернышевского, сгруппировавшийся в «Современнике», и появившиеся тогда в России первые тайные революционные общества. Напротив, эта молодежь относилась весьма скептически к умеренной политике Герцена. Сам Герцен обращался по преимуществу к дворянству и к буржуазным кругам русского общества. По мере того, как он левел, его аудитория отворачивалась от него, а новой приобрести он не сумел. Более того, видя, как радикальная часть русского общества отворачивается от него, Герцен совершил колоссальную политическую ошибку, напав в резкой и грубой форме на революционеров, особенно на кружок Чернышевского и Добролюбова. В своей полемике с радикалами Герцен дошел до того, что обвинял их в прислужничестве Третьему Отделению (т.-е. тогдашней цар-

ской охранке). К этим нападкам на молодое поколение его подстрекали его бывшие друзья по кружку московских западников, в том числе и И. С. Тургенев, который в политике был весьма умеренным либералом и даже сторонником «просвещенного абсолютизма».

Окончательный удар влиянию Герцена нанесла его поддержка польского восстания. Опять-таки, если бы «Колокол» был органом тогдашней революционной партии, то активное выступление Герцена в защиту Польши не могло бы причинить ему никакого вреда. Но так как «Колокол» был или старался быть органом либерального дворянства и либерального чиновничества, то присоединение Герцена к польским патриотам сильно подорвало его обаяние в этих кругах. Как только началось польское восстание, дворянскими и буржуазными кругами в России овладел буйный припадок квасного патриотизма. Господствующие классы об'единились вокруг царского престола для подавления «бунтовщиков». Началась крайняя, безудержная реакция. Открылось гонение не только на все польское, но и на малейшие проявления революционной оппозиции в самой России.

Сам же Герцен, который стоял на почве права наций на самоопределение или, как он выражается, «признания народов как самоправных личностей», без всякой оговорки решил поддержать польское восстание. Правда, он не сразу решился на это и долго колебался, главным образом потому, что не был уверен в демократизме польских патриотов и в готовности их наделить крестьян землей. Но в конце концов сомнения его были устранены после переговоров с вождями польского революционного движения. А с другой стороны, Бакунин, который начал пользоваться большим влиянием на Герцена, убедил его оставить свои колебания и решительно примкнуть к борьбе поляков за свободу. Это тем легче могло удаться Бакунину, что Герцен (как и Бакунин, как и многие его старые московские товарищи) давно мечтал о федерации славянских народов. Ему казалось, что освобождение Польши будет способствовать установлению политической свободы в России, а тогда состоится союз всех освобожденных славян (между про-

чим для борьбы с германским влиянием, которое Герцен считал крайне пагубным).

Впрочем, участие Герцена в польском восстании ограничилось только литературными выступлениями (в отличие от Бакунина, который принял в нем активное участие). Но и этого было достаточно для того, чтобы популярность «Колокола» среди его прежней аудитории пала окончательно. Буржуазно-дворянская аудитория отвернулась от Герцена. Связи «Колокола» с Россией все больше обрывались, подписка быстро падала, распространение газеты неудержимо шло вниз. Уже в 1862 году Герцен почувствовал, что его связи с родиной становятся все более слабыми. «Колокол», который раньше в России рвался из рук и зачитывался до дыр, перестал там читаться и ввозился в Россию в ничтожном количестве. Место Герцена в дворянских кругах занял реакционер и царист М. Катков. Напрасно Герцен еще в 1864 году упрямо заявлял, что прекратит издание «Колокола» только тогда, когда в России будет уничтожена всякая цензура. Уже с 25 мая 1865 года Герцен перенес издание «Колокола» в Женеву. В Швейцарии, ставшей центром молодой русской эмиграции, Герцен рассчитывал найти более подходящую почву для своей литературной пропаганды. Но и в этом отношении надежды Герцена не оправдались.

Его отношения с молодой эмиграцией при непосредственном соприкосновении с нею еще ухудшились и приняли явно враждебный характер. Молодежь смотрела на Герцена как на безнадежно отсталого человека, принадлежащего к барскому миру, отрицала за ним всякое политическое и даже литературное значение. Герцен платил ей той же монетой, да еще сторицей. Он совершенно не понял характера революционных разночинцев. Как истый барин, он с отвращением относился к их манерам, костюму, речи, образу жизни, абсолютно не сочувствовал их политическим и социальным стремлениям и вообще готов был поставить крест над всем молодым поколением. Недоразумения все более углублялись и усиливались и в конце концов наступил полный разрыв.

Герцен начал было уже склоняться к мысли о прекращении

«Колокола» и замене его трехмесячным журналом. Но из упрямства он продолжал издавать «Колокол», не желая уступить «нахальству эмигрантов, которые скажут, что мы ослабели под их ударами». Журнал становился все более скучным, информация из России поступала все более скудно и с большим опозданием, самый литературный талант Герцена как-то поблек, и в конце концов пришлось примириться с неизбежным. 1 июля 1867 года Герцен об'явил о приостановке журнала на полгода. К началу 1868 года журнал действительно возобновился, но уже не на русском, а на французском языке. Таким образом Герцен признал, что для его русской пропаганды нет почвы, и вернулся к своей старой задаче—знакомить Европу с Россией. Но и французский «Колокол» не пошел. Видя неудачу нового предприятия, Герцен почувствовал, что всякое желание работать у него пропало, и 1 декабря 1868 года на 14—15 номере прекратился и французский «Колокол».

После этого Герцен издал еще одну книжку «Полярной Звезды», и этим прекратилась его литературная деятельность, если не считать некоторых отдельных заметок и статей, которые он время от времени еще писал.

Кроме политических неудач, последние дни Герцена были отравлены новой личной драмой. Еще в 1857 году Герцен сошелся со второй женой своего друга Огарева, Натальей Алексеевной Тучковой-Огаревой. Жизнь с нею была также неудачна для Герцена. Сам он личного счастья не нашел, но зато разбил жизнь своего старого, верного друга, на которого разрыв с женой подействовал губительным образом.

В последние годы своей жизни, гонимый внутренней тревогой, Герцен переезжал с места на место. В январе 1870 года он простудился в Париже, где поселился с осени 1869 года, схватил воспаление легких и умер 9/21 января. Умер Герцен совершенно одиноким. Прах его временно был погребен в Париже, а затем перевезен в Ниццу, где на могиле его был поставлен известный по снимкам памятник.

Здесь и покоится пока прах Герцена в ожидании того момента, когда освободившийся русский народ перевезет этот драгоценный прах своего великого сына на родину, за которую он страдал и боролся всю свою жизнь.

IX.

Герцен умер озлобленным и разочарованным, а между тем у него были все данные для того, чтобы стать вождем и выразителем молодой революционной России. Как же могло случиться, что этот социалист, политический эмигрант, с юных лет боровшийся против произвола, на закате дней своих очутился в стороне от нарождающейся молодой России? Несчастье Герцена заключалось в том, что, одной ногой вступив на почву нового мира, он другой продолжал стоять в старом мире.

В Герцене поражает двойственность психики и настроения. В теории крайний революционер и даже анархист (правда, мирный анархист, последователь Прудона), на деле Герцен был аристократом и умеренным человеком. Все встречавшиеся с ним люди, как представители господствующих классов—дворяне, царские сановники, профессора, писатели, либералы, так и революционеры, разночинцы, единогласно приходили к выводу, что Герцен—настоящий московский барин, аристократ с ног до головы. И действительно это было так. Герцен вышел из помещичьей семьи и до конца дней своих не мог совлечь с себя ветхого Адама. То, что он был миллионером и жил роскошной жизнью богатого барина, это сравнительно пустяк. Главная беда была в том, что его со старым миром связывали определенная культура, воспитание, традиции, глубокие интимные переживания. В душе он сочувствовал беднякам, пролетариям, страждущим и угнетенным; в теории он беспощадно рвал со старым миром, отрекался от отживших и обанкротившихся буржуазных идей. На деле же он был аристократом, его тянуло в аристократические и буржуазные сферы, он обнаруживал робкую половинчатость на практике, он чувствовал себя еще более отчужденным от нового революционного поколения, чем от старого поколения, и органически не понимал идей и стремлений борющегося пролетариата. Эта двойственность, преследовавшая его в течение всей жизни, омрачила его последние годы.

Знакомства и дружеские связи Герцена в общем и целом не выходили за пределы буржуазной интеллигенции. В России это умеренные либералы—Тургенев, Кавелин, Анненков, Боткин, либеральничающие сановники и дворяне—граф Ростовцев, князь Долгоруков, граф Алексей Толстой, Головин; за границей—это буржуазные революционеры—Мишле, Ледрю-Роллен, Мадцини, Карл Фохт, Кинкель, польские патриоты. Отнестись к ним критически Герцен совершенно не в состоянии, он благоговеет перед ними и, даже когда он иногда возвышается до критики их, он останавливается на полдороге и в конце концов возвращается к ним.

Настоящих же демократов и революционеров Герцен вовсе не знал, с ними не встречался, а если и знал и встречался, то сплошь и рядом относился к ним враждебно и презрительно. Он охотно принимает у себя известного литературного барышника А. Краевского, но отказывается принять демократического поэта Некрасова, которого изображает в виде литературного бандита, «лгущего духом и торгующего талантом, как продажные женщины лгут телом и продают свою красоту». Он относился с враждой к вождям молодого поколения, Добролюбову и Чернышевскому, и их кружку, называет их желчевиками, озлобленными, изломанными и исковерканными людьми, он готов даже отдать предпочтение перед ними представителям царского режима, говоря, что их критический и распекательный тон для него «противнее генеральского сиплого крика, напоминающего густой лай остепенившейся собаки, ворчащей больше по общественному положению». А с представителями молодой эмиграции, как А. Серно-Соловьевич и его товарищи, Герцен был прямо на ножах.

Помимо всего прочего он обвинял их в том, что они покушаются на его капиталы. Он об'явил революционную молодежь «Собакевичами и Ноздревыми нигилизма», узкими, резкими, ленивыми, невежественными, стремившимися ограбить его и взять «на дуван» его состояние. Он видел в них не представителей народа, а выходцев из передней, казармы, канцелярии и семинарии, внучат Скалозуба, собиравшегося дать фельдфебеля в Вольтеры. И он усматривает даже «проказу взяток» в тре-

бовании от него денег на «общее дело», характеризуя это требование как «домогательство денег» нахрапом, с пристрастием и угрозами под предлогом «общих дел», «как поползновение кормиться насчет службы и мстить кляузами и клеветами за отказ». В своем несправедливом озлоблении против молодежи Герцен доходил до того, что готов был оправдывать реакционные меры царского правительства характером несимпатичного ему революционного поколения. В письме к Бакунину он выражался про эту революционную молодежь так: «Это мошенники, оправдавшие своим сукиносынизмом меры правительства, невежды, на которых Катковы, Погодины, Аксаковы и пр. указывают пальцами. Это люди, которые обратили на меня втрое больше ненависти, чем на Скарятина, говоря просто, что они завидуют, что они хотели бы обобрать и что они не могут переварить художественной стороны статей... Им будущности нет. Это меньшой венерический брат, который умрет, и на его могиле встретится старший с еще более меньшим» [1]).

И в то самое время, когда Герцен писал эти глубоко несправедливые строки о революционной молодежи, может быть, кое в чем и виноватой и слишком резкой, но по существу честной, здоровой и преданной народным интересам, в это самое время он дружески встречался и беседовал с Самариным и Погодиным!

Кошута, Маццини, Ледрю-Роллена и других представителей буржуазной и аристократической эмиграции Герцен зачисляет в «горные вершины», он ищет их знакомства, благоговеет перед ними и вообще смотрит на них снизу вверх. Зато к демократической массе эмиграции, прозванной им «хористами революции», Герцен относится свысока, замечая только ее неприглядные обывательские черты. Но с особенной ненавистью он третирует самую здоровую и самую демократическую часть тогдашней эмиграции, а именно немецких коммунистов, сгруппировавшихся вокруг Карла Маркса. Самого Маркса он называет «неузнанным гением первой величины» и изобража-

[1]) Просим, впрочем, не забывать, что эти резкие выражения употреблены Герценом в частном письме к его старому интимному другу Бакунину.

ет его как озлобленного интригана, мечтающего о гегемонии немецкой нации, а под шумок занимающегося одними сплетнями. Его последователей, «марксидов», он, вслед за политической полицией и своим другом К. Фогтом, называет «серной шайкой» (поджигателями) и ставит их так низко, что, по его деликатному выражению, «от «серной шайки», как сами немцы (какие?) называют «марксидов», естественно и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и пуще всего в Лондоне». И дальше Герцен описывает нескольких полоумных чудаков, мошенников, проходимцев, попрошаек и шпионов!

А между тем, пока Герцен задавал пиры и возился с буржуазно-аристократическими «горными вершинами», Маркс и его друзья сближались с рабочими всех наций и залагали основы Первого Интернационала, открывая движение, которое должно было потрясти весь старый мир.

X.

Эти черты Герцена сказались и на его политической работе для «русского дела». Для Запада чуть ли не анархист, беспощадный в теории, отвергавший все тогдашние революционные учения, браковавший всех (известных ему) революционных деятелей, он для России выступил с крайне умеренной программой. Он не только не стремился к революции, но даже те реформы, которые он там рекомендовал, носили половинчатый и робкий характер. Как мы видели, он требовал освобождения крестьян с частью земли, но за выкуп, свободы печати и отмены телесных наказаний. Не только о социализме, но даже о буржуазном демократизме в его программе не было речи. Он не только не домогался низвержения самодержавия и установления хотя бы буржуазной республики, но он и не требовал даже ограничения самодержавия каким-нибудь народным представительством.

Скажут, что Герцен уже разочаровался в буржуазной республике, во всеобщем избирательном праве и т. п. Допустим. Но ведь еще больше он должен был разочароваться в самодер-

жавии, в способности и готовности неограниченной монархии взять на себя защиту интересов трудящихся масс. Но в том-то и дело, что благодаря своему крайнему политическому оппортунизму и приспособленчеству Герцен подходил к русской жизни с совершенно другой меркой, чем к европейской. Здесь его проницательный ум пасовал, здесь он бросал свой острый критический скальпель. Для России исторические законы не были писаны. В Европе даже мелкий лавочник рисовался Герцену как непримиримый враг пролетариата; в России он возлагал свои надежды на дворянство, думая, что оно способно и намерено выступить в роли ходатая за крестьянские интересы. Здесь сказалась принадлежность Герцена к старому миру, с которым он не мог порвать, несмотря на все свои крайние заявления в литературе.

Приступая к русской пропаганде, Герцен и не думал апеллировать к тем, чьи интересы он брался защищать. На активную и историческую роль народных масс, в частности крестьянства, он совершенно не рассчитывал. Более того, революционным выступлениям народа он не сочувствовал, он боялся их, он выдвинул какую-то нелепую теорию мирного перехода к высшим формам общественной жизни,—и это в самодержавной России! Герцен обращался к уму и совести господствующего класса, к либеральному дворянству и даже к царской династии.

Первая же листовка Герцена «Юрьев день» обращена к русскому дворянству. Здесь Герцен обращается к крепостникам, к плантаторам, к кнутобойцам с дружеской речью об общем (!) горе, об общем (!) стыде и с «братским советом». Герцен настолько не понимал сущности самодержавия, что пугал дворян и помещиков предстоящим усилением самодержавия в случае, если крестьяне будут освобождены не по инициативе дворян, а по царской милости. С другой стороны, он пугал их тем, что крестьяне могут освободиться по милости пугачевщины, а тогда погибнут, мол, культура и образование. Ввиду этого Герцен предлагает дворянам предупредить большие бедствия, пока это в их воле. Когда встал вопрос об отмене телесных наказаний, Герцен опять-таки обращается не к се-

комым, а к секущим. Да и последним он предлагает не принять меры к законодательной отмене телесных наказаний, нет, он рекомендует им образовать «союз воздержания от телесных наказаний» и дать друг другу честное слово не сечь своих мужиков.

Известна та комическая переписка, которую Герцен открыл с императорской семьей. Еще при жизни Николая I Герцен в брошюре «Крещеная собственность» начинает свою идеализацию будущего императора Александра II, тогда еще наследника. «Они (закоренелые в рабстве слуги Николая) погубят Александра,—писал он,—и как жаль его. Жаль за его доброе сердце, за веру, которую мы в него имели, и за слезы, которые он несколько раз проливал». По вступлении на престол Александра II Герцен сейчас же обратился к нему с письмом, в котором уговаривал его дать свободу русскому слову и землю крестьянам. Во имя этого Герцен готов принести «огромную жертву», «стереться», замолчать, прекратить свою литературную и оппозиционную деятельность.

«Разумеется,—писал Герцен царю,—моя хоругвь не ваша: я неисправимый социалист, Вы самодержавный император; но между Вашим знаменем и моим может быть одно общее»,— именно та любовь к народу, о которой шла речь!

Этого смешного занятия Герцен не прекращал и впоследствии. Он взял на себя комичную роль непрошенного советчика и ментора, диктовавшего программу царизму и дававшего советы царю. На это глупое занятие он увлек и Огарева. 1 августа 1858 года оба друга обратились к Александру II с письмом, в котором уговаривали его не утверждать помещичьего проекта крестьянского освобождения. «Мы с ужасом прочли проекты центрального комитета. Остановитесь! Не утверждайте. Вы подпишете свой стыд и гибель России. Как честные люди, от искренней скорби и от искреннего желания добра, ради всего святого умоляем Вас, не утверждайте! Одумайтесь!» И даже в 1860 году, когда и слепой мог видеть, что от самодержавия ничего путного ждать нельзя, Герцен рекомендовал царю «проснуться» и уверял его, что друзья России могут еще быть друзьями Александра II. Более того, когда

воспитателем наследника был назначен Гримм, то Герцен поспешил написать письмо императрице Марии Александровне, в котором давал ей советы по поводу воспитания наследника и между прочим протестовал против назначения Гримма за то, что он немец!

Особенно много порицаний вызвала статья Герцена «Через три года» («Колокол», № 9 от 15 февраля 1858 г.), в которой автор восхваляет Александра II за первые мероприятия по освобождению крестьян. Герцен называет царя «мощным» деятелем, открывающим новую эру для России, наследником не только Николая I, но и декабристов, просит Александра II смотреть на издателей «Колокола» не как на врагов и т. п. Статья начинается и кончается неоднократно цитированной фразой: «Ты победил, Галилеянин!».

Защитники Герцена пытались сопоставить эту статью с статьей Н. Чернышевского «О новых условиях сельского быта», помещенной около того же времени в «Современнике» (1858 г., № 2) и также содержавшей похвальные выражения по адресу Александра II. Но у Чернышевского это была минутная слабость, от которой он быстро отказался, перейдя к решительной критике правительственной и дворянской программы и к пропаганде социально-революционного переворота. У Герцена же это была система, которой он держался десять лет, не переставая проповедывать умеренно-либеральную программу и, с небольшими отличиями, поддерживая своим мощным голосом общий либерально-дворянский хор.

Неудивительно, что Герцен пользовался первое время большой популярностью в дворянских и даже придворных сферах. Для них он был человеком будирующим, взбалмошным, протестантом, но своим. Немудрено, что он удостаивался похвальных отзывов от царских сановников, и в том числе и от князя Орлова, сына известного тогда шефа жандармов. Человек, который брал на себя в эмиграции роль «явного советника» дворянства и царя, который печатно выражал веру «в добрую душу Александра II и в его благородство»,—это был человек старого дворянского мира. Он настолько не разбирался в происходившей тогда в России классовой борьбе,

что в письме к И. С. Тургеневу («Еще вариация на старую тему», 1857 год) утверждал, что у него «одна цель» с тогдашними умеренными либералами, представлявшими буржуазные и дворянские интересы. И в высшей степени характерно, что свои «Голоса из России» он отдал в распоряжение представителей буржуазно-дворянского либерализма: так, первый номер целиком составлен из писаний Кавелина и Чичерина.

Замечательно, что эти умеренные либералы, российские друзья Герцена, все-таки находили тон его крайне революционным и неприличным. В своих письмах из России они всячески умоляли Герцена оставить династию в покое, не бранить Александра II, не затрагивать двор, ибо это, мол, единственная надежда отечества. Герцен прислушивался к этим гнусным нашептываниям, подавлял свое негодование, смягчал свою критику. Но наступил момент, когда и у Герцена открылись глаза. Назначение Панина, убежденного крепостника, на место руководителя крестьянской реформой по смерти Ростовцева вызвало резкий протест Герцена. «Тон царствования изменился,—писал он,—с ним должны измениться все отношения» («Колокол», №№ 65—66). И, как бы оправдываясь перед своими московскими друзьями в этой перемене тона по отношению к Александру II, Герцен писал: «Нас упрекнуть нельзя. Мы держались до последней крайности, до открытой измены, до преступного назначения Панина, до самоуправства в деле Унковского и Европеуса [1]) до полицейского заговора, вследствие которого нахватали студентов, профессора Каченовского, и мы не знаем, кого еще» («Колокол», №№ 68—69).

Но даже здесь, разрывая с царизмом, Герцен обращается все-таки к дворянству, а не к крестьянству. По поводу назначения Панина он говорит: «Меньшинство дворянства должно сомкнуться и взять в свои руки дело освобождения крестьян». И какой совет дает он этому дворянскому меньшинству? Активно выступить против плантаторской партии, против самодержавия? Ничего подобного. Он рекомендует оставить прави-

[1]) Тверские либеральные земцы, высланные в административном порядке.

тельство «при его административных занятиях и дипломатических сплетнях», отойти от него прочь и «заняться своими делами». «Пусть оно стоит, как невская пирамида, храминой, в которой живет умерший». Герцен обращается к либеральному дворянству с таким советом: «Пойдемте в отставку, хозяйство расстроено, детей надобно воспитывать, делать их ручными из баричей. Ослабим правительство нашим неучастием». Итак, разрывая с правительством, Герцен советует оставить его в покое!

И даже, когда в России началось настоящее революционное движение, Герцен пытался доказать, что царская власть может стать во главе народного освобождения. В статье «Журналисты и террористы» (15 августа 1862 года) Герцен, полемизируя с революционной молодежью из «Молодой России», доказывает ей, что власть царская может стать властью народной, когда она поймет, что требования выдвигаются действительно народными массами. «Императорская власть у нас только власть, т.-е. сила, устройство, обзаведение, содержания в ней нет, обязанностей на ней не лежит, она может сделаться татарским ханатом и французским комитетом общественного спасения. Разве Пугачев не был императором Петром III? Николай под самодержавием разумел сочетание власти азиатского шаха и прусского вахмистра. Народ под земским царем представляет себе какую-то социальную республику, накрытую мономаховой шапкой... Стань (!) царская власть во главу народного дела, где найдется достаточная сила, могущая бороться с ней и ей противодействовать во имя своих корыстных интересов касты, сословия?» После такого блестящего классового анализа российского самодержавия Герцен советует молодежи «оставить революционную риторику и заняться делом», так как французы-де доказали, что «за перевод с феодально-монархического языка мест и чинов на римско-республиканский не стоит проливать не только крови, но и чернил».

Понятно, что настоящие революционеры относились чрезвычайно недоверчиво к этой стороне деятельности Герцена. Идейным вождем тогдашней революционной молодежи был Н. Чернышевский. Чернышевский, стоявший на классовой

точке зрения, прекрасно понимал, что если крестьянская реформа будет проводиться помещиками и бюрократами, то она непременно будет искажена и осуществлена во вред народным интересам. Действительное освобождение крестьян и трудящихся вообще, на взгляд Чернышевского, возможно было только при условии их самостоятельной борьбы, наступление которой он всячески подготовлял своей литературной деятельностью, насколько такие тенденции можно было проводить в рамках тогдашней цензуры. Когда же крестьянская реформа отдана была в руки дворянства, Чернышевский сразу отнесся недоверчиво к такой постановке дела. В своем недоверии он доходил даже до нежелания реформ при отсутствии условий, гарантирующих их удовлетворительное проведение. Он готов был признать, что освобождение крестьян без земли было бы выгоднее для трудящихся масс, чем то половинчатое решение, которое вопрос получил в действительности.

Освобождение без земли Чернышевский готов был предпочесть потому, что это, по его мнению, было единственным средством расшевелить косную народную массу и возбудить в ней революционное движение, которое б.л начисто смело старый режим и дало бы народу настоящую землю и волю.

В отличие от Герцена Чернышевский был революционером. Но он отличался от Герцена и в другом отношении. Как мы видели, Герцен обнаружил политическое безразличие: вопрос о политической реформе он готов был отложить на будущее, вопроса о самодержавии он по существу вовсе не затрагивал. Чернышевский же полагал, что радикальное решение крестьянского вопроса немыслимо без предварительного политического переворота, произведенного массами в своих собственных интересах. Чернышевский тоже был сторонником общинного землевладения, он также возлагал на общину большие надежды (хотя по этому вопросу он был большим реалистом, чем Герцен), но он подчеркивал, что община может развиться в высшую форму только при условии уничтожения политической власти господствующих классов. В первую же голову Чернышевский считал необходимой решительную борьбу

«с бесформенным чудовищем, всепоглощающим Левиафаном», то-есть с самодержавием.

И в области крестьянского вопроса Герцен не высказывался за радикальное решение. Он не требовал предоставления крестьянам всей земли, а только тех участков, которыми они фактически владели. За исключением этого последнего пункта, программа Герцена по крестьянскому вопросу, как уже было отмечено в литературе, впоследствии сделалась программой правительства. И это неудивительно, потому что программа Герцена была в сущности программой либеральных помещиков и бюрократов. Чернышевский же стоял за радикальное решение крестьянского вопроса, который должен был совершенно покончить со старыми русскими порядками, уничтожить экономическое господство и политическую власть буржуазии и дворянства. Герцен никогда не высказывался за предоставление крестьянам всей земли, за экспроприацию землевладельцев, Чернышевский же стоял за передачу всей земли народу. Герцен никогда не высказывался против выкупа крестьянских земель, который в сущности являлся уплатой помещику за личность крепостных рабов; Чернышевский же и тогдашние русские революционеры стояли за предоставление крестьянам земли без выкупа.

Таким образом, по всем основным вопросам тогдашней русской жизни Герцен решительно расходился с мнением радикальных революционных кругов. Герцен был за мирное развитие—те за революцию. Герцен обращался к передовым кругам дворянства—те апеллировали к самодеятельности народных масс. Герцен по крестьянскому вопросу выдвигал умеренно-помещичью программу—те радикальную, революционную программу «земли и воли». Герцен умалчивал о политическом вопросе—те во главу всего ставили вопрос об уничтожении самодержавия и власти господствующих классов.

И замечательно, что Герцен в своей оппортунистической тактике действовал совершенно сознательно. Об'ясняя свою политику, он подчеркивал, что он намерен говорить лишь о тех вопросах, которые выдвигаются самой жизнью. Но в действительности, жизнь выдвигала разные вопросы, а Герцен на часть

из них вовсе закрывал глаза, другую же рассматривал с точки зрения умеренного либерализма.

В письмах к «Старому товарищу» (Бакунину), написанных в 1869 году, Герцен формулировал свою тактику в «Колоколе» в таких выражениях: «Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем для того, чтобы знать, как итти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной, не могут итти». Но его «люди» это были умеренные либералы и дворяне, в угоду которым он беспощадно урезывал не только свой социализм, но и демократизм. Держась на шаг впереди либеральных дворян, Герцен и не заметил, как очутился на сто шагов позади демократической массы.

Отношение радикалов к Герцену выражено в письме «Русского человека» (вероятно, члена из круга Чернышевского), помещенном в 64 номере «Колокола». Автор протестует против того, что Герцен идеализирует самодержавие. «К концу царствования Николая I,—говорит он,—все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силой можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны». От Герцена ждали, что он станет обличителем царского гнета, что он раскроет перед Россией источник ее вековых бедствий. И что же? «Вместо грозных обличений неправды, с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге (столь пекущейся о любезном православии с отцом Бажановым)... Помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства... Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии... зато с особенной яростью напали на Орловых, Паниных, Закревских: в них беда, они мешают Александру II!.. Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! И вот вы—автор «С того берега» и «Писем из Италии»—поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию». Автор письма подчеркивает, что либералы, по указке которых действует Герцен,—

враги крестьян, что они готовы отнять у крестьян землю, положить за наделы громадную цену, на время сохранить даже крепостное право в виде переходного состояния... Он советует Герцену разорвать с этим гнилым российским либерализмом и не подмазываться к правительству. Он напоминает ему, что сближение с двором погубило Пушкина, и прибавляет: «Как ни чисты ваши побуждения, но я уверен, придет время, вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому». Он рекомендует Герцену не обманываться неосновательными надеждами и не вводить в заблуждение других, не отнимать энергии у людей, которым она нужна. Только революция может спасти Россию. Другого пути нет. Автор кончает свое письмо к Герцену следующими словами: «Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать».

Ответ Герцена на письмо крайне слаб. Он пытается уверить, что расходится с автором письма не в идее, не в принципе, не в целях, а только в средствах, в образе действий. Совершенно не касаясь существа вопроса, наоборот, повторяя, что в последнее время что-нибудь путное для России сделал только государь, Герцен подчеркивает свое отвращение к кровавым переворотам и наивно спрашивает: где же в самодержавной России та среда, которую надо вырубать топором?

Бакунин, старый друг Герцена, также выступил против его политического оппортунизма. В своих письмах к Герцену и Огареву (который тогда еще шел рука об руку с первым) Бакунин решительно высказывается против их тактики в «Колоколе» и в частности против писем государю, способных лишь посеять смуту в умах. Он указывает на то, что Герцен испугался воя продажных российских журналистов, вдохновляемых помещиками-крепостниками и поддерживаемых обанкротившимися друзьями Герцена, учениками Белинского и Грановского. Он подчеркивает, что прежняя популярность Герцена об'ясняется его приспособлением к предрассудкам и интере-

сам господствующих классов, и смеется над его мнимой «практичностью», которая на деле оказалась сплошным политическим промахом.

Бакунин советует Герцену прежде всего определить, где его публика, к кому он хочет обращаться. Он советует ему «плюнуть раз-навсегда на всю свою старую публику и, обернувшись к ней спиной, обратиться к публике новой, молодой, едино способной понять (Герцена) искренно, широко и с волею дела». Бакунин указывает Герцену на учеников Чернышевского и Добролюбова, на Базаровых, на нигилистов,—словом, на революционную молодежь, и советует заговорить с ними настоящим революционным и социалистическим языком, но говорить им всю правду, до конца. Эта публика не только не отстанет от своих учителей, но, напротив, в случае нужды подтолкнет их вперед.

В ответ на вышеприведенное письмо Герцена по поводу А. Серно-Соловьевича Бакунин писал ему:

> «Твое письмо испугало меня не за Серно-Соловьевича, а за тебя. В твоей злости против него слышится что-то старческое. Я готов верить, что Серно-Соловьевич написал против тебя скверную пасквиль, и что твое негодование против него справедливо. Но ты ругаешь не одного его и даже не одних его женевских однолетников-эмигрантов, на все молодое поколение кладешь ты страшное проклятие, говоря,—как будто бы это могло служить для нас аргументом!—что Погодины, Катковы, Аксаковы и Тургеневы указывают на них, т.-е. на молодых людей, принадлежащих к этому поколению, пальцами, прибавляя даже, что они сукиносынством своим оправдывают меры правительства! Кто ж это они? Разумеется, не одни только женевские эмигранты, которые так микроскопически малочисленны, что правительству незачем бы было принимать крупных мер, а целое юное поколение, которое ты клеймишь, называя его венерическим младшим братом, осужденным на бесплодную смерть в ожидании еще младшего и более путного поколения.
>
> «Нет, Герцен, каковы бы ни были недостатки настоя-

щего молодого поколения, оно безмерно выше Катковых и Погодиных, твоих Аксаковых и Тургеневых,—так выше, что указывание на него пальцем всех этих блудных стариков служит ему в честь, а не в бесчестье,—и ничто в мире кроме самой, естественно и по необходимости гнусной, природы правительства не может оправдать гнусных мер наших правителей. Десять, пять лет тому назад, когда ты смело глядел и вел вперед, не заботясь о том, что будут говорить люди близорукого разума и гнилой официальной или полуофициальной практики, и не увлекаясь мечтой о невозможном полуосуществлении сегодня или завтра, а главное, не дозволяя ослеплять себя блеском лживых и притворных исполнений,—ты не произнес бы таких страшных, для тебя страшных, потому, что старческих слов»...

Допуская, что в отдельных представителях молодого поколения могут встречаться отрицательные черты, Бакунин продолжает:

«Но все это не должно заслонять от нас серьезных, да, великих качеств нашего молодого поколения: в нем не оранжерейная, не искусственная и не рефлективная только, а настоящая страсть равенства, труда, справедливости, свободы и разума. Из-за этой страсти десятки из них уже пошли на смерть и сотни в Сибирь. Между ними, как всегда и везде, много пустых хвастунов и фразеров, но есть и герои, герои без фраз или только с фразою клеветы на себя или крайностью щеголяющего отрицания. Нет, воля твоя, Герцен, эти неумытые, неуклюжие и часто весьма неудобные пионеры новой правды и новой жизни в миллион раз выше стоят всех твоих приличных покойников...

«Не старей, Герцен, в старости нет прока, не становись доктринером а ля Жан-Жак Руссо, оставайся нашим могучим Вольтером. В этом твоя истина и потому и сила твоя. Не старей, Герцен, и не проклинай молодых. Смейся над ними, когда они смешны, наказывай и брани, когда они виноваты, но преклоняйся почтитель-

но перед их честным трудом и стремлением, перед их подвигами и жертвами».

Но эти советы не нашли отклика в душе Герцена. Он продолжал итти своим путем и так и умер, не примирившись с молодым революционным поколением.

Таковы те отрицательные черты в деятельности Герцена, которые дали основание нашим буржуазным либералам зачислить его в свой стан. Особенно старался в этом отношении кадетский златоуст г. Родичев, всячески силившийся искупаться в лучах герценовского солнца и выдать его за чистокровного «кадета». Но эти смешные попытки, цеплявшиеся за то, что в Герцене было от старого мира, представляют покушение с негодными средствами. Да, в Герцене было много такого, что ставило его по временам во враждебное отношение к борьбе социализма против буржуазии, но не это главное и типичное в Герцене.

Противно видеть, как эту великую и скорбную фигуру искателя истины, ненавистника мещанства и пролагателя путей для социалистических поколений стараются захватить нечистые руки, как его пытаются об'явить своим люди, враждебные ему по существу. Эти господа стараются прицепиться к тому, что было в Герцене недостатком, слабостью, временным уклонением, но они органически чужды тем сторонам Герцена, которые сделали из него бесстрашного искателя истины, непримиримого врага буржуазной цивилизации, построенной на эксплуатации, угнетении и лицемерии. Они примазываются к тому, что осталось в Герцене от ветхого Адама, и стараются затушевать то, что составляло основную природу Герцена и приобщало его к движению пролетариата. Но, несмотря на все временные ошибки и уклонения Герцена, мы не отдадим этим жрецам умеренности и аккуратности нашего мятущегося Искандера. Он наш со всеми своими уклонениями и слабостями.

XI.

В самом деле разве не он сказал, что «для народа все правительства до сих пор были деспотизмом?» Не он разоблачил

фальшь буржуазных свобод и республики, которая явила себя народу увеличением налогов, массовыми расправами, ссылками без суда и запрещением работникам в'езда в Париж? Не он выжег вечное клеймо на медном лбу буржуазии и навеки пригвоздил мещанство к позорному столбу за бесчеловечную расправу с пролетариатом, когда последний восстал за свою свободу? Не он дал миру незабываемое описание ужасных зверств, совершенных героями «порядка» во время июньской бойни, которую они устроили обманутому ими рабочему классу? Не он, отринув буржуазную цивилизацию, заявил, что он ненавидит все в этом прогнившем мире, кроме горького плача задавленного пролетариата и его героических друзей? Не он сказал, что «без социализма нет революции; без него есть только реакция—монархическая ли, демагогическая, консервативная, католическая или республиканская»? Не он ли возлагал «последнюю надежду» на французских пролетариев и увлеченных ими крестьян? Не он ли, прокляв старый буржуазный мир, прибавлял: «Насколько вся образованная часть Франции развращена, гнусна и не имеет никакого будущего, настолько велики пролетарии и даже крестьянин» (начинающий просыпаться к социальной борьбе)? Не он ли, наконец, не уставал повторять, что будущее принадлежит коммунизму, что предстоящая революция будет неизбежно коммунистической?

Насмехаясь над революционерами старой школы за то, что они «хотят переправлять и улучшать существующее, оставаясь на прежней почве», Герцен противопоставляет им точку зрения революционного социализма, отвергающего буржуазный режим вплоть до буржуазной «демократии».

> «Социализм,—говорит он,—отрицает полнейшим образом весь старый порядок вещей с его правом и представительством, с его церковью и судом, с его гражданским и уголовным кодексом,—вполне отрицает так, как христиане первых веков отрицали мир римский.

«Такое отрицание—не каприз больного воображения, не личный вопль человека, оскорбленного обществом, а смертный приговор ему, предчувствие конца, сознание болезни, влекущей дряхлый мир к гибели и возрождению в иных формах. Современное государственное устройство падет под протестом социализма; силы его истощены; что оно могло дать, то оно дало, теперь оно поддерживается на счет собственной крови и плоти, оно не в состоянии ни дальше развиваться, ни остановить развитие; ему нечего ни сказать, ни делать, и оно свело всю деятельность на консерватизм, на отстаивание своего места».

Мы видели, что после разгрома движений 1848—1849 годов Герцен готов был поставить крест над Европой и считать революцию совершенно подавленной. Но в выпадавшие у него светлые промежутки он на время отбрасывал свое безысходное отчаяние и давал место новым надеждам. Такой характер носят, напр., его «Письма из Франции и Италии» последнего периода (1851 года).

Революция не остановилась,—говорит Герцен (и эти слова его сильно напоминают соответствующие места из работ Маркса, также посвященные подведению итогов революции 1848—1849 г.г.). Во вместо неосторожных попыток и заговоров работник думает крепкую думу и ищет связи не с профессиональными революционерами (забракованного Герценом старого якобинского типа), не с редакторами журналов, а с крестьянами (подчеркнуто у Герцена). С тех пор, как грубая рука полиции закрыла клубы и избирательные собрания, рабочие перенесли свои трибуны в деревни. В груди крестьянина собирается тяжелая буря. Он ничего не знает ни о тексте конституции, ни о разделении властей и других политических тонкостях, но он мрачно посматривает на богатого собственника, на нотариуса, на ростовщика и видит, что сколько ни работай, а барыш идет в другие руки. И крестьянин начинает прислушиваться к проповеди пролетария. Когда он его дослушает и хорошенько поймет со своей упорной твердостью хлебопашца, со своей основательной прочностью во всяком деле,

тогда он соберет свои силы и сотрет с лица земли старое общественное устройство. И это,—прибавляет Герцен,—будет настоящая революция народных масс.

К этой мысли, что союз пролетариата и трудового крестьянства уничтожит протнившее здание буржуазного владычества, Герцен возвращается неоднократно. И он предсказывает, что грядущая народная революция будет иметь коммунистический характер. При этом он рассуждает так, как будто предвидел появление социал-предателей.

Всего вероятнее,—говорит он,—что действительная борьба богатого меньшинства и беднейшего большинства будет иметь характер резко коммунистический.

> «Слово это пугает старых революционеров так, как слово «якобинец» пугало вольнодумов-дворян и слово «иезуит» полукатоликов. Они проповедывали всю жизнь равенство и братство, теперь они хотят отпрянуть, когда народ берет их за слово (т.-е. ловит их на слове), и все еще воображают, что они идут с ним заодно и представляют во всей чистоте его стремления».
>
> «Нет.—говорит Герцен про мелко-буржуазных демократов,—они не представители трудящихся масс, а выходцы из старого буржуазного мира».
>
> «В сущности они и не с народом, и не из него,—они из книг, из школ, из римских преданий, из образованного меньшинства, из того общественного устройства, которое развилось против народа и которое должно погибнуть для того, чтобы народ был свободен... Они говорят слова, потрясавшие некогда сердца, не замечая, что они уже давно задвинуты другими словами... Их средства устарели, их знамена истаскались—и не всегда в боях, а больше на банкетах и демонстрациях».

Дав такую верную и убийственную характеристику старозаветным революционерам, испугавшимся самостоятельного выступления коммунистического пролетариата, Герцен отмечает, что их бьют с двух сторон (и со стороны рабочих, и со стороны буржуазии), и обращается к ним с увещанием: «Пора

бы, кажется, остановиться и призадуматься, изучить получше современность и перестать с легкомысленною суетностью уверять себя и других в фактах, которых нет, и отворачиваться от тех, которые есть, да нам не нравятся».

Государственный переворот, произведенный 2 декабря 1851 года Луи Бонапартом и уничтоживший во Франции республику, исторг у Герцена печальный крик: «Да здравствует смерть!» Хотя после июньских дней 1848 г. уже ясно было, что республике нанесена смертельная рана, все же удар был тяжел. Но Герцен, как бы противореча тому, что он писал в других местах, советует не поддаваться унынию и в самых мрачных явлениях современности постараться разглядеть ростки грядущего возрождения. Он предрекает буржуазной Европе, что, задушив пролетариат, она подготовила почву для будущих внешних войн, которые кончатся ожесточенной гражданской войной, и в этой войне погибнет буржуазное общество. При этом он возвышается до грозных пророчеств, в которых его ясновидящему взору как бы открываются картины тех катастроф, которые капиталистический мир действительно пережил во время всемирной империалистической войны и продолжает переживать на наших глазах.

> «Вся Европа выйдет из фуг своих, будет втянута в общий разгром; пределы стран изменятся, народы соединятся другими группами, национальности будут сломлены и оскорблены. Города, взятые приступом, ограбленные, обеднеют, образование падет, фабрики остановятся, в деревнях будет пусто, земля останется без рук, как после Тридцатилетней войны. Усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизм заменит всякую законность и всякое управление. Тогда победители начнут драку за добычу. Испуганная цивилизация, индустрия побегут в Англию, в Америку [1]), унося с собой от гибели—кто деньги, кто науку, кто начатый труд. Из Европы сделается нечто вроде Богемии после гусситов.

[1]) Герцен думал, что эти страны не будут втянуты в общий водоворот. Действительность превзошла его мрачные ожидания.

«И тут, на краю гибели и бедствий начнется другая война, домашняя—своя расправа неимущих с имущими».

Напрасно удивляться, негодовать и проклинать. Исхода нет. Или буржуазный «порядок» на кладбище, или красный призрак! И именно торжество буржуазной диктатуры неизбежно вызовет коммунистическую революцию. Если же этого не будет, то тогда действительно нужно будет признать, что в Европе умерли не только правительства и буржуазные общественные формы, но и народы.

«И чем,—спрашивает Герцен,—эта война (неимущих против имущих) несправедливее войны мещан против дворян, либерализма против феодальной и монастырской собственности?» И дворянство, и буржуазия создали свое положение с помощью насилия, благодаря правительственной поддержке. Пролетариат найдет свое правительство, которое поможет ему.

«Вооруженный коммунизм приподнял слегка, полушутя свою голову в южных департаментах [1]), он едва взял несколько аккордов, но характер своей музыки заявил. Пролетарий будет мерить в ту же меру, в которую ему мерили. Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Средь грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест, явится новый декалог (десять заповедей), крупно набросанные черты нового символа веры.

«Они сочетаются на тысячу ладов с историческим бытом, но как бы ни сочетались они,—основной тон будет принадлежать социализму. Современный государственный быт с своей цивилизацией погибнут, будут, как учтиво выражается Прудон, ликвидированы.

«Вам жаль цивилизации? Жаль ее и мне. Но ее не

[1]) Герцен имеет в виду разрозненные восстания рабочих и особенно крестьян на юго-востоке Франции в виде протеста против декабрьского переворота Луи-Бонапарта.

жаль массам, которым она ничего не дала, кроме слез, нужды, невежества и унижения».

Здесь Герцен платит дань старым предрассудкам, воображая, что господство пролетариата будет гибелью цивилизации. Тут проявляется его буржуазная шуйца. Но этот инстинктивный страх аристократа перед грядущим грозным строителем новой жизни не мешал ему в другом месте заявить, что рабочее население парижских предместий Сент-Антуан и Сен-Марсо и лионского предместья «Красного Креста», где происходили знаменитые восстания рабочих в 1831 и 1834 г.г. истинные надежды истории и человечества». И никто другой, как Герцен, провозгласил, что «переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою».

Не будет миру свободы,—говорил он в книге «С того берега»,—пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Пора потребовать к суду республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и государству,—словом, все фетиши буржуазной демократии. «Уступок делать некому,—смело заявляет Герцен, низвергая своих старых идолов:—трехцветное знамя уступок слишком замарано,—оно долго не просохнет от июньской крови. И кого в самом деле щадить? Все элементы разрушающиеся являются во всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем. Что вы уважаете? народное правительство, что ли? Кого вам жаль? Париж?»

И Герцен беспощадно клеймит буржуазную республику и учредилку вплоть до ее левого, «революционного» крыла.

«Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, люди выборные всей земли французской, ничего не делали и вдруг стали во весь рост, чтобы показать миру зрелище невиданное восьмисот человек, действующих как один злодей, как один изверг. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрывалось воплем мести

и негодования, голос умирающего Афра [1]) не мог тронуть этого многоголового Калигулу, этого Бурбона, разменного на медные гроши; они прижали к сердцу национальную гвардию, расстреливавшую безоружных. Сенар благословлял Кавеньяка [2]), и Кавеньяк умильно плакал, исполнив все злодейства, указанные адвокатским пальцем представителей. А грознее меньшинство притаилось; Гора [3]) скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли, не сгноили в подвалах; молча смотрела она, как обирают оружие у граждан, как декретируют депортацию (ссылку), как сажают в тюрьму людей за все на свете,— за то, что они не стреляли в своих братий.

«Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не омочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан. По крайней мере, большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие, презрительные друзья народа, риторы, пустые сердца!.. Один лишь мужественный плач, одно великое негодование и раздалось, и то вне камеры [4]). Мрачное проклятие старца Ламеннэ [5]) останется на голове бездушных каннибалов и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнеся слово «республика», испугались смысла его».

Но довольно! Если бы мы вздумали приводить все выдержки из произведений Герцена, где он клеймит буржуазный мир и солидаризуется с пролетариатом, нам пришлось бы написать толстую книгу. Но уже из тех немногих цитат, которые мы привели, ясно, насколько смешны и тщетны потуги «кадетов» зачислить Герцена по своему ведомству.

---

[1]) Парижский архиепископ, явившийся на баррикады примирять сражавшихся и смертельно раненый пулею солдата.

[2]) Сенар—президент учредилки, генерал Кавеньяк—главнокомандующий правительственной армии и усмиритель парижских рабочих в июне 1848 г.

[3]) Название парламентской крайней левой.

[4]) Камера—палата представителей, Учредилка (Национальное Собрание 1848 года).

[5]) Бывший аббат, либеральный католик, писатель-демократ.

И по отношению к России Герцен не всегда удерживался на своей умеренно-либеральной и мирной позиции. Отчасти под влиянием Чернышевского и Бакунина, отчасти под влиянием уроков русской жизни, Герцен иногда заговаривал другим языком. В статье «Исполин просыпается» («Колокол» от 1 ноября 1861 г.) Герцен, по поводу студенческих волнений и закрытия университета, обратился к молодежи с призывом итти в народ. «Куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам, куда? Прислушайтесь—благо тьма не мешает слушать—со всех сторон огромной родины нашей: с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот—это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В н а р о д! К н а р о д у!—вот ваше место, изгнанники науки, покажите этим Бистромам, что из вас выйдут не под'ячие, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского. Хвала вам! вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептания, дальних намеков, запрещенных книг проходит. Вы т а й н о еще печатаете дома, но я в н о протестуете. Хвала вам, меньшие братья, и наше дальнее благословение! О, если б вы знали, как билось сердце, как слезы готовы были литься, когда мы читали о с т у д е н т с к о м д н е в Петербурге!»

В этих строках встает перед нами во весь рост настоящий, великий, вечный Герцен, Герцен юной демократической России. Подобно древнему Антею, он снова обретал свою мощь и пыл, как только прикасался к свежей почве новых демократических слоев. В № 221 «Колокола» от 1 июня 1866 г. Герцен, под впечатлением известий о репрессиях после каракозовского покушения на царя и о гнусном поведении добровольных шпионов из «либерального общества», писал:

> «Перед этим письмом мы остановились с какой-то бесконечной, жгучей болью... Несчастный народ, в котором могла зародиться и назреть такая среда, жалкая и уродская, которая безнаказанно учит палачей, рукоплещет им и натравливает их... У нас была готова статья, но, прочитавши письмо, мы ее разорвали: все слабо, бедно, слов недостает, мы это глубоко чувствуем. Но

нельзя же и руки сложить в праздном озлоблении, нельзя же замолчать с проклятием на губах. Нет, это было бы измена всей нашей жизни, а ее немного впереди. Мы остаток ее употребим на обличение перед миром исторического преступления, совершающегося в России, и на подкрепление и утешение несчастного молодого поколения, идущего на мученичество за свою святую любовь к истине, за свою веру в Россию. Мы, старики, станем у изголовья гонимых, отирая пятна клеветы и благословляя погибающих провозвестников будущей России».

Вот какие трогательные ноты Герцен находил в своем сердце, когда говорил о молодом поколении, как друг и товарищ. К сожалению, он недолго удержался на этой позиции и, как мы видели, вступил с революционной молодежью в борьбу. Однако, Герцен был одним из тех, кто способствовал выработке взглядов русских социалистов-народников, и один из первых дал лозунг итти в народ для пропаганды и организации.

Подкупает также глубокая вера Герцена в великое будущее русского народа. Посреди всеобщего крушения всех его верований и надежд Герцен сохранил пламенную веру в то, что юный русский народ, силы которого не истощены и не развращены буржуазным влиянием, когда-либо явит изумленному миру невиданный пример свободного устройства на социалистических началах. Пусть история пошла не так, как думал Герцен, все же по существу, в общем и целом, его заветные чаяния оправдались. Пусть социальный переворот наступил в России не так скоро, как надеялся Герцен, но он все же наступил, и притом действительно в России раньше, чем в других странах. Правда, произведен он был не теми силами, на которые рассчитывал Герцен; правда, он произошел именно благодаря тому, что Россия прошла через капиталистический фазис, который, по мнению Герцена, она могла якобы обойти; правда, главную роль в социальной революции сыграла не община и не артель, а пролетариат, самое появление и развитие которого в России Герцен считал маловероятным,—но в основном предвидение Герцена оправдалось. И его слова, что «социализмом революционная идея у нас сделается народною»,

что «Россия никогда не будет золотой серединой» (т.-е. буржуазно-умеренной), что «она не восстанет только для того, чтобы отделаться от царя Николая и получить в награду представителей-царей, судей-императоров, полицию-деспотов», — оказались вещим пророчеством. Когда русский народ, наконец, восстал, он, низвергнув царя, поспешил сдать в архив и буржуазию [1]).

И с неменьшим правом, чем Некрасов, Герцен мог сказать русскому народу:

> **За каплю крови, общую с народом,**
> **Мои грехи, о, родина, прости!**

И родина давно простила все прегрешения, вольные и невольные, мятущемуся Искандеру. Она не смеется, а жалеет, что жизнь его была сплошной цепью разочарований, душевных страданий, что его «детские надежды» и «отроческие упования» завяли под буйными ветрами исторической бури, ибо у них не было прочных и глубоких корней. Подобно ветхозаветному Моисею, Герцен был обречен на многолетнее блуждание по пустыне, усеянной обломками былых надежд и могилами дорогих покойников, в страдальческих поисках недававшейся ему истины. И грустное впечатление производит его элегия у порога обетованной страны, в которую ни ему, ни его современникам не суждено было войти.

> «Это начало борьбы... это начало войны. Конца ее мы не увидим... вряд увидят ее младшие из юных. Туго развивается история, упорно защищается отходящее, медленно, смутно нарождается водворяемое..., но самый процесс, самая драма исторической беременности полна поэзией. Всякому поколению свое, мы не ропщем на наш пай, мы дожили не только до красной полосы на Востоке, но и до того, что враги наши ее видят. Чего же боль-

[1]) Даже его проническое замечание по поводу страхов российской реакции накануне освобождения крестьян, что „Петербург провозгласит республику в Преображенских казармах и Москва—демократический и социальный Кремль“,—даже и оно оправдалось всерьез. Ирония истории глубже, чем ирония даже самых остроумных и парадоксальных литераторов.

ше ждать от жизни, особенно, когда человек, положа руку на грудь, с чистой совестью может сказать: и я участвовал в этой гигантской борьбе, и я внес в нее свою лепту!»

Это правда. Герцен с юных лет принял участие в гигантской борьбе за освобождение человечества от всех опутавших его цепей политических, экономических и духовных и внес в эту борьбу свою далеко не малоценную лепту. Несмотря на все свои блуждания и ошибки, он всегда стремился к защите страждущих и к освобождению угнетенных. Вся жизнь Герцена, вся многогранная и красочная деятельность его, его душевные терзания, неустанное горение его духа, чистота его стремлений, его широкая человечность в лучшем смысле этого слова дают ему право на почетное место в социалистическом Пантеоне. После смерти Герцена Интернационал в своем органе «Эгалите» (Равенство) заявил, что не забудет Герцена, как и Герцен не забывал о своей связи с ним. Эта духовная связь все же существовала, несмотря на то, что Герцен, человек сороковых годов, плохо понимал характер нового рабочего движения, а в последние годы совершенно отошел от активного участия в социальной борьбе.

Смерть примиряет. Если при жизни Герцен иногда оказывался не в том лагере, в котором находились Маркс, Чернышевский, Добролюбов и Бакунин, то нам с исторического расстояния видно, что цель у него была общая с ними, что ненависть и любовь их в общем совпадали, хотя Герцену и не пришлось стать на верную дорогу. Никогда ни одной фракции буржуазии, царство которой Герцен ненавидел всеми силами своей души, не удастся зачислить мятущегося искателя истины в ряды своих. Герцен, среди старой цивилизации сочувствовавший лишь страданиям пролетария и угнетенного крестьянина, принадлежит рабочему классу, и об этом мы никогда не забудем, как бы отрицательно мы ни относились к отдельным его заявлениям и выступлениям.

Особенно же принадлежит Герцен русским трудящимся массам, историческую роль которых он предугадал и которым поклонялся как «неведомому богу». Будем надеяться, что ско-

ро памятники ему воздвигнутся во всех городах и крупных поселках освободившейся России, а прах его будет перенесен в красную Москву, где он родился, созрел и отроком дал клятву посвятить все свои силы борьбе за свободу русского народа.

Герцен и Чернышевский.

В одном месте Герцен рассказывает, что в своих воспоминаниях о Маццини он выпустил несколько страниц по соображениям деликатности, вследствие чего фигура знаменитого итальянского заговорщика вышла не так ясно. Но, прибавляет Герцен, «эта деликатность мелка для Маццини. О таких людях нечего умалчивать, их щадить нечего».

То же самое применимо и к самому Герцену. Крупная фигура русского изгнанника, одного из самых блестящих русских писателей и основоположников русского социализма, не нуждается в стыдливых умолчаниях и ложной деликатности. О таких людях нужно говорить всю правду. Всю свою жизнь он, волнуясь и спеша, искал истины, не останавливаясь ни перед какими жертвами; безжалостно низвергал он своих старых богов, как только открывал в них малейшую фальшь, резавшую его чуткую душу; не менее безжалостен был он к своим собственным ошибкам. И не боялся казнить себя за них публично. Не говорить о таких людях, как Герцен, всей правды, значит оскорблять их память: своими страданиями и душевными терзаниями они купили право на полную, неприкрашенную правду. Они иногда падали, но это потому, что бестрепетно шли вперед через горы и овраги. Они ошибались, но их ошибки были ошибками гигантов, и даже в этих ошибках сказывалась их глубокая искренность и стремление к общему благу. Найдутся, быть может, люди, которые по поводу нижеследующих строк закричат об «оскорблении величества», но с такими обвинениями считаться не приходится. Историческая правда, которой сам Герцен принес столько жертв, долж-

на стоять для нас на первом плане. Да и то сказать: если в дальнейшем изложении мы формулируем несколько критических замечаний о Герцене, то, во-первых, они касаются не его личности, а позиции, на которой он временно стоял и с которой впоследствии сошел, а, во-вторых, если он несколько проигрывает, то проигрывает лишь в сравнении с таким гигантом мысли, как Чернышевский, опередившим целое поколение.

Если мы критикуем Герцена, то именно потому, что он для нас слишком дорог, что мы признаем его одним из своих духовных отцов. Его блуждания заставляют нас страдать, его ошибки и бестактности причиняют нам душевную боль, его горе и сомнения мы переживаем, как наши собственные. И нам тяжело видеть, как эту великую и скорбную фигуру искателя истины, ненавистника мещанства и пролагателя путей для социалистических поколений стараются захватать нечистые руки, как его пытаются об'явить своим люди, враждебные ему по существу. Эти господа стараются прицепиться к тому, что было в Герцене недостатком, слабостью, временным уклонением, но они органически чужды тем сторонам Герцена, которые сделали из него бесстрашного искателя истины, непримиримого врага буржуазной цивилизации, построенной на эксплуатации, угнетении и лицемерии. Они примазываются к тому, что оставалось в Герцене от ветхого барского Адама, и стараются затушевать то, что составляло основную природу Герцена и приобщало его к движению пролетариата. Но, несмотря на все временные ошибки и уклонения Герцена, мы не отдадим этим жрецам умеренности и аккуратности нашего мятущегося Искандера. Он наш со всеми своими уклонениями и слабостями. Он наш в такой же степени, как и Чернышевский.

Но ведь вот Чернышевского буржуазные либералы не пытались зачислить по своему ведомству, не пробовали с ним родными счесться. Значит, было что-то такое в деятельности Герцена, что давало хотя бы кажущееся право буржуазным либералам попробовать искупаться в лучах герценовского солнца? Да, несомненно было, и об этой-то стороне Герцена мы и хотим сказать несколько слов. Ведь недаром между Герценом и Чернышевским произошло известное столкновение,

ведь недаром они открыто и в скрытой форме полемизировали друг с другом; ведь недаром между Герценом и революционной молодежью, признававшей себя последовательницей Чернышевского, царила ожесточенная вражда, сопровождавшаяся, к сожалению, глубоко несправедливыми выходками и с той, и с другой стороны. В разгаре этой вражды прямолинейная молодежь закрывала даже глаза на несомненные и великие заслуги Герцена перед русским освободительным движением; в пылу полемического задора она отрицала даже литературный талант Герцена, хотя уже и тогда не могло подлежать никакому сомнению, что с точки зрения литературного таланта Чернышевский не выдерживает никакого сравнения с издателем «Колокола», да и не в этом была его сила. Теперь мы, на далеком расстоянии, можем с бо́льшим беспристрастием отнестись к этому историческому спору, выделить его существенные черты и определить его настоящий смысл.

Было ли это столкновением поколений? До известной степени, да. Сами участники этого исторического спора так именно и смотрели на него: они видели в нем конфликт между отцами и детьми, между людьми 40-х и 60-х годов. Но это была видимость, форма, случайная оболочка. Конечно, в лагере Герцена преобладали сравнительно пожилые люди, получившие духовную закваску в 40-х годах, а в лагере Чернышевского числилась главным образом молодежь; но в то же время среди сторонников Герцена имелись сравнительно молодые люди, а среди его противников были люди не моложе его самого. Елисеев [1]) был моложе Кавелина [2]) всего на три года, а Бакунин был моложе самого Герцена всего на два года. В действительности, дело шло не столько о столкновении двух по-

---

[1]) Елисеев (1821—1891)—известный журналист радикально-демократического направления. Сотрудник журнала „Современник", закрытого правительством в 1866 г., и „Отечественных Записок", закрытых в 1884 г.

[2]) Кавелин (1818—1885)—профессор юриспруденции и литератор; был преподавателем наследника-цесаревича Николая Александровича. Один из лидеров русского умеренного либерализма.

коленний, сколько о конфликте двух течений социально-политической мысли, соответствующих противоположным классовым интересам. Конфликт между Герценом и Чернышевским был литературным выражением борьбы между умеренно-либеральным дворянством и революционною разночинною демократиею, выступившею в защиту интересов трудящихся масс.

Каким же образом социалист Герцен оказался выразителем дворянского либерализма в борьбе его с революционною демократией? Барское происхождение Герцена об'ясняет лишь половину вопроса: ведь и Бакунин происходил из поместной среды, но это не помешало ему сделаться представителем бунтарского анархизма; из поместной же среды вышло впоследствии немало революционеров, бесповоротно порвавших со старым миром угнетения и слившихся свои интересы с интересами порабощенных масс. Но в том-то и дело, что Герцену не удалось сразу совлечь с себя ветхого Адама, что, раздираемый противоположными страстями, он одно время нерешительно остановился на рубеже между старым и новым миром и, теоретически преодолев, как ему казалось, буржуазное миросозерцание, практически в течение долгого времени оставался под властью буржуазной и дворянски-либеральной идеологии. Со старым миром его связывала определенная культура, воспитание, традиции, житейская обстановка, глубокие интимные переживания, сокровенные душевные устремления, заложенный в глубине души своеобразный идейный аристократизм, присущий ему политический оппортунизм, наконец личные связи и знакомства. Эта двойственность натуры и деятельности, аристократизм и сочувствие к страждущим, беспощадная смелость в теории и робкая половинчатость на практике, идейный разрыв со старым миром и чувство отчужденности от нового, отречение от обанкротившейся традиционной идеологии и органическое непонимание пришедшей ей на смену идеологии пролетарской,—вот что составило душевную драму Герцена, отравившую последние годы его бурной страдальческой жизни.

Говоря о возмутительном отношении Герцена к Некрасову [1], которого Герцен выставлял в виде литературного бандита, «лгущего духом и торгующего талантом так, как продажные женщины лгут телом и продают красоту», и которого он причислял «к барышникам, отдающим в рост свои слезы о народном страдании, и к промышленникам, делающим из сочувствия к пролетарию доходную статью», г. Батуринский (биограф Герцена), вообще настроенный благожелательно к Герцену и враждебно к революционной демократии, замечает: «Удивительнее всего то, что и Герцен, и Тургенев, обвиняя Некрасова, снисходительно относились к тому, что некоторые их друзья преспокойно владели крестьянами и своим состоянием всецело были обязаны крепостному труду. Да и миллионное состояние самого Герцена имело своим источником тот же труд». Тяжелое впечатление производит частое упоминание Герценом о мнимых или действительных покушениях революционной молодежи на его деньги, презрительное отношение к беднякам-эмигрантам, принужденным прибегать к его помощи [2]; больно читать описание его роскошной жизни в барских хоромах, то в собственном доме на Елисейских Полях, то в богатом квартале Лондона, посреди эмигрантов, нуждавшихся в самом необходимом, и особенно больно то, что Герцен сам не замечает всего неприличия, всей, мы бы сказали, неэстетичности этого противоречия между словом и делом; стыдно становится за

[1]) Некрасов (1821—1877)—русский народный поэт, произведения которого оказали большое влияние на революционеров. Как издатель „Современника" (1847—1866), принял сторону революционных демократов Добролюбова и Чернышевского против умеренных либералов и доставил первым трибуну для проповеди их взглядов. Герцен кроме того был недоволен Некрасовым из-за темных счетов последнего с Огаревым, другом Герцена, хотя Некрасов в этой истории был, повидимому, совершенно невиновен. Когда Некрасов проездом в Лондоне явился к Герцену, последний, принимавший в своем доме всякого встречного, отказался его принять.

[2]) Во избежание недоразумений следует прибавить, что вообще Герцен охотно и немало помогал нуждающимся политическим эмигрантам, и даже не одним эмигрантам.

Герцена, когда читаешь у него, как он накануне междоусобной американской войны продал свои американские бумаги, спекулируя таким образом на победу рабовладельцев, да и сам Герцен впоследствии со стыдом вспоминал об этом малодушном шаге. Таково было проклятие барского происхождения и барского богатства, основанного на владении «крещеною собственностью»: оно отравило эту великую душу, посеяло в ней внутренний разлад и обрекло ее на ложное положение. Но может ли кто-нибудь представить себе Чернышевского или Добролюбова [1]) владельцем крепостных крестьян или расточителем вырученных за них миллионов?

Воспитание и образ жизни во многих отношениях предопределили знакомства Герцена. И очень интересен круг, в котором он вращался, и который незаметно для него самого не мог не оказывать определенного влияния на его психику и настроение. Посмотрите в самом деле, кто были друзья Герцена в России и за границей, кого он любил, перед кем преклонялся, а с другой стороны—кого он ненавидел и презирал. «Я много ездил,—рассказывает он,—везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет». Уж будто за пределами общества, в котором вращался Герцен, так-таки и не было н и ч е г о? Вся беда его в том, что он искренно это думал, а между тем, в общем и целом, его знакомства не выходили за пределы буржуазной интеллигенции; настоящих же демократов-революционеров Герцен вовсе не знал, а если и знал, то сплошь и рядом относился к ним враждебно и презрительно.

Начнем с русских. Не считая Огарева, который впоследствии оставил его и примкнул к Бакунину, мы встречаем среди знакомых Герцена: Тургенева, Кавелина, Анненкова, Боткина, кн. Долгорукова, сыновей гр. Ростовцева и т. п. Посеща-

[1]) Добролюбов (1836—1861)—гениальный юноша, друг Чернышевского, знаменитый русский критик, оказавший сильнейшее влияние на развитие русского революционного движения. Умер 25 лет; несмотря на это, успел совершить большую работу.

ли его еще гр. Алексей Толстой, Головин, Щепкин и т. д. [1]). Допустим, что все это люди прекрасные и талантливые, но ведь все это представители умеренного дворянского либерализма, стоявшие одной, если не обеими ногами, в старом историческом болоте. Встречались, конечно, с Герценом и представители более революционных направлений, но Кельсиев впоследствии сделался ренегатом, с Чернышевским Герцен встретился как с врагом, с представителями молодой эмиграции, как А. Серно-Соловьевич и его товарищи, Герцен был на ножах; а как он относился к более старым представителям революционного направления, не стоит и вспоминать. Кто не

---

[1]) Тургенев (1812—1883)—знаменитый романист, в политике умеренный либерал и даже сторонник „просвещенного абсолютизма". Хотя в глубине души по временам сочувствовал народникам (помогал даже Бакунину и давал Лаврову деньги на издание революционного журнала и газеты „Вперед") и террористам (говорят, его последние слова были: „а все-таки они (террористы)—великие люди!"), вел себя трусливо перед русским правительством и публично отрицал свое знакомство с Лавровым! См. о его поведении еще дальше в тексте.

Огарев (1813—1877)—поэт, друг Герцена, но более радикального и демократического направления. Умер в эмиграции.

Бакунин (1814—1876) — известный революционер и анархист; был другом Герцена и Огарева.

Анненков (1813—1887)—писатель и критик, вращавшийся в кругу Белинского, Герцена и т. д. Был знаком с Марксом (см. статьи Рязанова „Маркс и его русские знакомые" в „Neue Zeit" за 1912 год). Умеренный либерал, чтобы не сказать, консерватор.

Боткин (1810—1869)—литератор, в молодости либерал, затем реакционер и бонвиван. Тоже из русских знакомых Маркса в 40-х годах.

Ростовцев, Яков (1803—1860)—русский государственный деятель. Выдвинулся благодаря своему доносу лично Николаю I на декабристов накануне восстания 1825 г., в план которого был посвящен. Быстро сделал карьеру и во время освобождения крестьян считался „либералом".

Алексей Толстой, гр. (1817—1875)—известный русский поэт. Аристократ-консерватор и придворный.

Щепкин (1788—1863)—изв. русский актер; был близок к либеральным московским кругам, но впоследствии, по примеру Боткина, Кетчера и др., сделался консерватором.

Долгоруков и Головин—либеральничавшие аристократы, жившие за границей одновременно с Герценом.

знает, с каким издевательством он описывает Сазонова, Энгельсона, [1] и как он свысока третировал Бакунина, которого он в знаменитом очерке «Михаил Бакунин и польское дело» выставил в виде наивного чудака, «большой Лизы», к восторгу буржуазных маццинистов, поспешивших перевести на итальянский язык эту статью Герцена для борьбы с ненавистным революционером, разоблачавшим в Италии их патриотическо-теологические плутни [2]).

Говоря о Константине Аксакове, он извлекает из своей лиры мые сочувственные ноты и дружелюбно переписывается с Иваном Аксаковым [3]) и в то же время обрушивается со всею силою негодования на Чернышевского и Добролюбова, называя их паяцами, нацепившими себе ослиные бубенчики, и инсинуируя, что вся их кампания против половинчатого и лицемерного дворянского либерализма внушена им Третьим Отделением. Свою полемику с «Современником», свою яростную аттаку на Некрасова, Чернышевского и Добролюбова Герцен в значительной степени пред-

---

[1]) Эмигранты, товарищи Герцена. Сазонов тоже был знаком с Марксом и даже считал себя его последователем (см. о Сазонове у Д. Рязанова—Карл Маркс и русские люди сороковых годов, Госиздат, 1920).

[2]) В первом издании этой книги дальше следовала фраза: „полицейского социалиста“ Милютина он провозглашает маркизом Позой и посвящает ему одну из своих замечательных статей „Император Александр I и В. Н. Каразин“. Я имел здесь в виду Николая Милютина (1818—1872), известного государственного деятеля эпохи Александра II, статс-секретаря Царства Польского, кумира наших либералов, демагога, „покровительствовавшего“ польским крестьянам, для того чтобы оторвать их от революционного движения и привлечь на сторону самодержавия. В данном случае я впал в досадную ошибку, подобно другим исследователям, писавшим об этом предмете. На самом деле, как показал М. Лемке, Н. А., которому посвящена эта статья Герцена, не кто иной, как известный общественный деятель начала 60—годов Николай Александрович Серно-Соловьевич, тоже по наивности того времени писавший увещевательные письма царю, сосланный в Сибирь и там погибший. (См. полное собрание сочинений Герцена под редакцией М. Лемке, т. XV, стр. 141 след.).

[3]) Братья Аксаковы—известные славянофилы.

принял под влиянием Кавелина и Тургенева. А между тем, Кавелин злорадствовал по поводу ареста Чернышевского и одобрял жестокие репрессии правительства против революционеров; а когда он выпустил в Берлине брошюру против конституционных стремлений части дворянства, Герцен сам принужден был порвать с ним. Что же касается Тургенева, то он находил, что освобождение крестьян устроено «порядочно», высказывался против польского восстания и желал «скорейшего подавления безумного восстания столько же для России, сколько для самой Польши» (в письме к П. Анненкову); уйдя из «Современника», Тургенев перебежал в «Русский Вестник» и продолжал печататься в этом журнале даже после того, как Катков сделался лидером вешательской реакции и между прочим обливал помоями самого Герцена, причем наивно оправдывался тем, что «Отечественные Записки» «и половины денег дать не могут»! А по поводу его трусливого заискивания перед властями предержащими сам Герцен принужден был напечатать в «Колоколе» заметку о «седой Магдалине из мужчин, у которой от раскаяния выпали зубы и волосы».

Аналогичный характер носят его знакомства на Западе. Мишле, Прудон, Ледрю-Роллен, Маццини, Саффи и другие итальянцы, Фохт, Кинкель, Стрюбинг, Кошут и окружавшие его венгерские патриоты, польские патриоты—таков главным образом герценовский круг. Отнестись к ним критически, понять сущность их социальной позиции Герцен, как это ни странно, был совершенно не в состоянии. Аристократически настроенный венгерский патриот Кошут, кость от кости тех надменных феодалов, которые до сих пор продолжают угнетать венгерскую трудящуюся массу и населяющие Венгрию славянские народности, наделяется титулом «великого мадьяра» и описывается с благоговением, как какой-нибудь полубог. Ледрю-Роллен, ограниченный буржуазный демократ, типичный представитель той мелко-буржуазной массы, робость и измена которой обусловили разгром пролетариата и гибель февральской республики, получает на свой най титул «великого галла» и изображается в самых сочувственных тонах. Консервативный мелкий буржуа Прудон, рутатель социализма, заигры

вавший с реакцией, самый отсталый из всех французских социалистов того времени, противник женской эмансипации, заклятый враг коммунизма, каннибальски торжествовавший по поводу подавления польского восстания, провозглашается «новейшим Самсоном» и «единственно свободным французом». Герцен с восторгом описывает «демократический обед», данный в 1854 году американским консулом Саундерсом в Лондоне представителям европейской демократии (Мадцини, Кошут, Ледрю-Роллен, Гарибальди, Орсини, Ворцель, Пульский), и злорадствует, что немца туда не пригласили. Да Маркс бы и сам не пошел на этот де-мо-кра-ти-че-ский обед, устроенный представителем американских рабовладельцев!

Кошута, Мадцини, Ледрю-Роллена и других представителей буржуазной и аристократической эмиграции Герцен зачисляет в «горные вершины»; он ищет их знакомства, благоговеет перед ними, говорит о них, захлебываясь от восторга, и вообще смотрит на них снизу вверх. Даже и сейчас обидно читать, как Герцен, по приезде Кошута в Лондон, зачем-то побежал к нему знакомиться, не был принят, демонстративно оставил свой адрес, явно намекая на то, что после этого Кошут должен ответить ему визитом, и, не дождавшись этого естественного в отношениях между равными визита, все-таки пошел к нему вторично. Зато к демократической массе эмиграции, прозванной им «хористами революции», Герцен относится свысока и насмешливо, замечая только ее неприглядные обывательские черты.

Но с особой ненавистью третирует он самую здоровую и самую демократическую часть тогдашней эмиграции, а именно немецких и других коммунистов, группировавшихся вокруг Маркса. Самого Маркса он называет «неузнанным гением первой величины» и изображает его как озлобленного интригана, мечтающего о гегемонии немецкой нации, а под шумок занимающегося одними сплетнями; его последователей, «марксидов», он, повторяя сплетню политической полиции, называет «серной шайкою» (Schwefelbande—поджигатели) и ставит их так низко, что, как он деликатно выражается, «от серной шайки, как сами немцы (какие?) называют марксидов, естественно

и недалеко перейти к последним подонкам, к мутной гуще, которая оседает от континентальных толчков и потрясений на британских берегах и пуще всего в Лондоне». И дальше он описывает нескольких полоумных чудаков, мошенников, проходимцев, попрошаек и шпионов! А между тем, в то время, пока Герцен задавал пиры и возился с буржуазно-аристократическими «горными вершинами», Маркс и его друзья сближались с рабочими всех наций и залагали основы Международной Ассоциации Рабочих, открывая движение, которое должно было потрясти старый мир.

Замечательно, что Герцен, проживший в Лондоне с 1852 по 1864 год, повидимому, совершенно прозевал глубокое брожение, происходившее тогда в английском пролетариате; он, видимо, не имел никакого понятия о выдающихся вождях тогдашних тред-юнионов, как Эпльгарт, Оджер, Эккариус, Аллэп и т. д., которые способствовали повороту в рабочем движении и с которыми Маркс поддерживал самые тесные сношения; зато он познакомился в Англии с парадоксальным консерватором Карлейлем и с буржуазным публицистом Дж. Льюисом! [1])

Таков был круг герценовских знакомств, не остававшийся, конечно, без влияния на его психику и настроение. Не менее интересен круг его влияния. На кого хотел влиять Герцен? Основывая свой «Колокол», [2]) Герцен и не думал апеллировать к тем, чьи интересы он брался защищать; на активную историческую роль народных масс и в частности крестьянства он совершенно не рассчитывал, он обращался к уму и совести господствующих классов, в частности к династии и к дворянству. Какая колоссальная разница в этом отношении между

---

[1]) Любопытен отзыв консервативной газеты „Times“ о „Былом и Думах“: „Герцен пишет в духе наших лучших и наименее неистовых либералов—в духе людей, которые, обрушиваясь со всею силою против существующих форм общества, чуждаются фанатизма и бурных пошлостей чартистской школы“. Это замечание не лишено известной меткости.

[2]) Известная газета Герцена, выходившая с 1857 по 1868 год и пользовавшаяся вначале большим влиянием среди либеральных слоев общества и даже в высших сферах.

ним и Чернышевским! Чернышевский, стоявший на классовой точке зрения, прекрасно понимал, что, если крестьянская реформа будет проводиться помещиками и бюрократами, она будет непременно искажена и осуществлена во вред народным интересам. Действительное освобождение крестьян и трудящихся вообще, на взгляд Чернышевского, возможно было только на условии их самостоятельного и радикального исторического действия, наступление которого он всеми силами подготовлял и призывал. В своем недоверии к тогдашней постановке дела Чернышевский доходил даже до нежелания реформ при отсутствии условий, гарантирующих их удовлетворительное проведение; он готов был признать, что освобождение крестьян без земли было бы выгоднее для трудящихся масс, чем то половинчатое решение, которое вопрос получил в действительности: такое освобождение без земли он готов был предпочесть потому, что, по его мнению, это было единственное средство расшевелить косную народную массу и возбудить в ней движение, которое смело бы старый режим целиком и дало бы народу настоящую землю и волю.

Герцену же классовая точка зрения была совершенно чужда. Даже когда вполне выяснилось, что крестьянская реформа извращается господствующим классом, после назначения Панина на место Ростовцева, Герцен не апеллирует к самодеятельности народной массы, а призывает «меньшинство дворянства сомкнуться и взять в свои руки дело освобождения крестьян» («Колокол», 15 марта 1860 г.). Неоднократно доказывал Герцен, что верховная власть в России может стать во главе народного освобождения. В статье «Журналисты и террористы» (15 августа 1862 г.) Герцен, полемизируя с революционной молодежью из «Молодой России», доказывает ей, что власть царская может стать властью народной, когда она поймет, что требования выдвигаются действительно народной массой. «Императорская власть у нас только власть, т.-е. сила, устройство, обзаведение, содержания в ней нет, обязанностей на ней не лежит, она может сделаться татарским ханатом и французским комитетом общественного спасения,—разве Пугачев не был императором Петром III?.. Николай под са-

модержавием разумел сочетание власти азиатского шаха и прусского вахмистра. Народ под земским царем представляет себе какую-то социальную республику, накрытую мономаховой шапкой... Стань (!) царская власть во главу народного дела, где найдется достаточная сила, могущая бороться с ней и ей противодействовать во имя своих корыстных интересов касты, сословия?» И после такого блестящего классового анализа характера российского самодержавия Герцен советует молодежи «оставить революционную риторику и заняться делом», так как французы-де доказали, что «за перевод с феодально-монархического языка мест и чинов на римско-республиканский не стоит проливать не только крови, но и чернил».

В таком же духе написан и конец статьи о Карамзине. Кто будет тот суженый, который освободит народную массу?— спрашивает Герцен. «Император ли, который, отрекаясь от петровщины, совместит в себе царя и Стеньку Разина? Новый ли Пестель, опять ли Емельян Пугачев, казак, царь и раскольник, или пророк и крестьянин, как Антон Безднинский? Трудно сказать, это частности (!), des détails, как говорят французы. Кто бы ни был, наше дело итти к нему навстречу с хлебом и солью!»

Став на такую оригинальную точку зрения, Герцен сделал своей специальностью писание писем к царю и другим членам царствующего дома; в этих письмах он уговаривал их, убеждал, усовещевал, заклинал и грозил. В открытом письме к Александру II от 10 марта 1855 года он писал между прочим: «Разумеется, моя хоругвь—не ваша: я—неисправимый социалист, вы—самодержавный император; но между вашим знаменем и моим может быть одно общее...— любовь к народу». Оффициальное правительство с Александром II во главе Герцен отделяет от тайного правительства, враждебного реформам и состоящего из А. Орлова, М. Муравьева, Панина и др. По поводу первоначальных проектов главного комитета по крестьянскому делу «Колокол» обращался к царю в следующих выражениях: «Государь!.. Остановитесь! Не утверждайте!.. Ради всего святого умоляем вас: не утверждайте! Одумайтесь!» Герцен настолько увлекался этой несколько односторонней

перепиской, что простер свои заботы до вмешательства в воспитание наследника, чему посвящено было его письмо к императрице Марии Александровне от 1 ноября 1858 г. На празднике по поводу освобождения крестьян Герцен собирался в присутствии эмигрантов разных наций при звуках марсельезы предложить тост за Александра II. «Мы очень хорошо знали,—говорит он,—ответственность, которую на нас обрушивал этот тост,—мы подвергались тупому порицанию всех ограниченностей, желчной клевете всех мелких завистей». Но, к счастью, варшавские расстрелы помешали Герцену презреть шипение мелких ограниченностей и провозгласить этот исторический тост.

Публика герценовского «Колокола» состояла из либеральных помещиков и либеральничающих бюрократов; до тех пор, пока он говорил их языком, подделывался к их предрассудкам и не задевал резко их классовых интересов, он пользовался силой и влиянием. Это были, выражаясь его собственными словами, «генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой». То же самое об'яснял Герцену Тургенев, протестуя против его славянофильски-социалистического мессианизма: «Эх, старый друг, поверь: единственная точка опоры для живой пропаганды—то меньшинство образованного класса в России, которое Бакунин называет и гнилым, и оторванными от почвы, и изменниками. Во всяком случае, для т е б я другой публики нет». Упадок «Колокола» после 1863 года и об'яснялся тем, что Герцен утратил симпатии этой дворянски-либеральной публики. И утратил-то он их не только потому, что принял сторону польского восстания, но и потому, что с приездом Бакунина в «Колоколе» живее забилась социалистическая жилка. Публика Герцена ничего не имела против его умеренно-либеральной программы, против проповеди освобождения крестьян и наделения их ч а с т ь ю з е м л и за в ы к у п, даже против свободы слова, но ей решительно претили коммунистические теории. И Тургенев откровенно об'яснил это Герцену в ответ на вопрос последнего, почему он не расположен к Огареву, как к писателю: «Огареву я

не сочувствую... потому что в своих статьях, письмах и разговорах он проповедует старинные (!) социалистические теории общей собственности и т. д., с которыми я не согласен (Бакст в Гейдельберге, например, об'явил мне, что «Николай Платонович (Огарев) не потому опровергает «Положение», что оно несправедливо для крестьян, а потому, что оно освящает принцип частной собственности в России»)... «Колокол» гораздо менее читается с тех пор, как в нем стал царствовать Огарев».—Эта фраза стала в России тем, что в Англии называется a truism. «Колокол», напечатавший без протеста половину манифеста Бакунина и социалистические статьи Огарева,—уже не прежний «Колокол»!

И Тургенев был совершенно прав с своей умеренно-либеральной точки зрения. Свидание и разговор с Самариным в июле 1864 года показали Герцену, что влияние его на либерально-дворянскую публику утеряно безвозвратно. Это открытие поразило его тем больнее, что влияния на новую разночинную демократию он не приобрел, да по всей своей тактике и приобрести не мог.

Дело в том, что в политике Герцен оказался величайшим оппортунистом. Проявляя в теоретической области, как ему казалось, величайшую смелость, он на практике выказал крайнюю осторожность и, мы бы сказали, трезвенность: эти качества Герцена-политика связаны были с характером того круга, на который Герцен намеревался влиять. В 1855 и следующих годах Герцен выдвинул умеренно-либеральную программу, состоявшую из четырех пунктов: 1) освобождение крестьян от помещиков; 2) освобождение слова от цензуры; 3) освобождение суда от мрака канцелярской тайны; 4) отмена телесных наказаний. Ту же программу он повторил и в «Колоколе». А на указания, что даже эта скромная программа не может быть выполнена без предварительной политической реформы, Герцен, по тактическим соображениям умалчивавший о конституционном преобразовании, отвечал: сначала осуществим эту программу, а «с становым и квартальным сделаемся потом»!

В этом отношении Чернышевский обнаружил гораздо больше политической сознательности. Он полагал, что радикаль-

ное решение крестьянского вопроса немыслимо без предварительного совершения политического переворота, произведенного массами в интересах масс. «Как ни важен,—писал он,—представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны *другие низшие гарантии* благосостояния, нужные для доставления его действию простора». Чернышевский чужд был политического индифферентизма. На каторге он говорил своим товарищам, что страшнее всего—бесформенное чудовище, всепоглащающий Левиафан», т.-е. абсолютизм.

Герцен же, под влиянием разочарования в политических формах, вызванного в нем банкротством революции 1848 года, причин которого он не понял, сознательно отделил политический вопрос от социального. По его мнению, русская жизнь после Крымской войны выдвинула не вопрос о конституции, республике, парламенте, муниципальной свободе и т. д., а вопрос об освобождении крестьян с землею, т.-е. якобы чисто социальный вопрос без примеси политического элемента. «Увидав это, мы бросили все и прилепились к этому жизненному вопросу для России. И вот вам причина нашего успеха. Тот только «Колокол» и слушают люди, который зовет их туда, куда им итти надобно. Представьте себе, что середь распрей и споров в самом дворянстве, середь зачатков борьбы двух бойцов, до того времени гладивших друг друга по головке и в первый раз поглядевших с ненавистью друг на друга (т.-е. самодержавия и дворянства!—*Ю. С.*),—представьте,что середь этой борьбы, совершающейся перед необозримым количеством народа, мрачно ждущего, кто кого сломит, но который нисколько не намерен уступить ни вершка земли, наш «Колокол» стал бы звонить всемирной республике и солидарности народов? Как вы думаете, эти люди, дерущиеся не на живот, а на смерть, которые теперь с любовью или ненавистью читают наши слова, стали бы читать наши дифирамбы и разглагольствования? Их ответ можно предвидеть: «Что вы нам толкуе-

те о всемирной республике, которой нигде нет, о братстве народов, которые везде режутся; мы все это читали в Руссо и Вольтере, в истории первой революции и в газетах 1848 года. У нас теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятин пашни дать крестьянину, ну где же нам читать ваши декламации!» Колоколу пришлось бы прикусить свой железный язык. Вы видите, что наш маккиавелизм, наша политика очень проста. Мы говорим о тех в о п р о с а х, которые т е п е р ь в ы д в и н у т ы ж и з н ь ю, и без разрешения которых Левиафан сядет на мель».

В этой характерной цитате Герцен сам связывает свой оппортунизм и политический индифферентизм с характером своей дворянской публики. Он учитывает только конфликты внутри дворянства, о самостоятельном же историческом действии народа и не помышляет и к нему не зовет. Противопоставление широких политических задач частичным экономическим вопросам, выдвинутым жизнью, блестяще опровергается деятельностью Чернышевского. Никто не писал так много о том, «что такое усадебная земля и сколько десятин пашни дать крестьянину», как Чернышевский, но это отнюдь не помешало ему поставить на очередь политический вопрос и тесно связать его с социальным.

Став на свою оппортунистическую позицию, Герцен не мог, разумеется, высказываться за радикальное решение даже крестьянского вопроса. Семевский заметил, что программа Герцена за исключением пункта о сохранении за крестьянами всей земли, которою они фактически владели, сделалась впоследствии программою правительства; но разве ею могла, например, сделаться программа Чернышевского? Достаточно только поставить этот вопрос, чтобы для нас сразу стала ясною колоссальная разница позиций, занятых обоими писателями. Программа Герцена это была в сущности программа либеральных помещиков, либеральных деятелей губернских комитетов вроде Самарина, Кошелева, Унковского, Головачова и т. п. Как раз с этими либеральничающими бюрократами и помещиками отчаянно боролся Чернышевский, отстаивая против них, равно как и против откровенных крепостников, действитель-

ные интересы трудящихся масс. Чернышевский стоял за радикальное, демократическое решение крестьянского вопроса, которое должно было провести резкую грань между старой и новой Россией и заложить основы новой, свободной, демократической жизни; для этого он апеллировал к самодеятельности народной массы. Герцен, игнорируя эту последнюю, в действительности отстаивал умеренную реформу, которая—хотел ли он этого или нет—должна была надолго закрепить господство поместного дворянства в русской общественной жизни.

Достаточно отметить их различное отношение к двум основным пунктам крестьянской реформы: к вопросу о количестве земель, предоставляемых крестьянству, и о выкупе за эту землю. Герцен никогда не высказывался за предоставление крестьянам всей земли и за экспроприацию землевладельцев; он говорил лишь о необходимости сохранить за крестьянами всю ту землю, которою они пользовались до освобождения. Но на это шли и либеральные помещики. Совершенно иначе ставил этот вопрос Чернышевский. Правда, работая в подцензурном журнале, он не мог открыто высказываться за полную экспроприацию землевладельческого класса (на что Герцен имел полную возможность, если бы хотел); но в скрытой форме он, насколько мог, выдвигал именно такое решение вопроса. В знаменитой статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» Чернышевский, говоря о низших гарантиях, необходимых для доставления полного простора действию общинного принципа, указывает, как на одну из таких гарантий, на принадлежность ренты трудящимся, т.-е на передачу всей земли народу. Герцен же, который писал в зарубежном «Колоколе» и, значит, имел полную возможность провозгласить этот принцип, не прибегая к эзоповскому языку, нигде не высказывается в этом смысле.

Точно так же обстояло дело и с вопросом о выкупе. Герцен решает его в положительном смысле, он нигде ни словом не намекает на то, что выкуп крестьянских земель, который в сущности являлся уплатой помещикам за личность крепостных рабов, принципиально недопустим и ложится тяжелым бременем на трудящуюся массу. Он рассматривал различные

возможные формы этого выкупа, говорил о необходимости возложить его на всю нацию, о заключении внутреннего займа для выкупа крепостных, но принципиально ему и в голову не приходило против него высказываться. Скажут, что Чернышевский в своих знаменитых статьях по крестьянскому вопросу также допускал этот выкуп и между прочим также говорил о том, что расходы по освобождению крестьян должна нести вся нация; что он также писал лишь о размерах этого выкупа, доказывая, что выкуп этот должен быть небольшой. Но опять-таки не следует забывать, что открыто высказывать свой взгляд Чернышевский, в отличие от Герцена, не мог по цензурным условиям; между строк же он всячески намекал на недопустимость этого выкупа. Раскрыть свои карты Чернышевскому пришлось только в романе «Пролог», написанном в Сибири. Убеждая революционера Соколовского [1]) не верить либералам и скептически относиться к толкам о затеваемых серьезных реформах, Волгин (Чернышевский) утверждает, что беды не будет, если дело освобождения крестьян будет передано в руки крепостнической партии. Разница не колоссальная, а ничтожная: была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа [2]). Таким образом, в этом основном вопросе Чернышевский отстаивал стремления и интересы крепостной массы и предлагал радикально-демократическое решение вопроса, тогда как

---

[1]) Под именем Соколовского Чернышевский, как известно, вывел знаменитого польского революционера Сераковского, впоследствии повешенного Муравьевым (см. подробно в нашей книге „Н. Г. Чернышевский", 1909, стр. 362 сл.) Пользуемся случаем, чтобы указать на странную ошибку, в которую впал С. Аничков, заявивший, что в лице Соколовского Чернышевский вывел В. Костомарова, известного предателя. Решительно непонятно, откуда это взял г. Аничков (см. его статью о Добролюбове в № 8 „Совр. Мира" за 1911 год).

[2]) Бакунин в своих письмах к Герцену также указывал на эту сторону вопроса. „Если земля крестьянская,—писал он,—так зачем же выкуп—и какой еще выкуп! Разоривший крестьян, принужденных итти по целой России брать худшую землю за хорошие деньги" (Письма Бакунина к Герцену и Огареву, Женева, 1896, стр. 179).

Герцен отстаивал умеренно-либеральную точку зрения и выражал взгляды либеральных помещиков.

По рассказу Стахевича [1]), Чернышевский упрекал Герцена, между прочим, за то, что тот не выставляет определенной политической и социальной программы, что он, изобличая отдельные отрицательные явления русской жизни, не связывает их с общим характером государственного строя, от которого эти явления зависят. Но в рассматриваемый момент Герцен как раз и считал своею силою то, что Чернышевский признавал его недостатком. «Мы, сколько могли,—писал Герцен впоследствии в статье «Порядок торжествует» («Колокол», 1 декабря 1866 г.),—отстраняли все вопросы, не находившиеся на череду». В практической политике Герцен придерживался теории стадий. В письмах к «Старому товарищу» (Бакунину) он формулирует свою тактику, которой следовал и в «Колоколе, в таких выражениях: «Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять ш а г л ю д с к о й в былом и настоящем, для того, чтобы знать, как итти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мною, не могут итти». Стремясь в силу своего темперамента н е п о с р е д с т в е н н о влиять на ход исторических событий, не довольствуясь подготовкой элементов для будущего исторического действия, он пошел по линии наименьшего сопротивления и примкнул к той фракции господствующего класса, которая, как ему казалось, склонна была приступить к реформам. В этом и заключалась его основная ошибка, связавшая полет его мощного духа, заставившая его забыть свою критику европейской буржуазии и толкнувшая его на скользкий путь оппортунизма. Он хотел быть только на один шаг впереди массы, а так как его массою была умеренно-либеральная дворянская публика, ему пришлось беспощадно урезывать не только свой социализм, но и свой демократизм: держась на один шаг впереди либеральных помещиков, он и не заметил, как очутился на сто шагов позади демократической массы.

---

[1]) Революционер 60-х годов; был на каторге в одно время с Чернышевским.

Впоследствии Герцен под влиянием Чернышевского и Бакунина заговорил другим языком. В статье «Исполин просыпается» («Колокол», 1 ноября 1861 г.), Герцен, по поводу студенческих волнений и закрытия университета, обратился к молодежи с призывом итти в народ: «Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?... Сказать вам, куда? Прислушайтесь—благо тьма не мешает слушать—со всех сторон огромной родины нашей: с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот—это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В н а р о д! к н а р о д у!—вот ваше место, изгнанники науки, покажите этим Бистромам, что из вас выйдут не под'ячие, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского. Хвала вам! вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептания, дальних намеков, запрещенных книг проходит. Вы т а й н о еще печатаете дома, но я в н о протестуете. Хвала вам, меньшие братья, и наше дальнее благословение! О, еслиб вы знали, как билось сердце, как слезы готовы были литься—когда мы читали о с т у д е н т с к о м д н е в Петербурге!».

В этих строках во весь рост встает перед нами настоящий, великий, вечный Герцен. Герцен новой демократической России. Подобно древнему Антею, он снова обретал свою мощь и пыл, как только прикасался к свежей почве новых народных демократических слоев. В № 221 «Колокола» от 1 июня 1866 года Герцен, под впечатлением известий о репрессиях после каракозовского покушения, писал: «Перед этим письмом мы остановились с какой-то бесконечной жгучей болью... Несчастный народ, в котором могла зародиться и назреть такая среда, наглая и уродская, которая безнаказанно учит палачей, рукоплещет им и натравливает их!... У нас была готова статья, но, прочитавши письмо, мы ее разорвали: все слабо, бедно, слов недостает, мы это глубоко чувствуем. Но нельзя же и руки сложить в праздном озлоблении, нельзя же замолчать с проклятием на губах. Нет, это была бы измена всей нашей жизни, а ее немного впереди. Мы остаток ее употребим на обличение перед миром исторического преступления, совершающегося в

России, и на подкрепление и утешение несчастного молодого поколения, идущего на мученичество за свою святую любовь к истине, за свою веру в Россию. Мы, старики, станем у изголовья гонимых, отирая пятна клеветы и благословляя погибающих провозвестников будущей России».

Вот какие трогательные ноты Герцен находил в своем сердце, когда говорил о молодом поколении как друг и товарищ. Но, к сожалению, в своем отношении к новой революционной молодежи он не удержался на этой благожелательной позиции. Двойственность герценовской натуры сказалась и здесь. Теоретически преклоняясь перед героизмом юных борцов, смело выступивших посреди всеобщего молчания, благословляя их на дальнейшие подвиги, Герцен при непосредственном столкновении с представителями революционной молодежи не сумел взять по отношению к ней надлежащего тона, не сумел за частичными недостатками разглядеть ее достоинств. Недоразумения с молодой эмиграцией отравили последние годы Герцена, и нужно сказать, что, если молодежь была во многом несправедлива к Герцену, то еще более несправедлив он оказался по отношению к ней. Здесь повторилось то же колоссальное историческое недоразумение, которое некогда побудило Герцена обрушиться на Чернышевского и Добролюбова, заслуги которых он впоследствии должен был признать.

Известно, что Герцен жестоко напал на Добролюбова и Чернышевского за беспощадное разоблачение ими дряблости, бессилия и классовой ограниченности российских либералов. После всего, что мы выше говорили о позиции, занятой Герценом в крестьянском вопросе, совершенно естественно, что конфликт между обеими социально-политическими тенденциями неизбежно должен был разгореться. Герцен, проводивший в «Колоколе» умеренно-либеральную программу дворянского меньшинства, почувствовал себя лично задетым той резкой критикой, которую Чернышевский и Добролюбов обратили против дворянского либерализма. Герцен первый бросил перчатку «свистунам» и выступил на защиту «отцов» против «детей», людей 40-х годов против шестидесятников, умеренных либералов против революционных демократов. В № 44 «Коло-

кола» за 1859 год появилась статья Герцена «Very dangerous!!!», прямо направленная против кружка Чернышевского. «В последнее время,—писал Герцен,—в нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то развратом мысли». Герцен отказывается признать взгляды Чернышевского и Добролюбова за выражение общественного мнения и высказывает предположение, что их антилиберальная кампания подсказана им правительством. «Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий ко страждущим, катаются со смеху над обличительной литературой, над неудачными опытами гласности. И это не то, чтобы случайно, но при большом театре ставят особые балаганчики для освистывания первых опытов свободного слова литературы, у которой еще не заросли волосы на голове, так как она недавно сидела в остроге» [1]).

Возмущенный насмешками радикалов над умеренными либералами, Герцен напоминает «свистунам», как сурово общественное мнение казнило за гражданские «измены или шаткости», приводит пример Гоголя и Сенковского и утверждает, что в смехе Чернышевского и Добролюбова нет «того вечно тревожащего демона любви и негодования», который замечался у Белинского и Грановского. Теперь, дескать, наступила эпоха серьезных общественных начинаний. «Вот потому-то в такое время пустое балагурство скучно, неуместно; но оно делается отвратительно и гадко, когда привешивает свои ослиные бубенчики к тройке, которая, в поту и выбиваясь из сил, вытаскивает—может, иной раз оступаясь—нашу телегу из грязи!... Истощая свой смех на обличительную литературу, милые наши забывают, что по этой скользкой дороге можно доехаться не только до Булгарина и Греча, но (чего Боже сохрани!) и до Станислава на шею».

По поводу этой скандальной и бестактной статьи Герцена, в которой радикалы выставлялись чуть ли не агентами-провокаторами и подголосками реакции, между Герценом и Черны-

[1]) Театр—это „Современник“, а балаганчик при нем это „Свисток“, выходивший в виде приложения к журналу.

шевским состоялось личное об'яснение, для чего Чернышевский ездил в июне 1859 года за границу. Это об'яснение, натурально, ни к чему не привело, так как в рассматриваемый момент оба собеседника стояли на противоположных полюсах: Чернышевский говорил от имени революционной демократии, а Герцен занимал позицию просвещенного либерализма и еще не отделался от надежд на либеральных дворян и либеральничающую бюрократию. Чернышевский из всех споров с Герценом сделал вывод, что его оппонент очень умный, но отсталый человек, у которого «в нутре московский барин сидит». Он сохранил отрицательное отношение к пропаганде Герцена и с особенной резкостью выразил его в своей статье «О причинах падения Рима», где под влиянием неостывшего озобления назвал его «глупцом или безумцем»: это была отплата за «паяцев» и «Станислава на шею».

После об'яснения с Чернышевским Герцен принужден был отказаться от своих прежних инсинуаций по адресу крайних левых, действующих якобы по внушению правительства. В статье «Лишние люди и желчевики», в которой он чрезвычайно пристрастно и односторонне изложил свою беседу с вождем революционных демократов, Герцен уже признает, что они—люди добрейшие по сердцу и благороднейшие по направлению, но прибавляет, что тоном своим они способны довести ангела до драки и святого до проклятия. Герцен защищает людей 40-х годов от несправедливых, по его мнению, нападок радикалов, но совершенно не касается основного разделявшего их вопроса об отношении к тогдашнему российскому либерализму и к реформам 60-х годов. А между тем, жизнь постепенно разбила иллюзию Герцена и показала ему, что в своей критике буржуазного либерализма вообще и тогдашних российских прогрессистов из дворян в частности Чернышевский с товарищами были совершенно правы. Почти все единомышленники Герцена, за которых он ринулся в бой с Чернышевским, довольно скоро изменили ему и продали свою шпагу. Выше мы уже говорили о поведении Тургенева и Кавелина, с которыми Герцену пришлось вступить в резкую полемику; но большинство прежних товарищей Герцена поступили еще ху-

же, и многие из них открыто перешли в лагерь восторжествовавшей реакции. Стоит вспомнить то, что Герцен рассказывает о М. Щепкине (который в 1853 году приезжал к нему от имени московских друзей уговорить Герцена прекратить свою деятельность, раскаяться и добиться прощения у правительства), о Кетчере [1]), перешедшем в стан мракобесов и т. д. Грановского [2]) от этой печальной участи и от окончательного разрыва с Герценом спасла только преждевременная смерть. И в конце концов Герцену пришлось признать правоту Чернышевского.

В вышецитированной статье «Порядок торжествует» Герцен посвятил сочувственные строки *сильной личности* Чернышевского. Последний, пишет Герцен, не принадлежал исключительно ни к одной социальной доктрине, но имел глубокий социальный смысл и глубокую критику существующих порядков. «Стоя один выше всех головой, середь петербургского брожения вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающихся угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся—*что им делать*... Пропаганда Чернышевского была ответом на *настоящие* страдания, слово утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон литературе и провела черту между в *самом деле* юной Россией и прикидывавшейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали «дворян в мещанстве» и помещиков в оппозиции».

Этими строками Герцен признал, что в конфликте, происшедшем между ним и Чернышевским за семь лет до того, правда была на стороне его оппонента, который сумел разгля-

[1]) Переводчик Шекспира, некогда стоял близко к московскому кружку Герцена.

[2]) Известный московский профессор и просветитель, умеренный либерал.

деть действительный характер либеральничающей, «слегка бюрократической и слегка крепостнической» России, только «прикидывавшейся» прогрессивною, в то время как он сам возлагал на нее надежды, доверял ей дело освобождения крестьян и в угоду ей урезывал свою программу. Вышеприведенными строками, а также горячим протестом по поводу осуждения Чернышевского на каторгу Герцен отчасти загладил свою вину перед Чернышевским лично. Но ему не удалось примириться с молодым поколением, которого он органически не в состоянии был понять, и которое с суровой принципиальностью чистой юности не хотело простить ему его бестактностей и тактических колебаний.

Отношение молодой эмиграции к Герцену с особенной резкостью выразилось в брошюре А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» (1867). Автор ее, брат Н. Серно-Соловьевича [1]), впоследствии известный пропагандист и деятель швейцарского Интернационала, говоря от имени молодого поколения, особенно последователей и учеников Чернышевского, утверждает, что молодое поколение давно поняло Герцена и отвернулось от него. Безжалостною рукою и с явными преувеличениями он перебирает «измены», «промахи», политические «бестактности» Герцена, «все те поэтические—я хотел сказать политические—метаморфозы, через которые несла вас ваша артистическая, ламартиновская натура от красного республиканизма до поклонения земскому царю, от дифирамбов Оренни... до кидания грязью в Каракозова» [2]). Дальше он проводит параллель между Герценом и Чернышевским и издевается над утверждением Герцена, что он не только не был с Чернышевским в антагонизме, но что, напротив, они служили взаимным дополнением друг другу. «Между вами и Чернышевским,—

---

[1]) Братья Серно-Соловьевичи—революционеры 60-х годов. Николай был арестован в 1862 г. и сослан в Сибирь, где скоро умер. Второй брат умер в Швейцарии в 1869 году.

[2]) Каракозов—революционер, стрелявший 4 апреля 1866 года в царя Александра II и на вопрос последнего: „За что?“ ответивший: „За то что ты обманул крестьян: обещал им землю и не дал“. Повешен после пыток, а товарищи его сосланы в каторгу.

говорит Серно-Соловьевич.—нет, не было, да и не могло быть ничего общего. Вы два противоположные элемента, которые не могут существовать рядом друг возле друга: вы представители двух враждебных натур, не дополняющих, а истребляющих одна другую; до того расходитесь вы во всем—от миросозерцания до отношения к самим себе и людям, от общих вопросов до малейших проявлений частной жизни».

«Чернышевский человек по преимуществу логической, сдержанной, строго продуманной мысли.—вы специалист по энтузиазму; Чернышевский человек науки, популяризовавший все последние выводы ее.—между вами и наукой столько же общего, сколько между Валуевым и свободою; Чернышевский человек об'ективной истины.—вы суб'ективных ощущений и восторгов; Чернышевский шел неуклонно одним верным путем к цели.—вы сами сознаетесь, что беспрестанно меняете мундиры, путаетесь, сбиваетесь с пути: Чернышевский (?) учил: не верьте ни одному правительству, хотя бы оно состояло из ангелов, и в тот день, когда я сделался бы правительством, перестаньте верить мне.—вы умилялись перед идейкой земского царя и восклицали: «Ты победил, Галилеянин!»; Чернышевский ненавидел декорации, роли, громкие фразы.—вы олицетворение эффекта, театральных подмостков, крика... Чернышевский говорил: «И сойдут эти (понимаете) люди со сцены, гордые, но скромные, суровые, но добрые, как всегда; они сделали свое дело, люди получили от них пользу, с них этого и довольно»,—вы чеканите медали с своим портретом и формально требуете себе исторической благодарности; Чернышевский со скромностью всех великих людей признавал умственное превосходство над собою юноши Добролюбова,—вы со скромностью, свойственной вам, заявляете себя основателем школы; Чернышевского идеалом была истина,—ваши идеалы изменяются по настроению духа: сегодня это Прудон, завтра Маццини, послезавтра Виктор Гюго, сам Виктор Гюго!; Чернышевский, этот холодный, недоступный Чернышевский, радовался как ребенок всякому проявлению жизни в России, всякому поступку, выражавшему сознание, энергию,—вы до того только поэт свободы, что вас поразил и грубо оскорбил даже сво-

бодный язык молодой эмиграции, и вы совсем растерялись, найдя в Женеве не толпу хамов и обожателей, а свободных людей, говорящих с вами таким же языком, как со всеми, и применяющих к вам тот же критерий, что и ко всем смертным; Чернышевский основал действительную школу, он воспитывал людей, он образовал целую фалангу людей,—где ваши последователи, не знаю».

Герцен не оставался в долгу перед молодежью. Если последняя в пылу полемики закрывала глаза на его блестящий талант, на его крупные заслуги перед освободительным движением и на его личные достоинства, то он с своей стороны не видел в ней никаких положительных черт, подмечал только ее отрицательные свойства, злобно раздувая ее недостатки и доходя в этом отношении до скандальных преувеличений. Он об'явил молодежь «Собакевичами и Ноздревыми нигилизма», узкими, резкими, невежественными, ленивыми, одержимыми болезненным и бесцеремонным самолюбием, стремившимися ограбить его и взять «на дуван» его состояние. Вот как он характеризует их в статье «Общий фонд»: «Снимая все до последнего клочка, наши enfants terribles гордо являлись как мать родила, а родила-то она их плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наследниками дурной и нездоровой жизни низших петербургских слоев. Вместо атлетических мышц и юной наготы обнаружились печальные следы наследственного худосочия, следы застарелых язв и разного рода колодок и ошейников. Из народа было мало выходцев между ними. Передняя, казарма, семинария, мелкопоместная господская усадьба, перегнувшись в противоположное, сохранились в крови и мозгу, не теряя отличительных черт своих... С одной стороны, реакция против старого, узкого, давившего мира должна была бросить молодое поколение в антагонизм и всяческое отрицание враждебной среды: тут нечего искать ни меры, ни справедливости. Напротив, тут делается на зло, тут делается в отместку. Вы лицемеры, мы будем циниками; вы были нравственны на словах, мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими, мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, мы будем толкаться, не изви-

няясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести, мы за честь себе поставим попрание всех приличий и презрение всех points d'honneur'ов. Но, с другой стороны, эта отрешенная от обыкновенных форм общежительства личность была полна своих наследственных недугов и уродств. Сбрасывая с себя, как мы сказали, все покровы, самые отчаянные стали щеголять в костюме гоголевского Петуха, и притом не сохраняя позы Венеры Медицейской. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подьячевского круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома... Мы невольно узнаем переднюю, казарму, канцелярию и семинарию по каждому их движению и по каждому слову. Бить в рожу по первому возражению, если не кулаком, то ругательным словом, называть С.—Милля р а к а л ь е й, забывая всю службу его,—разве это не барская замашка, которая «старого Гаврилу за измятое жабо хлещет в ус да в рыло»? Разве в этой и подобных выходках вы не узнаете квартального, исправника, станового, таскающего за седую бороду бурмистра? Разве в нахальной дерзости манер и ответов вы не ясно видите дерзость николаевской офицерщины и в людях, говорящих свысока и с пренебрежением о Шекспире и Пушкине, внучат Скалозуба, получивших воспитание в доме дедушки, хотевшего «дать фельдфебеля в Вольтеры»? Самая проказа взяток уцелела в домогательствах денег нахрапом, с пристрастием и угрозами под предлогом общих дел, в поползновении кормиться на счет службы и мстить кляузами и клеветами за отказ.

«Все это переработается и перемелется; но нельзя не сознаться—странную почву приготовили царская опека и императорская цивилизация в нашем «темном царстве». Почву, на которой многообещающие всходы проросли с одной стороны поклонниками Муравьевых и Катковых, с другой д а н т и с т а м и нигилизма и базаровской беспардонной вольницы. Много дренажа требуют наши черноземы!»

. . . . . .

В своей частной переписке Герцен выражается еще резче о молодых эмигрантах, но из уважения к его памяти мы не станем приводить этих печальных выражений, вырвавшихся у него в минуту отчаяния и духовного одиночества. Приведем лишь выдержки из письма, коим Герцен сопроводил посылку Бакунину брошюры Серно-Соловьевича: «Он—наглый и сумасшедший, но страшно то, что большинство молодежи такое, и что мы все помогли ему таким быть... Это мошенники, оправдавшие (!) своим сукиносынизмом меры правительства, невежды, на которых Катковы, Погодины, Аксаковы etc. указывают пальцами. Это люди, которые обратили на меня втрое больше ненависти, чем на Скарятина, говоря просто, что они завидуют, что они хотели бы обобрать, и что они не могут переварить художественной стороны статей. Ты и Огарев, вы этих скорпионов откармливали млеком вашим. Это верно. Caro mio, подумай. Им будущности нет, это меньшой венерический брат, который умрет—и на его могиле встретится старший с еще более меньшим» [1]).

И в то самое время, как Герцен писал такие глубоко несправедливые строки о революционной молодежи, может быть, кое в чем и виноватой, и слишком резкой, и впадавшей в преувеличения, но по существу честной, здоровой и преданной народным интересам, в это самое время он дружески встречался и беседовал с Самариным и Погодиным! Своей вины (не личной, а принципиальной) перед молодым поколением, перед революционной демократией, перед Чернышевским и его последователями он признать не хочет; более того, он как будто ее не замечает. Он возлагает на Бакунина и Огарева моральную ответственность за оскорбившие его недостатки молодого поколения. Но в чем же дело? Да просто в том, что Бакунин, подобно Чернышевскому, хотя и с несколько иной точки зрения, высказался против социально-политического оппорту-

[1]) Любопытно, что г. Ветринский в своей книге о Герцене выпустил все подчеркнутые нами места, не поставивши даже точек и не оговоривши этих пропусков. Так пишется история! Герцен в таком обеливании не нуждается.

низма Герцена, а Огарев в этом вопросе пошел за Бакуниным. В своих письмах к Герцену и Огареву (который тогда еще выступал рука об руку с первым) Бакунин решительно высказывается против их тактики в «Колоколе» и в частности против писем к государю, способных по его словам лишь посеять смуту в неопытных умах. «Вы,—говорит он в письме от 19 июля 1866 г.,—испугались и отступились перед искусственным подкупленным воплем московских и петербургских журналистов, поддерживаемых гнусною массою плантаторов и нравственно обанкротившимся большинством учеников Белинского и Грановского, т в о и х у ч е н и к о в, Герцен, большинством старой гуманно-эстетизирующей братии, книжный идеализм которой не выдержал, увы, напора грязной казенной русской действительности. Ты оказался слаб, Герцен, перед этой изменой, которую твой светлый, проницательный, строго логический ум непременно предвидел бы, если б не затемнила его сердечная слабость. Ты до сих пор не можешь справиться с ней, забыться, утешиться. В твоем голосе слышится до сих пор оскорбленная, раздраженная грусть... ты все говоришь с ними, усовещеваешь их, точно так же, как усовещеваешь царя, вместо того, чтобы плюнуть один раз навсегда на всю свою старую публику и, обернувшись к ней спиною, обратиться к публике новой, молодой, едино способной понять тебя искренно, широко и с волею дела. Таким образом ты от излишней нежности к своим многогрешным старикам изменяешь своему долгу».

Бакунин отвергает оппортунистическую тактику Герцена, который «ради успеха практической пропаганды» обрек себя на трудную и неблагодарную задачу «быть по плечу своему хору, всегда шагом вперед и никогда двумя». Бакунин отказывается понять, что значит итти одним шагом впереди перед поклонниками Каткова, Скарятина, Муравьева, даже перед сторонниками Милютиных, Самариных, Аксаковых. Он указывает Герцену, что между ним и ими разница не только количественная, но и качественная: они—сторонники сословных и классовых привилегий, патриоты-государственники, Герцен—социалист (анархические рассуждения Бакунина к интересующему нас в настоящий момент вопросу не относятся). Он

напоминает Герцену, что даже в период компромиссов он, Бакунин, и тогда не верил, «чтобы из среды дворянского сословия могла подняться сила, способная потрясти или только ограничить самодержавие», и припоминает, как оба они «вместе отрицали дворянскую самостоятельность и защищали неумытых семинаристов и нигилистов—эту единственную свежую силу вне народа». Бакунин указывает Герцену на неосновательность его надежд на возможность мирной эволюции, он подчеркивает бесплодный и мистический характер мессианистских ожиданий Герцена от русской общины; он рекомендует своим друзьям заговорить решительным, открытым языком. «Против нас подымется всероссийская помещичья литературная официальная буря... Царь перестанет читать твои письма,—беды нет, ты перестанешь писать их,—выигрыш ясный. Старые лысые друзья от тебя окончательно оттолкнутся, и потеряется всякая надежда на их исправление,—что ж, разве ты действительно веришь, Герцен, в возможность и в пользу их исправления? Мне кажется, что между тобою и ими даже в лучшее время существовало большое недоразумение. Они преклонялись перед твоим громадным талантом, восторгались твоим всепоражающим остроумием, уважали тебя тем более, что читали и слушали тебя с уважением сам царь, великие князья, все министерство; вся петербургская знать перед тобой трепетала, слово твое сменяло генерал-губернаторов, а генерал-ад'ютанты с гордостью называли тебя своим другом. Это было твое золотое время, не правда ли, Герцен? А друзья твои в России, видя твое полуофициальное могущество, хвалили, лелеяли тебя, льстили тебе как своему предводителю, подличали перед тобою и, громко хвастаясь твоим доверием, твоею корреспонденциею, как бы сами становились соучастниками в твоем могуществе. Но были ли они когда вместе с тобой, социалистом? Ты знаешь сам, что никогда не были, они всегда порицали тебя за твой социализм и, если прощали его тебе, так только из уважения к твоим полуоффициальным услугам и потому, что сами боялись тебя. Но когда после убийства Антона Петрова и после ареста Михайлова и других, лучших, настоящих друзей наших стали хва-

тать, и ты принял громко их сторону, лысые друзья твои впервые усумнились в твоем практическом такте, т.-е. в продолжении твоего трогательного согласия с императором. Случились пожары, запылала молодая Россия—они стали умолять тебя остепениться, как еще прежде умоляли тебя не издавать «Колокола», и все-таки еще не смели явно от тебя отступить, потому что слово твое гремело попрежнему. Настало польское дело, ты сам испугался, ослаб перед искусственным воплем, поднятым против поляков и против тебя подкупною литературою,—вольную литературу правительство задушило,—и вдруг перешел из роли грозного карателя, громящего и казнящего без страха и без устали, в роль оскорбленного и покинутого любимца, об'ясняющегося и чуть ли не просящего прощения. С тех пор мнимые друзья твои перестали признавать в тебе начальника, а так как они не могут жить без начальства, перешли гуртом под начальство ругавшего тебя Каткова!»...

«Поверь мне, Герцен, твоя пресловутая «перемена фронта», которою ты так гордился и которою хотел доказать нам, «абстрактным революционерам», твое практическое и тактическое уменье, была огромным промахом. Твоя уступка развратному, только мнимо-единодушному дворяно-литературному мнению в России, раз'ярившемуся злобою во имя интегритета империи по случаю польского вопроса, была бы ошибкою даже и тогда, если весь великорусский народ участвовал бы в этом мнении. Разве правда и право перестают быть правдой и правом потому только, что целый народ становится против них? Бывают моменты в истории, когда люди и партии, сильные тем принципом, тою истиною, которая живет в них, должны для блага общего и для сохранения своей собственной чести иметь мужество остаться одни в уверенности, что истина притянет к ним рано или поздно не старых и лысых ренегатов,... а новые свежие массы... Массы иногда по близорукости и невежеству увлекаются в сторону от столбовой дороги, ведущей прямо к их цели, и нередко

становятся в руках правительства и привилегированных классов орудием для достижения целей, решительно противных их существенным интересам. Что ж, неужели люди, знающие в чем дело, знающие, куда надо и куда не надо итти, должны ради популярности увлекаться и врать вместе с ними? В этом ли состоит ваша пресловутая практичность?»

Далее Бакунин перечисляет ряд промахов и бестактностей, подсказанных Герцену его приспособлением к так называемому «образованному обществу», т.-е. либеральничающим дворянским кругам, и советует ему прежде всего определить, к кому он хочет обращаться, где его публика. Непосредственное воздействие на народную массу, которая не читает, из заграницы невозможно; попытки воздействовать на либеральное дворянство напрасны, ибо ведут только к потере времени и компрометируют по-пустому своих авторов. Бакунин указывает Герцену на новую публику, на революционную молодежь. «Ищите публики новой в молодежи, в недоученных учениках Чернышевского и Добролюбова, в Базаровых, в нигилистах—в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля. Только не кормите их полусветом, полуистиной, недомолвками. Да, встаньте опять на кафедру и, отказавшись от мнимой и, право, бессмысленной тактичности, валяйте все, что сами думаете, с плеча и не заботьтесь больше о том, сколькими шагами вы опередили свою публику, не бойтесь, она от вас не отстанет и в случае нужды, когда вы будете уставать, подтолкнет вас вперед. Эта публика сильна, молода, энергична,—ей надо полного света, и не испугаете вы ее никакою истиною. Проповедуйте вы ей практическую осмотрительность, осторожность, но давайте ей всю истину, дабы она при свете этой истины могла узнать, куда итти и куда вести народ. Развяжите себя, освободите себя от старческой болезни и от старческих соображений, от всех фланговых движений, от тактики и от практики. Перестаньте быть Эразмами, станьте Лютерами, и возвратится к вам вместе с утраченною верою в дело и старое красноречие, и старая сила,—и тогда, но только тогда ваши старые блудные дети-из-

менники, познав вновь в вашем голосе голос начальника, возвратятся к вам с покаянием, и горе вам, если вы согласитесь принять их».

Таким образом Бакунин определенно указывал Герцену на новую публику, на учеников Чернышевского, к которым ему и надлежало обратиться с своей социалистической проповедью. Но для Герцена этот поворот был уже психологически невозможен. Воспоминания о недавнем влиянии, которое на время обеспечила ему его оппортунистическая тактика, грызли его, и он никак не мог примириться с скромной ролью пропагандиста, бросающего семена, всходов которых ему, быть может, не придется увидеть. Нужды нет, что былое влияние Герцена распространялось только на часть дворянских кругов, органически чуждых и даже враждебных его социалистическим убеждениям, что оно связано было с отказом от этих убеждений и с принятием умеренно-либеральной программы. Он жаждал этого непосредственного влияния, которое должно было сказываться в практических, законодательных актах, и утрата этого влияния выбила его из колеи. И Бакунин не раз должен был отмечать в своих письмах к Герцену, что в статьях последнего «много верного и удачно выраженного, а все слышится в них тон покаявшегося революционера, готового на полусделки с людьми, с которыми для последовательного социалиста примирение невозможно». И в то же время, сохраняя сердечную теплоту и благожелательное отношение к этим людям, с которыми его связывали воспоминания молодости, недавнего влияния и, скажем прямо, какой-то смутный, если не классовый, то групповой инстинкт, Герцен со всей силой своего негодования и вражды обратился против молодого поколения, которое, между тем, одно только и могло составить для него настоящую аудиторию, поскольку он хотел бы открыто выступить со всей программой без урезок, умолчаний и компромиссов. Тщетно Бакунин предостерегал его против этого ложного шага, в котором слышался голос оскорбленного самолюбия и старческого раздражения; Герцен уже не мог остановиться: разрыв с радикальным крылом, начавшийся с полемики против Чернышевского и Добролюбова, логически разви-

вался до конца. И хотя, как мы видели выше, Герцен по временам приходил в себя и готов был, повидимому, взять надлежащий тон по отношению к молодым радикалам, но старая вражда и старые недоразумения вскоре снова брали верх и так и проводили Герцена через печальную старость в могилу.

В ответ на вышеприведенное письмо Герцена по поводу Серно-Соловьевича Бакунин писал ему: «Твое письмо испугало меня не за Серно-Соловьевича, а за тебя. В твоей злости против него слышится что-то старческое. Я готов верить, что Серно-Соловьевич написал против тебя скверную пасквиль, и что твое негодование против него справедливо. Но ты ругаешь не его одного и даже не одних его женевских однолетников-эмигрантов,—на все молодое поколение кладешь ты страшное проклятие, говоря—как будто бы это могло служить для нас аргументом!—что Погодины, Катковы, Аксаковы и Тургеневы указывают на них, т.-е. на молодых людей, принадлежащих к этому поколению, пальцами,—прибавляя даже, что они сукиносынством своим оправдывают меры правительства! Кто ж эти они? Разумеется, не одни только женевские эмигранты, которые так микроскопически малочисленны, что правительству незачем бы было принимать крупных мер—а целое юное поколение, которое ты клеймишь, называя его венерическим младшим братом, осужденным на бесплодную смерть в ожидании еще младшего и более путного поколения.

«Нет, Герцен, каковы бы ни были недостатки и настоящего молодого поколения, оно чрезмерно выше Катковых и Погодиных [1], т в о и х Аксаковых и Тургеневых—так выше, что указывание на него пальцем всех этих блудных стариков служит ему в честь, а не в бесчестье,—и ничто в мире кроме самой, естественно и по необходимости гнусной, природы правительства не может оправдать гнусных мер наших правителей. Десять, пять лет тому

---

[1]) Катков (1818—1887)—московский профессор и публицист; некогда либерал, товарищ Герцена и Бакунина, впоследствии сделался известным вождем и вдохновителем реакции.

Погодин (1800—1875)—московский историк и журналист реакционного направления.

назад, когда ты смело глядел и вел вперед, не заботясь о том, что будут говорить люди близорукого разума и гнилой официальной или полуофициальной практики, и не увлекаясь мечтою о невозможном полуосуществлении сегодня или завтра, а, главное, не дозволяя ослеплять себя блеском лживых и притворных исполнений,—ты не произнес бы таких страшных, для тебя страшных, потому что старческих, слов...

«В молодом поколении, взятом порознь—в отдельных экземплярах, тьма неприятных, непорядочных, даже грязных сторон. Явление, впрочем, весьма натуральное. Старая нравственность, основанная на религиозных, патриархальных и сословных преданиях, рушилась безвозвратно. Новая далеко еще не создалась, но предчувствуется. Действительно осуществить ее может только коренной социальный переворот. Одиноких сил одного человека, как бы он умен и силен ни был, для этого недостаточно. Поэтому, новой нравственности еще нет. Молодое поколение ищет ее, но еще не нашло; отсюда колебания, противоречия, безобразия и нередко грязные скандалы... Все это очень неприятно, больно и грустно, но натурально и неминуемо. Все это в среде нашей бедной, неопытной русской эмиграции еще усугублено тою эмиграционною болезнью, которую ты так верно изучил и описал в своих записках. Но все это не должно заслонять от нас серьезных, да, великих качеств нашего молодого поколения: в нем не оранжерейная, не искусственная и не рефлективная только, а настоящая страсть равенства, труда, справедливости, свободы и разума. Из-за этой страсти десятки из них уже пошли на смерть и сотни в Сибирь. Между ними, как всегда и везде, много пустых хвастунов и фразеров, но есть и герои,—герои без фраз или только с фразою клеветы на себя или крайностью щеголяющего отрицания. Нет, воля твоя, Герцен,—эти неумытые, неуклюжие и часто весьма неудобные пионеры новой правды и новой жизни в миллион раз выше стоят всех твоих приличных покойников...

«Не старей, Герцен, в старости нет прока, не становись доктринером à la J. J. Rousseau, оставайся нашим могучим Вольтером. В этом твоя истина и потому и сила твоя. Не старей, Герцен, и не проклинай молодых. Смейся над ними, когда они смешны, наказывай и брани, когда они виноваты, но преклоняйся почтительно перед их честным трудом и стремлением, перед их подвигами и жертвами». (Переписка Бакунина).

Эти столь историчные и разумные замечания и эти глубоко человечные ноты в устах старого непреклонного бунтаря до сих пор производят трогательное впечатление. Но Герцен не услышал, да и психологически не в состоянии был услышать и признать их правоту. Конфликт между ним и молодым поколением зашел слишком далеко, недоразумений накопилось слишком много, и в разгар полемики и междоусобной борьбы для об'ективной исторической справедливости не было места. Герцен и ученики Чернышевского не поняли друг друга, и в области русских дел Герцен на закате дней своих не нашел ни ободрения, ни утешения и не увидел просвета. Но и с событиями западной жизни дело обстояло не лучше. Точка зрения, на которую стал Герцен после поражения революции 1848 года и которая с непревзойденной силой выразилась в доныне волнующих «Письмах с того берега», помешала ему правильно оценить развитие европейской жизни и способна была лишь питать его глубокий пессимизм и скептицизм. И в этом отношении между Герценом и Чернышевским также замечается глубокое различие.

Несмотря на то, что в отдельных местах Герцен подходил к материалистическому пониманию истории и к классовой точке зрения, он в общем и целом стоял на идеалистической точке зрения, и миросозерцание новейшего социализма осталось для него книгой за семью печатями [1]). Герцен был в этом смысле одним из эпигонов утопического социализма, но он

[1]) В „Развитии революционных идей в России" он пишет, например: „Разве мы не видим по временам, что одно слово, сказанное между прочим, нарушает равновесие народов, вызывает или оканчивает революцию?"

понял недостаточность утопических систем и страстно искал новых путей. Но так как ему не удалось целиком открыть их, а лишь смутно нащупать ведущую к ним дорогу, в нем развилось скептическое отношение к судьбам Запада, питавшееся отрыжкою старых славянофильских идей. Не поняв истинного смысла и движущих сил европейского общественного развития, он увидал в поражении революции 1848 года конец европейской истории, банкротство всех социальных сил Запада. В то время, как Маркс, а отчасти и Чернышевский усмотрели в этой неудаче лишь банкротство буржуазных партий и пролог пролетарского движения, Герцен, тесно связанный, как мы выше показали, исключительно с буржуазными демократами и не предвидевший исторических судеб пролетариата, поспешил поставить крест над всей европейской цивилизацией. Европа для него «падший и развратный мир», царство мещанства. «Мещанство—окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие». Куда идет человечество, неизвестно; вернее всего, что оно идет к полной незыблемости форм, к китайскому застою. Социализм окончательно убит. И легче представить себе Европу, возвратившуюся к временам средневекового католицизма, чем социальной республикой по рецепту Фурье или Кабе. «Добросовестно, с покорностью перед истиной» Герцен, на основании десятилетнего изучения Европы, заявляет, что ни близкого, ни хорошего выхода для нее он не видит. И чтобы не впасть в окончательное отчаяние перед развернувшейся перед ним пропастью, он, махнув рукою на Запад, возложил все свои надежды на Россию, которая с помощью своей общины и артели может непосредственно перейти к социализму, минуя капиталистическую фазу, и должна своим влиянием возродить одряхлевшую Европу [1]).

«Признать, что никакого выхода нет, есть тоже выход», любил говаривать Герцен, воображая, что в этом сказывается на-

[1]) До каких преувеличений доходил в этом отношении Герцен, видно из его слов, что жена его (временно увлеченная поэтом Гервегом) погибла „за прикосновение с гнусным Западом"! В отрицательном отношении Герцена к Европе играл, видимо, некоторую роль и чисто-личный элемент.

стоящий исторический об'ективизм. Он горячо рекомендовал познание истины и смирение перед ней. Но об'ективизм заключается вовсе не в этом. Маркс и Чернышевский также стояли за познание истины, действительности, но лишь для того, чтобы открыть в ее противоречивых элементах средства для борьбы с нею, а вовсе не для малодушного смирения перед ней. Но беда Герцена в том и заключалась, что кругозор его ограничен был буржуазной демократией, что он видел в западной жизни все кроме коммунизма, что он временную и естественную неудачу первых шагов всемирно-исторического движения принял за окончательное падение, после которого поднятие невозможно. Он не раз упрекал революционеров и в частности Бакунина (да и себя в молодости) в том, что второй месяц беременности они приняли за девятый. Но его самого с неменьшим основанием можно упрекнуть в том, что он принял первые симптомы беременности и связанные с ними болезненные явления за выкидыш и за смерть.

Пролетариата Герцен не знал и развития его не понимал. Он видел в нем страдающую, эксплуатируемую, но вместе с тем темную, бессознательную, дикую массу, способную лишь на стихийные взрывы, а не на планомерную борьбу за свое освобождение. Насколько он не понимал «незнакомого бога, тайком идущего за стенкой», видно из того, что он об'явил пролетария таким же мещанином, как и буржуа: «Работник всех стран—будущий мещанин»,—открытие, которое до сих пор приводит в восторг всех мещан крупного и мелкого калибра [1]). Покорный буржуазно-демократической традиции, он не выделял пролетариата из массы так называемого народа, который он об'явил «консерватором по инстинкту».

Разочаровавшись в буржуазных демократах, Герцен вместе с тем не верил в живые силы рабочего класса. Вот почему он чувствовал себя чужим в Европе, к которой старые симпа-

[1]) В своем непонимании рабочего класса он доходил до того, что в сущности подписывался под буржуазной клеветой на пролетариат когда предсказывал от его торжества гибель культуры. „Вам жаль цивилизации. Жаль ее и мне. Но ее не жаль массам“ („Письма из Франции и Италии“).

тии он потерял, а новых не приобрел. «Мы—чужие в этом мире, мы, собственно, живем не здесь, а дома... С каждым годом, с каждым событием мы становимся дальше и дальше от среды, в которой жить осуждены нашей деятельностью. Мы этого не скрываем» («Колокол», 15 мая 1862 г.). Таким образом, здесь повторилась та же трагическая двойственность, которая в русских делах превратила социалиста Герцена в выразителя умеренного либерализма и противника революционной молодежи. Здесь на Западе эта двойственность обрекла его на полную духовную отчужденность от жизни: социалист Герцен, в теории видевший все недостатки буржуазной демократии, в действительности вращался только в ее среде и оставался чужд великому движению пролетариата, которому и только которому он мог сочувствовать по всему складу своих убеждений.

Таким образом, он проглядел всемирно-историческое движение Интернационала, от которого остался совершенно в стороне. В сочинениях Герцена, посвященных всевозможным вопросам, мы почти ничего не находим об этом колоссальном движении, если не считать отдельных замечаний и писем «К старому товарищу» (т.-е. к Бакунину), но и здесь он подходит к этому движению в качестве холодного и скептически настроенного постороннего наблюдателя. В этих интересных письмах рассеяно много метких замечаний, заставляющих нас сожалеть о том, что этот большой и проницательный ум отошел от рабочего движения, которому он мог бы принести много пользы своими знаниями и практической мудростью. В своей критике анархических увлечений Бакунина Герцен почти вплотную подходит к марксизму, повторяя много аргументов последнего против анархического бунтарства. «Наше бремя,—говорит он нетерпеливому Бакунину, горевшему страстью разрушения,—именно время окончательного изучения, того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления так, как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой, и шли зря на-авось; мы на-авось не пойдем. Для п р и л о ж е н и я эмпирическая сторона и все внешние условия

осуществления выступают на первый план. «Мотивы могут быть истинны, но без достаточных средств они не осуществятся»... А пока сил нет, надо в тиши собирать полки и не грозить. Угроза при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад... Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и проповедников, ересиархов, фанатиков и цеховых революционеров... Понимание и обсуживание наше единственное оружие... Международные сходы (т.-е. с'езды Интернационала) только сильны проповедью; материально дальше отрицательной силы гревы (стачки) они не могут итти».

Возражая против антигосударственной программы Бакунина, Герцен высказывает целый ряд глубоких замечаний об историческом характере государства и показывает, что оно подобно другим формам угнетения приходит к своему самоуничтожению и самоотрицанию. «Между мнением Лассаля и проповедью о неминуемом распушении государства в федерально-комунную жизнь лежит вся разница обыкновенного рождения и выкидывания. Из того, что женщина беременна, никак не следует, что ей завтра следует родить. Из того, что государство форма п р о х о д я щ а я, не следует, что эта форма уже п р о ш е д ш а я. С какого народа в самом деле может быть снята государственная опека, как лишняя перевязка, без раскрытия таких артерий и внутренностей, которые т е п е р ь наделают страшных бедствий, а п о т о м спадут сами?»

В вышецитированных рассуждениях Герцена наряду с здоровым критическим духом чувствуется также неверие, скептицизм и усталость. Другие места этих интересных писем окончательно убеждают нас в том, что Герцен остался в них на прежней оппортунистической позиции и критиковал положения Бакунина не столько с точки зрения строгого исторического об'ективизма, сколько под углом отрицания революционных путей и классовой борьбы. «Проповедь нужна людям,—говорит он,—проповедь неустанная, ежели путная; п р о п о в е д ь, р а в н о о б р а щ е н н а я к р а б о т н и к у и х о з я и н у, земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде сапперов разрушения. А п о с т о л ы,

проповедывающие не только своим, но и противникам. Проповедь к врагу—великое дело любви».

В этих словах сказался весь Герцен, оторвавшийся от старого мира, но не сумевший целиком пристать к новому. Чернышевский тоже стоял за планомерную пропаганду, медленное накопление сил и систематическую подготовку к решительным действиям. Он также высказывался против частичных вспышек, подсказанных легкомыслием или отчаянием, но вместе с тем он стоял на классовой точке зрения, не стремился примирить непримиримое и не думал обращаться со своей проповедью одинаково к хозяевам и к работникам. В то же время ему чуждо было органическое отвращение Герцена к революционным методам. Напротив, он всегда решительно высказывался за энергичные способы действия и даже оправдывал эксцессы, без которых, по его словам, не обходится ни один серьезный исторический переворот. «Исторический путь,—говорил он,—не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность». Герцен же, как мы видели, после 1848 года разуверился в революционных путях. Об'ясняя причины своего сознательного оппортунизма, он между прочим писал: «Я знаю, что с религией демократии не совместно говорить что-нибудь о венценосцах кроме зла; признаюсь вам, что мне религия демократии так же не по сердцу, как религия пана Фиалковского и как религия «воссоединенного» Симашки. Демократическое православие так же не дает воли уму и жмет его, как киево-печерское» («Колокол», 1 января 1859 г.). А возражая «Молодой России», упрекавшей его в политическом оппортунизме, он говорил: «Мы давно разлюбили обе чаши полные крови, штатскую и военную, и равно не хотим ни пить из черепа наших боевых врагов, ни видеть голову герцогини Ламбаль на пике... Какая бы кровь ни текла, где-нибудь текут слезы» («Колокол», 15 августа 1862 г.).

Это разочарование в революционных выступлениях связано было с общим скептическим отношением Герцена к судьбам

Европы и с недоверием к творческим силам европейских наций. С этим же настроением связаны были мессианистические ожидания Герцена от России, сильно окрашенные славянофильским цветом. По мнению Герцена, спасти разлагающийся Запад, не имеющий собственных сил выйти из тупика, должна Россия с ее общинным землевладением; в этом отношении Россия призвана сказать миру новое слово и влить в жилы дряхлеющего Запада свежую кровь. (Эти-то взгляды Герцена имел в виду Маркс в своем известном примечании в первом издания I тома «Капитала», которое он, ввиду резкой формы, выбросил из дальнейших изданий «Капитала»). В русской литературе уже много писалось о спорах, происходивших по этому поводу между Герценом и Тургеневым, который защищал европейскую буржуазную цивилизацию от огульных и несправедливых нападок своего оппонента, и мы не станем здесь подробно останавливаться на этом вопросе. Мы хотим лишь подчеркнуть, что определенно-буржуазному либерализму Тургенева Герцен мог противопоставить только смутные славянофильские утопии, так что в этих спорах перевес явно был на стороне европейца Тургенева. Чернышевский так же решительно восстал против славянофильских увлечений и мессианистских чаяний Герцена, хотя и с другой точки зрения, чем Тургенев.

Свое отношение к ним он высказал в своей знаменитой статье «О причинах падения Рима». Не называя Герцена прямо, он резко выступил в этой статье против его «вздорных мечтаний», «риторического вздора», заставляющего его «совершенно забывать здравый смысл и факты», против «невежественных гипотез» о гибели цивилизации. Чернышевский указывал на то, что община существовала у всех народов на известной ступени развития, сохранение же ее в России свидетельствует лишь о нашей отсталости, о медленности и вялости исторического развития. Он протестует против идеализации первобытных форм, представляющих «просто смесь анархии с деспотизмом», и издевается над людьми, «любящими дешевым манером подсмеиваться над славянофилами, не замечая того, что сами не чужды коренной тенденции, из которой про-

исходит славянофильство». Разговоры о том, что Россия призвана обновить жизнь цивилизационного мира и внести в нее высшие элементы, которых сама она выработать не в силах, приводит Чернышевского в негодование. «Мы,—говорит он,—далеко не восхищаемся нынешним состоянием Западной Европы, но все-таки полагаем, что нечем ей позаимствоваться от нас. Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас... Европе тут позаимствоваться нечем, и не для чего: у Европы свой ум в голове и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники... Сама она гораздо лучше понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит, оживлять нам ее ровно уж нечем... Никаких оживлятелей не нужно ей. Она и своим умом умеет рассуждать и своими силами умеет делать, что ей угодно, и своих сил довольно у ней на все, что ей нужно делать».

И далее Чернышевский вскрывает основную ошибку Герцена, приведшую его к неправильной оценке европейской истории и к неосновательному пессимизму. Он указывает Герцену, что тот слона-то и не приметил, что, критикуя европейскую цивилизацию и декретируя ее мнимое банкротство, Герцен упустил из виду такую безделицу, как пролетариат, только начинающий выступать на историческую сцену. «Если даже и согласиться с вашим понятием (об истощении Европой своих сил),—об'ясняет Чернышевский Герцену,—все-таки выходит, что лишь самая ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны могла истощить свои силы, а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще,—только еще; авангард народа, среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действо-

вать, а главная масса еще и не принималась за дело. ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности. Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить».

В этих строках Чернышевский по сравнению с Герценом выступает перед нами в виде величайшего реалиста, понявшего смысл совершавшихся в Европе потрясений, сумевшего не впасть в отчаяние, а выделить из хаоса всеобщего развала и разглядеть зародыши новой жизни. Былой юношеский оптимизм Герцена, широкие надежды, с которыми он устремлялся в Европу, не выдержали сурового испытания действительности и быстро уступили место необоснованному пессимизму. В книге «С того берега», этом гениальном плоде разочарования и унылого раздумья, Герцен, говоря о выборе между блаженством безумия и несчастьем знания, выбирает последнее: «Я избираю знание, и пусть оно лишит меня и последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету, но с корнем вон детские надежды, отроческие упования! Все их под суд неподкупного разума!»

Но почему же знание, которое в руках таких людей, как Маркс и Чернышевский, оказывалось революционной силой, могучим тараном для ниспровержения китайских стен застарелых предрассудков, оказалось для Герцена источником безнадежного пессимизма и должно было лишить его последних утешений? Потому что под его «детскими надеждами» и «отроческими упованиями» не оказалось достаточно прочного реального фундамента, способного выдержать порывы исторической бури; потому что в основе этих надежд и упований лежала роковая двойственность: теоретически—преодоление буржуазно-демократических традиций, освобождение от них вплоть до анархических выводов, практически—пленение этими традициями, зависимость от них, ненахождение точки опоры для приложения своего критического рычага. Подобно ветхозаветному Моисею, Герцен был обречен на многолетнее блуждание по пустыне, усеянной обломками и могилами дорогих покойников, в страдальческих поисках не дававшейся ему истины. И грустное впечатление производит его элегия у по-

рога обетованной земли: «Это начало борьбы... это начало войны. Конца ее мы не увидим... вряд увидят ли младшие из юных. Туго развивается история, упорно защищается отходящее, медленно, смутно нарождается водворяемое... но самый процесс, самая драма исторической беременности полна поэзией. Всякому поколению свое, мы не ропщем на наш пай, мы дожили нѣ только до красной полосы на Востоке, но и до того, что враги наши ее видят. Чего же больше ждать от жизни, особенно когда человек, положа руку на грудь, с чистой совестью может сказать: и я участвовал в этой гигантской борьбе, и я внес в нее свою лепту?»

Это правда. Герцен участвовал в гигантской борьбе за освобождение человечества и внес в нее свою далеко не малоценную лепту. Несмотря на все свои блуждания и ошибки, он всегда имел в виду защиту страждущих и освобождение утнетенных. Вся жизнь Герцена, вся многогранная и красочная деятельность его, его душевные терзания, неустанное горение его духа, чистота его стремлений, его широкая человечность в лучшем смысле этого слова дают ему право на почетное место в социалистическом пантеоне. Интернационал в своем органе Egalité заявил, что не забудет Герцена, как и Герцен не забывал о своей связи с ним. Эта духовная связь несомненно существовала, несмотря на то, что в последние годы Герцен отошел от активного участия в движении. Смерть примиряет. И если при жизни Герцен иногда оказывался не в том лагере, в котором находились Чернышевский, Добролюбов и их последователи, то нам с исторического расстояния видно, что задача была у них одна, что стремились они к общей цели, хотя и шли к ней разными путями. Никогда ни одной фракции буржуазии, царство которой Герцен ненавидел всеми силами своей души, не удастся зачислить мятущегося искателя в ряды своих сторонников [1]). Герцен—наш, и об этом мы никогда не забываем, как бы отрицательно ни приходилось нам относиться к отдельным его шагам и заявлениям.

Герцен—наш, и мы никому его не отдадим.

[1]) Здесь я имел в виду комичные попытки г. Родичева искупаться в лучах герценовского солнца и выдать покойника за чистокровного „кадета“. (Примечание октября 1918 года).

М. А. Бакунин.

(К столетней годовщине со дня его рождения).

I

«У него был мрачный, подстерегающий взгляд хищного зверя и огромная грива, так что с первого раза он казался несколько похожим на льва» [1]). Так выражается про наружность Бакунина крайне враждебно относящийся к нему Иекк, снабжающий его даже несовсем уместным в устах социал-демократа эпитетом «политически-преступной натуры». Но взгляд Бакунина произвел также тяжелое впечатление на посетившую его в Локарно незадолго до его смерти госпожу А. Баулер, которая была его сторонницей и поклонницей. Когда она в первый раз очутилась с ним наедине, на нее, как она рассказывает в своих воспоминаниях, в упор глядели злые зеленые глаза знаменитого агитатора [2]). А между тем, друзья Бакунина рассказывают, что у него были добрые светлые глаза. Но эти добрые глаза, лукаво щурившиеся, когда он в веселой компании товарищей рассказывал забавные анекдоты, покрывая их густым громким хохотом, умели метать молнии, когда он приходил в раздражение или встречался с враждебными ему людьми. Этим об'ясняется оценка Иекка, а также первое впечатление госпожи Баулер: не забудем, что Бакунин сначала принял было ее за шпионку, подосланную к нему русской полицией. Гильом, личный друг Бакунина, бывший долгое время его правой рукой к Юрской федерации,

---

[1]) Интернационал. Изд. „Знание“, стр. 161.

[2]) Бакунин накануне смерти. „Былое“, 1907, июль.

рассказывал мне, что глаза Бакунина по временам производили на него впечатление бездонности: казалось, что в них скрыта какая-то великая тайна, и что он знает нечто такое, чего не ведает никто и о чем он никому не расскажет.

Но все, и друзья, и враги, согласно признавали, что в его внешнем облике (друзья прибавляли: и во внутреннем) имеется нечто исполинское, колоссальное, выражаясь образно—львообразное. Мы видели, что Иекк говорит о его сходстве со львом. В наружности и в темпераменте Бакунина было действительно нечто львиное, и у всех, приступавших к описанию этого человека, невольно срывается с пера сравнение с царем зверей. Головачева-Панаева говорит о нем, например: «Наружность Бакунина была эффектная; он был огромного роста, выражение лица энергическое, с густыми, длинными, темными, курчавыми волосами. Голова его напоминала голову льва» [1]). Впоследствии его волосы поредели и поседели, но общее впечатление от его личности не изменилось. И Герцен, встретившийся с ним в Лондоне в начале 60-х годов после побега его из Сибири, говорит о нем в своем известном описании: «Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой» [2]). Наконец, Вырубов, который в общем относится к Бакунину скептически, чтобы не сказать, насмешливо, также испытал от знакомства с ним аналогичное впечатление. «Личность Бакунина,—пишет он в своих воспоминаниях [3]),—и в физическом, и в нравственном отношении поражала своими размерами. Фигура его, огромная по всем трем измерениям, с курчавой головой, напоминала изображения Бога Саваофа в куполах церквей; ел он без разбора что попало—невероятное количество; чай, холодный и горячий, пил он целый день, папирос выкуривал несчетное число. При таком режиме, в особенности после долгого сидения в тюрьмах, простой смерт-

1) Воспоминания, стр. 84 отдельного издания.

2) Сборник посмертных статей, Женева 1874, стр. 201.

3) „Вестник Европы“, 1913, февраль, стр. 45 сл.

ный извел бы себя в несколько лет, а он ничего себе, прожил без особенных затруднений до 62 лет. С другой стороны, его несокрушимая железная воля, его до наивности доходившая доброта, его политические программы и боевые предприятия, его достоинства и недостатки—все это было необычно и чрезмерно».

Как мы видим, впечатление исполина производила не только наружность Бакунина, но и его духовная деятельность. Белинский в конце 1838 г., вспоминая о начале своей дружбы с Бакуниным, писал ему: «Ты приехал, переехал ко мне, разделил со мною все, что у тебя было, и еще так. что бо́льшую часть предоставил мне. Я тратил твои деньги—и это было для меня пыткою, но не потому, что меня тяготило твое одолжение, будущность которого была очень плоха со стороны внешней, в которой без денег плохо. Ты предвидел поездку в Премухино и хотел уберечь нужную для нее сумму денег. Я тебе сказал, что их нет, что нам нечем жить—и ты, вместо того, чтобы сделать хоть какую-нибудь гримасу, в грустном раздумье стал ходить по комнате и петь «без разуму люди», что я очень любил слышать. Никогда я не видал от тебя столько любви ко мне, в твоей непосредственности столько благородства, в твоей душе такого широкого размета, во всей твоей индивидуальности, и внутренней, и внешней, такой поэзии, такой л ь в о о б р а з н о с т и, как в этот день» [1]).

Уже в ранней молодости, во время знаменитых «всенощных бдений» в Москве, когда Бакунин посвящал своих друзей в тайны гегелевской философии, он пленял и очаровывал их мощным кипением своего духа, снедавшим его внутренним беспокойством и горячим стремлением к истине, в поклонении которой он не допускал никаких компромиссов, никаких уступок, никаких недоговоренностей. И этой черте он не изменял всю свою жизнь. Именно потому, что он сам кипел и горел, он заражал других и властно вел их за собой. Правда,

[1]) Приводимые здесь цитаты из писем Белинского взяты из интереснейших статей А. Корнилова „Семейство Бакуниных", печатавшихся сначала в „Русской Мысли", а затем вышедших отдельной книгой (1915 г.).

не всегда влияние его было прочным и продолжительным; сплошь и рядом друзья его ссорились с ним и отходили от него: подобно всякому пророку, уверенному в том, что он обладает полной истиной, он был нетерпим и требовал полного, безоговорочного с собою согласия, что вело естественно к конфликтам, особенно с людьми самостоятельной складки. Но пока он влиял на людей, влияние это было глубоким, сильным и в большинстве случаев благотворным.

А влиять на людей, пробуждать в их душе высокие стремления, зажигать их огнем вдохновения этот прирожденный «ловец человеков» умел и тогда, когда был еще зеленым юношей. Вот как выражалась о нем и о действии его проповеди его приятельница Наталья Беер [1]) в письме от 15 марта 1835 г. (Бакунину тогда не исполнилось еще 21 года): «Это один из тех людей, которых сила характера и пыл души могут многое... Его присутствие произвело на меня действие, в котором я никогда не буду в состоянии отдать вам полный отчет. Это был хаос, пропасть чувств, идей, которые меня совершенно потрясли; тысячу раз я принималась обдумывать, углублять эти вещи, и всякий раз я терялась в их лабиринте. О, это потому, что сердце и голова Мишеля это такие лабиринты, в которых не скоро найдешь руководящую нить, а искры, которые вспыхивают время от времени (ибо его сердце и голова—из огня), вам также незаметно воспламеняют и сердце, и голову».

Скажут, что это слова молодой экзальтированной девушки, быстро поддавшейся горячей проповеди юного пропагандиста. Но вот перед нами рассказ зрелого человека, ученого профессора санкскритского языка (правда, ему тогда было всего 25 лет). Бакунин встретился с ним, когда жил во Флоренции в 1864 г. и пытался основать свое первое тайное революционное «братство». Губернатис сначала упирался, не желая поддаться влиянию Бакунина и принять его анархические теории вместе с практическими планами. «Тогда,—рассказывает

[1]) Кстати, не с нее ли писал Тургенев портрет Натальи в „Рудине"?

Губернатис [1]),—он (Бакунин) пустил в ход все свое красноречие, немалое,—и убедил меня, что, ввиду мрачного заговора государств на зло общества, необходимо противопоставить другой заговор... Великий змий окружил меня с этой минуты своими фатальными кольцами; я немного противился еще, но, наконец, об'явил, что если дело пойдет на социальную революцию непосредственную, то я вступлю в тайное общество. Я возвратился домой в час пополуночи, попробовал лечь в постель, чтобы заснуть, но напрасно. Новые мысли так волновали мой мозг, что не давали мне лежать. Я встал с постели, ходил туда и сюда в страшном возбуждении по моим двум комнатам, ставшим отныне слишком тесными для нового одушевления (furore), которое овладело мною, обвиняя гнусность и бесполезность моей прошлой жизни, но об'являя громко и быстро самому себе, что я был бы тем более гнусен, если бы остался еще один час больше, с моими чувствами республиканскими и даже революционными, в моей официальной должности». Под влиянием Бакунина Губернатис отказался от государственной службы и вступил в тайное братство. Правда, он скоро порвал с революционной деятельностью, но в данном случае это нас не интересует. Для нас важно отметить, каким влиянием Бакунин пользовался даже на людей, психологически чуждых революции.

Тургенев, который в своем романе «Рудин» пытался изобразить молодого Бакунина, также указывает на эту сторону его личности.

Рудин случайно заезжает к взбалмошной богатой помещице и своей рельефной индивидуальностью, своим горячим словом сразу завоевывает симпатии молодежи, хозяйской дочери Натальи и учителя Басистова. «У Басистова чуть дыхание не захватило; он сидел все время с раскрытым ртом и выпученными глазами—и слушал, слушал, как от роду не слушал ни-

[1]) Рассказ этот помещен в автобиографическом предисловии де-Губернатиса к его „Биографическому Словарю современных писателей". Флоренция 1880. Цит. у Драгоманова в предисловии к „Переписке Бакунина", изд. в 1895 г. в Женеве.

кого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор ее неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел, и заблистал». Рудин говорил о том, что «придает вечное значение временной жизни человека». Тургенев также подчеркивает тот замечательный факт, что после беседы Бакунина сон бежал с глаз потрясенных слушателей. «Басистов целую ночь не спал и не раздевался: он до самого утра все писал письмо к одному своему товарищу в Москву, а Наталья, хотя и разделась и легла в постель, но тоже ни на минуту не уснула и не закрывала даже глаз. Подперши голову рукою, она глядела пристально в темноту; лихорадочно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто приподнимал ее грудь». Уезжая из гостеприимного дома после скандала с Натальей, Рудин по дороге заводит с провожающим его Басистовым разговор о свободе. «Басистов стиснул руку Рудину, и сердце честного юноши забилось сильно в его растроганной груди. До самой станции говорил Рудин о достоинстве человека, о значении истинной свободы (любимые темы молодого Бакунина),—говорил горячо, благородно и правдиво,—и когда наступило мгновенье разлуки, Басистов не выдержал, бросился ему на шею и зарыдал. У самого Рудина полились слезы». И не удивительно, что воспоминание о Рудине навсегда осталось для Басистова самым светлым пятном в его жизни, и впоследствии он говорил о нем: «А что касается до влияния Рудина, клянусь вам, этот человек не только умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе останавливаться, он до основания тебя переворачивал, зажигал тебя!»

Такое облагораживающее влияние молодой Бакунин оказывал на сестер Беер, на своих собственных сестер и братьев, на Боткина, Белинского и т. д.

Как известно, великий русский критик одно время развивался под прямым влиянием Бакунина, и влияние это было сплошь и рядом благотворно и способствовало самоопределению крупной личности Белинского. Его пленяло в Бакунине «кипение жизни, беспокойный дух, живое стремление к истине». Правда, между друзьями происходили часто конфликты вследствие диктаторских замашек Бакунина, требовавшего от

своих друзей безусловного согласия с ним во всех деталях, даже когда он менял свои взгляды. Белинский жалуется на то, что ему приходилось «стонать» под Бакунинским авторитетом, однако, прибавляет, что этот авторитет, хотя и был тяжел для него, но и необходим. «Нет, Мишель,—пишет он,—ты не навязал на меня свой авторитет: его наложило на меня могущество твоей мысли, бесконечность твоего созерцания. Теперь я знаю твои достоинства, знаю и твои недостатки: на первые смотрю с любовью и уважением, на вторые с снисхождением, как на зло необходимое и—я верю этому—преходящее... Я верю твоему прекрасному призванию, верю, что ты достигнешь своей высокой цели. В тебе играет глубокая, могучая жизнь; твое созерцание бесконечно, твоя сила громадна».

Характер Бакунина был соткан из противоречий. Поклонник неограниченной свободы и даже анархии, он в то же время отличался необычайной властностью и диктаторскими стремлениями; проповедник высоко-нравственных начал и борец за человеческое достоинство, он зачастую не разбирался в средствах борьбы, прибегал к несовсем дозволительным приемам и т. д., и т. п. Конечно, такие противоречия в большей или меньшей степени присущи каждому человеку, но так как в Бакунине все принимало громадный, резкий характер, то в нем эти противоречия особенно ярко били в глаза и особенно резали. Прекрасно изучивший его Белинский в своем известном письме от 12—24 октября 1838 г. удачно характеризовал эти противоречия бакунинской натуры. «Всегда признавал,—пишет неистовый Виссарион,—и теперь признаю я в тебе благородную, львиную природу, дух могучий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечные чувства, огромный ум; но в то же время признавал и признаю: чудовищное самолюбие, мелкость в отношениях с друзьями, ребячество, леность, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе насчет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других. Для меня эти противоречия составляют единое целое, одного человека. Ты—богатое соединение

самых прекрасных элементов, которые еще находятся в брожении и требуют большой разработки. Не мертвый абстракт, не логический труп, а олицетворенная философия Спинозы: ты пламенеешь неистощимою любовью к Богу, но Богу, как субстанции всего сущего, как к общему, оторванному от частных явлений, и еще никогда не любил ты суб'екты и образы индивидуальные. Как в индийском пантеизме живет один Брама, все рождающий и все пожирающий, а частное есть жертва и игрушка Брамы,—так и для тебя идея выше человека, его образ мыслей выше его непосредственности, и ты приносишь его на жертву всерождающему и всепожирающему Браме своему.

«Между нами есть что-то общее, это—разрушительный элемент... Сила, дикая мощь, беспокойное, тревожное и глубокое движение духа, беспрестанное стремление вдаль, без удовлетворения настоящим моментом, даже ненависть и к настоящему моменту, и к себе самому в настоящем моменте, порывание к общему вне частных явлений—вот твоя характеристика; к этому надо еще присовокупить недостаток з а д у ш е в н о с т и, Gemüthlichkeit, нежности, если можно так выразиться, в отношениях с людьми близкими к тебе... От этого-то ты так давил собою всех, и любовь к тебе всех и всякого была каким(-то) трудом. По крайней мере, я не умею иначе выразить моего чувства к тебе, как л ю б о в ь ю, к о т о р а я п о х о ж а н а н е н а в и с т ь, и н е н а в и с т ь ю, к о т о р а я п о х о ж а н а л ю б о в ь... Не подумай, чтобы я отрицал в тебе любовь; нет, я знаю, в сокровенной глубине твоего духа скрыт неиссякаемый источник любви; но эта любовь пока еще устремлена на абсолют, как на субстанцию, а не на явления. Твоя кровь горяча и жива, но она (если можно употребить такое сравнение) течет у тебя не в жилах, а в духе твоем».

Этот упрек Белинского в абстрактном характере бакунинской любви в известном смысле напоминает аналогичный упрек, который народники во время полемики с марксистами в начале 90-х годов делали первым русским социал-демократам. Но это мимоходом. Интереснее то, что Белинский про-

зорливо подметил основную черту бакунинского интеллекта, беспрерывное кипение и брожение его духа. В этом же замечательном письме он говорил: «В моих глазах, ты есть теперь не что иное, как выражение хаотического брожения элементов. Твое я силится выработаться, но как ему суждено выработаться в огромных формах, то, естественно, что эта разработка для тебя болезненна: в ней разрушение делается для созидания, гниение для новой производительности».

Так удачно охарактеризовал проницательный товарищ могучий процесс творческого брожения, совершавшийся в духовном мире молодого Бакунина. И кто знает! Когда через четыре года Бакунин, придя к определенному революционному миросозерцанию, выдвинул свою знаменитую формулу: «страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть»,—он, быть может, бессознательно для себя, вспомнил вещие слова своего друга, что в душе его «разрушение делается для созидания».

И при этом ему в высшей степени свойственна была практическая агитационная жилка. Спокойным теоретическим анализом, созерцанием развертывающейся у него на глазах истории Бакунин по самой сущности своего темперамента удовольствоваться не мог. Он непременно должен был вмешаться в самую гущу жизни, стать в первых ее рядах, занять самый опасный пост. Ни на минуту не оставлял его этот порыв к практической деятельности, носила ли она грандиозно-исторический или мелочно-повседневный характер. Как настоящий практик, он прекрасно сознавал, что из таких мелочей складывается жизнь и возникают крупные исторические события. Где бы он ни находился, в каких бы тяжелых личных или общественных условиях он ни очутился, будь это в дороге, во время бегства из Сибири, поездки в Швецию, на международном социалистическом конгрессе или в мирном швейцарском городке, всюду он старался заводить связи, закладывать первые нити организации, связывать подходящих на его взгляд людей между собою и с собою, устраивать транспорты запрещенных изданий, выпуск прокламаций, раздавать и собирать

адреса, шифры для тайной переписки и т. д., и т. п. Такая кипучая деятельность, переходившая подчас в непоседливость или, как выражался Герцен, «революционную чесотку», была непонятна таким скептически и созерцательно настроенным людям, как тот же Герцен, которого Бакунин тщетно пытался вовлечь в свои революционные затеи и конспирации. Но в том-то и дело, что скептицизм, эта житейская мудрость, «в которой умер наш друг Герцен» [1]), органически чужд был Бакунину. С юных лет он был уверен в своем призвании к великим историческим делам и в своей силе для выполнения этих дел. Уже в молодых годах он мечтал о служении человеческому роду, и это стремление не оставляло его всю его жизнь. И куда бы ни занесла его судьба бездомного бродяги, вечного профессионального революционера, он всюду чувствовал себя как у себя дома, сейчас же вмешивался в местные дела, проникался местными интересами, стараясь, впрочем, всегда подчинить их общим интересам всемирной революции в целом. Его в полном смысле можно было назвать гражданином вселенной, по крайней мере, гражданином вселенской революции. Никогда не ограничивался он достигнутыми результатами, а из каждой завоеванной позиции пытался сделать опорный пункт для дальнейших предприятий. Что при этом он совершал массу промахов, подчас трагического, а подчас комического свойства, это само собою разумеется. Но было бы в высшей степени несправедливо, как это делают некоторые противники Бакунина, останавливаться на одних его ошибках, на одних отрицательных сторонах его деятельности, упорно закрывая глаза на те плюсы, к которым, если и не сразу, то в конечном результате, привела его работа.

II.

В «Рудине» Тургенев, наряду с положительными и высокими чертами своего героя, изображает целый ряд его отрицательных и мелких сторон. Правда, не следует забывать, что Тургенев, придерживавшийся в политике умеренно-либераль-

[1]) Слова Бакунина в одном из его писем.

ных взглядов, органически не мог понять натуры Бакунина и даже пытался в своем романе выставить всю его деятельность, в том числе и деятельность в 1848 году, пустой и бесцельной. Быть может, невольно для себя Тургенев впал здесь в пасквиль, чем в свое время возбудил негодование в друзьях Бакунина за это шаржированное описание. Но вместе с тем, следует признать, что некоторые отмеченные им недостатки действительно присущи были Бакунину, хотя и не играли в его жизни такой определяющей роли и не занимали в его характере такого места, как это рисует Тургенев. На первом плане стоит несколько халатное отношение к чужой собственности, отсутствие усидчивости в работе, склонность к господству над личностью своих близких, стремление вмешиваться в их интимную жизнь и т. п. От этого Бакунину часто приходилось страдать. Правда, когда Тургенев говорит, что «Бакунин, занявший у него деньги... распространяет о нем самые пошлые и гадкие клеветы» (письмо к Герцену от 21 марта—2 апреля 1864 г.), или когда Герцен в письме к Огареву заявляет, что Бакунин «всегда любил быть стоком сплетней», то оба они сильно преувеличивают просто потому, что злятся на Бакунина за обличéние их либеральных увлечений. Но, несомненно, эти отрицательные черты у Бакунина были. Только, чтобы понять их, их нужно поставить не в ту перспективу, в которую их ставили его противники и недруги.

Конечно, Бакунин несколько легкомысленно относился к денежному вопросу. И Руге, и Фохт, и Герцен, и Тургенев в своих письмах или воспоминаниях все так или иначе упоминают об этой стороне его характера. Но следует иметь в виду, что Бакунин, принадлежавший к той породе людей, которые «чужую крышу кроют, а свою раскрывают», и сверх того, не получавший помощи от родных, которые относились к нему с удивительным бессердечием и холодностью, всегда нуждался в деньгах. При своих талантах он легко мог бы раздобывать нужные средства, если бы интересовался устройством личного благополучия. Но в том-то и дело, что о себе и своих удобствах он никогда не думал, а отдавал свои силы на пропаганду своих идей, на «общее дело». При этом Бакунин бесцеремонно

на мещанский взгляд занимавший деньги у знакомых, с еще большей легкостью отдавал их нуждающимся. И так делал он и в молодости, и в старости, когда у средних людей, даже вообще склонных к бессеребренничеству, невольно развивается известная потребность в комфорте, в устройстве своего угла. Раз только в своей жизни Бакунин поддался этому неодолимому и естественному влечению, когда на склоне дней принял денежную помощь от своего итальянского последователя Карло Кафиеро и попытался из революционного притона, устроенного последним в Локарно, сделать уютный уголок для своей семьи,—и как горько пришлось ему потом расплачиваться за эту минутную слабость! [1]).

Хорошо знавший его Герцен писал о нем: «В 50 лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный Bohémien с rue de Bourgogne [2]) без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с какой дети берут у родителей, без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам отдает всякому последние деньги, отделив от них что следует на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил; он родился быть великим бродягой, великим бездомником. Если бы его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаланд Наполеону о Боге: «Sire, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этом праве!» В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан».

Да и кто обвинял Бакунина в бесцеремонном отношении к чужой собственности? По большей части такие заскорузлые эгоисты, жившие только для своей утробы, как В. Боткин, и никогда ничего не сделавшие для ближнего, хотя бы этот

---

[1]) Об инциденте с „Баронатой" см. подробности в нашей статье „Последние годы жизни Бакунина" в журнале „Голос Минувшего" за 1914 год, май.

[2]) Цыган с Бургонской улицы (в Париже).

ближний и был ближним в буквальном смысле слова, т.-е. близким товарищем, а в данном случае даже учителем, которому сам Боткин когда-то писал: «Не говоря уже о том, что с тобою слито мое перерождение, что через тебя п е р в о г о узнал я те идеи, от которых спала повязка с моих глаз, и я вошел в свободную сферу бытия, где в первый раз свободно и легко вздохнул мой дух, утомленный скитаниями по темным излучинам рассудка и всяческими сомнениями». Головачева-Панаева, знавшая бакунинский кружок, рассказывает в своих воспоминаниях (стр. 137—138) следующий эпизод, имевший место в Париже в 40-х годах: «Раз за обедом он (Боткин) стал укорять в попрошайстве Бакунина, который, не получая денег из России, сидел без копейки и занял у него 50 франков. Меня это страшно возмутило, и я высказала, что приятелям Бакунина стыдно не помочь ему, когда они сами тратят по сто рублей на ужины и обеды для первой встречной на улице француженки. Все пришли в изумление от моих слов... Но, главное, все присутствующие знали, что Бакунин потому сидел без копейки, что спас одно русское семейство от голодной смерти; он заплатил долг соотечественника, который давно уже жил в Париже на трудовые гроши, но заболел, пролежал больной два месяца, вследствие чего задолжал, и его хотели посадить в тюрьму; тогда жена и дети должны были бы итти просить милостыню».

Белинский, который при всей своей нужде был человеком строго щепетильным в денежных вопросах и не хотел прибегать к помощи друзей, даже нуждаясь в отдыхе и подтачиваемый страшною болезнью (впрочем, эти друзья проявляли по отношению к нему то же преступное равнодушие, что и к Бакунину),—Белинский прекрасно знал эту черту Бакунина. Но посмотрите, с каким глубоким пониманием и всепрощением этот действительно моральный человек относился к недостаткам своего товарища. В 1836 году Бакунин, переехав в Москву, побывал у тогдашнего попечителя московского учебного округа, гр. С. Г. Строганова, который предложил ему, между прочим, перевести немецкий учебник истории Шмидта. Заказанного ему перевода Бакунин так и не выполнил, погло-

щенный более важными на его взгляд вопросами, т.-е. изучением и пропагандой Гегеля. Белинский много бранился с ним по поводу его безалаберности; но в конце концов он признал, что к Мишелю нельзя прилагать общежитейскую мерку. В письме от 1 ноября 1837 г. он пишет своему другу: «Прекрасная душа, неразумное и легкомысленное дитя, часто совсем пустой малый в своей внешней жизни, ты, Мишель, высокая душа, олицетворенная мощь в своей внутренней жизни». Впоследствии, уже после произошедшей между ними ссоры, Белинский оправдывал его не одним избытком его внутренней жизни, но и в самих условиях его внешней жизни находил такие стороны, которые оправдывали его безалаберность. В письме от 12—24 октября 1838 года Белинский писал ему: «Ты, Мишель, составил себе громкую известность попрошайки и человека, живущего на чужой счет... Но я понимаю твое легкомыслие и легкость в попрошайстве—их источник твое идеальное прекраснодушие. Да, тебе спросить у другого: «нет ли у тебя денег?»—все равно, что спросить: «нет ли у тебя щепок?», и ты берешь деньги как щепки, но зато ты и отдаешь их как щепки». И далее Белинский напоминает, что Бакунин обыкновенно сам предлагал приятелям деньги, не дожидаясь, пока те попросят, оставляя себе «полтину на четверку табаку и двугривенный на извощика». Буквально то же самое, что говорит Герцен. Белинский прежде даже видел в этой черте величие Бакунина (и до известной степени он, может быть, был даже прав), но впоследствии стал смотреть на дело проще; «все дело и вся разница была в том, что я понимал цену этого проклятого металла, трудность доставать его, а ты—нет».

Вероятнее всего, это легкомысленное отношение к денежному вопросу было одним из пороков, унаследованных Бакуниным от того класса, к которому он принадлежал по рождению. Уже во время пребывания в военном училище у Бакунина начало проявляться это легкомысленное отношение к деньгам, которое условия эмигрантской жизни впоследствии могли только усилить: он начал входить в долги, а товарищи по училищу заставляли его подписывать векселя, что вызвало

протест и упреки со стороны отца. Вот где начала развиваться его привычка, общая всему русскому дворянству, вскормленному рабским трудом и государственной казной. Этот же класс наделил его халатностью и ленью, неспособностью к усидчивой и упорной работе [1]).

Упомянутый выше инцидент с переводом истории Шмидта отчасти напоминает пресловутую историю с начатым и незаконченным переводом первого тома марксовского «Капитала». Если первая работа не была выполнена из-за увлечения философией Гегеля, то вторая оставлена по уговору Нечаева, который убедил Бакунина посвятить все свои силы «русскому делу». Как известно, Нечаев взялся уладить недоразумение с издателем Поляковым, у которого Бакунин успел уже взять аванс в размере 300 рублей. Но вместо этого Нечаев написал на бланке революционного комитета письмо Любавину, бывшему посредником в этом деле, с угрозою смерти издателю, в случае, если тот потребует у Бакунина возвращения выданного аванса. По всей вероятности, этот хулиганский поступок был совершен Нечаевым без ведома Бакунина, но последний за него жестоко поплатился, так как слух об этой истории дошел до Маркса, а последний раздобыл это письмо и пред'явил его следственной комиссии Гаагского конгресса, что повлекло за собою исключение Бакунина из рядов Интернационала не только за основание тайного Альянса социальных революционеров, но и за «бесчестный поступок», выразившийся в присвоении чужой собственности.

То же благородное всероссийское дворянство наградило Бакунина известным националистическим душком, в частности панславистскими поползновениями и особенно враждою к

---

[1]) Впрочем, здесь играли роль и условия эмигрантской жизни, и вынужденные переезды с места на место, и занятие революционными делами, которые каждый раз отвлекали его внимание в другую сторону. Благодаря этому, Бакунину не удалось закончить ни одной своей, более или менее крупной, работы, и большинство его трудов имеют вид разрозненных и необработанных отрывков. Одному критику, сделавшему замечание насчет такого характера его работ, Бакунин ответил: „Самая моя жизнь не более, как отрывок". И он был прав.

немцам и евреям. Панславистская нотка послышалась в первых же публичных выступлениях Бакунина, например, в его парижской речи 1847 года по польскому вопросу, вызвавшей его высылку из Франции, а затем в его деятельности 1848—1849 г.г. Не следует, конечно, забывать, что славянофильство было одним из первых проявлений пробуждения политических интересов в русском обществе после поражения декабристов. Оно не осталось без влияния даже на ярых врагов славянофильства, на западников, по крайней мере, таких, как Герцен и Бакунин. Правда, Бакунин никогда не доходил до таких славянофильских преувеличений, как Герцен, но и он был несвободен от многих типичных черт славянофильства. Одною из них было приписывание небывалых достоинств славянским народам, идеализация их первобытных отношений, восхваление их вольнолюбивых, антигосударственных стремлений и т. п., а другою, тесно связанной с первою и составляющею как бы оборотную сторону, это была органическая нелюбовь к немцам, которым приписывались все отрицательные черты российской официальной государственности. Как известно, Герцен постоянно повторял, что деспотизм петербургского периода был политикою не русскою, а немецкою; Бакунин в этом отношении не отставал от него. Он также утверждал, что русское государство по духу своему «вовсе не русское, а татарско-немецкое», что русское правительство «еще более немецкое, чем татарское», а знаменитые три кита русской официальной государственности не что иное, как «выродки чудовищного сочетания татарского варварства с немецкою политическою наукою», и т. д., и т. п. [1]).

Понятно, что немцев эта черта в русских революционерах раздражала. В частности, Маркс очень резко относился к славянским увлечениям Бакунина. Следует, впрочем, указать, что Бакунин никогда не унижался до разглагольствований о «гнилом западе», никогда не видел в западной жизни

[1]) Bakounine—Oeuvres, т. V, 246—251; Русским, польским и всем славянским друзьям. 9; Кнуто-германская империя, 105; Переписка 104, 122, 125: Петербург—„сам переодетый немец“, и т. д.

голого торжества «мещанства» и этим в выгодную сторону отличался от Герцена, который не понимал рабочего движения и не участвовал в нем, тогда как Бакунин, напротив, был его деятельным участником и ждал от него спасения человечества. Но не подлежит сомнению, что славянская жилка билась в Бакунине очень сильно, особенно до вступления его в Интернационал, и любопытно, что даже и в последующее время мы встречаем у него заявления, показывающие, что социальная революция интересовала его в значительной мере с точки зрения славянского освобождения. Это кстати дает нам возможность лишний раз проследить славянский источник бакунинского анархизма. Между прочим, присущий Бакунину своего рода революционный панславизм и был одною из причин, способствовавших возникновению среди европейских демократов диких слухов о том, что Бакунин является чуть ли не агентом русского правительства или во всяком случае работает в пользу русской автократии. Но, конечно, зачислять Бакунина без оговорок в ряды панславистов в общепринятом значении этого слова, его, который всегда заявлял, что разрушение всероссийской империи является главной задачей его жизни, было бы несправедливо.

Но, с другой стороны, нельзя забывать, что обвинение Бакунина в панславизме об'яснялось далеко не одною злою волею его противников и желанием скомпрометировать опасного конкурента. Дело в том, что сплошь и рядом в заявлениях Бакунина, наряду с революционными и интернационалистическими декларациями, чувствовался какой-то неприятный националистический славянофильский или, если хотите, панславистический душок. Можно ли представить себе теперь какого-нибудь русского социалиста, который стал бы проповедывать об'единение специально славянских народов, хотя бы на революционной и социалистической почве, и борьбу с немецким засильем или стал бы уверять, что «народное государство» немецких социал-демократов проникнуто духом «пангерманизма» и имеет своей целью насильственное порабощение славян, и т. п.? А у Бакунина все это было и естественно возбуждало подозрения среди социалистов, особенно немецких. Таким об-

разом, обвинение Бакунина в панславизме было не совсем безосновательно. Конечно, Бакунин не был панславистом в смысле Палацкого или агентов русского правительства. Но как бы революционны ни были его собственные стремления и как бы чисты ни были его личные побуждения, его панславистская и антинемецкая проповедь способна была лишь поселить смуту и вызвать совершенно нежелательную для него самого реакцию в политически невоспитанной аудитории.

Еще более дикое впечатление производят в писаниях и выступлениях Бакунина его антисемитические выходки. Евреев он об'единяет в общей ненависти с немцами. Ненависть к евреям, как и ненависть к немцам, имеет у него два источника: личный и идеальный. Первый об'ясняется тем, что среди его наиболее ожесточенных противников имелись и евреи: Маркс, Боркхейм, Гесс. Правда, социалисту-революционеру и анархисту, казалось бы, не приличествует шпынять своих оппонентов их расовым происхождением. Но раз позволительно зауряд охаивать немцев, то в такой же мере допустимо швыряться на каждом шагу словом «жид». Теперь, конечно, в социалистических кругах такое явление было бы совершенно немыслимо; но на Бакунине тяготело проклятие его классового происхождения, а может быть, и непродолжительного пребывания его на военной службе, да еще в западных губерниях. С другой стороны, не забудем, что ненависть к евреям, подобно антипатии к немцам, подсказывалась ему мотивами, так сказать, идейного порядка, а именно его анархизмом и враждою к государству. Евреев, как и немцев, он считал расою государственническою по существу и с злобою подчеркивал, например, что «все немцы и жиды в (Австрийской) Империи ищут отныне [1]) своего центра в Берлине», в ненавистном Берлине, этом средоточии новейшей «государственности»! Правда, другие анархисты, сподвижники Бакунина, не впадали из-за этого в антисемитизм, но зато они и не были отпрысками старого русского барства.

---

[1]) То-есть после франко-прусской войны 1870-1871 г.г.

Писания Бакунина, особенно его частные письма, переполнены самыми резкими и голословными нападками на евреев, которые производят странное впечатление в устах проповедника общечеловеческого братства. Между прочим, в одном из посланий к юрским р а б о ч и м встречается даже термин «жидо-масоны», процветающий теперь на столбцах черносотенных изданий. Оправдать эти выходки действительными или мнимыми клеветами, которые распространялись про Бакунина его противниками-евреями, никак невозможно. Ведь, например, первым источником клеветы, выставлявшей Бакунина агентом русского правительства, был российский посланник в Париже Киселев, который затем и в Италии продолжал вредить Бакунину, обвиняя его чуть ли не в делании фальшивых бумажек. Это однако же не побудило Бакунина огульно обвинить в смертных грехах весь русский народ. Но в том-то и дело, что по отношению к немцам и евреям он разделял предрассудки самых отсталых слоев русского народа и в особенности его командующих классов. Такова была шуйца Бакунина. Здесь он платил дань ветхому барскому Адаму. С другой стороны здесь проявлялась та его «беспардонность», которою он так дорожил и которую считал большим достоинством. Конечно, для Бакунина эти антисемитические и антинемецкие выходки не типичны; но все-таки очень жаль, что они кладут на его фигуру лишнее пятно.

К счастью, у истории есть своя бухгалтерия. При подсчете итогов она безжалостно отметает мелочь и сор и памятует лишь великие деяния людей, в деятельности которых плюсы далеко перевешивают их минусы. Так случилось и с Бакуниным. Современникам могли быть очень неприятны и тяжелы многие его отрицательные черты, но теперь, на расстоянии многих лет, мы можем если не умолчать о них и если не вполне пренебречь ими, то во всяком случае не приписывать им особенного значения и, памятуя о его заслугах, предать их забвению. История скорее вспомнит любовь Бакунина к людям, его честность, доходившую до наивности, когда он, например, обращался из Сибири к Каткову, уже начавшему показывать свои зубы, с увещанием выступить в защиту угнетенных поляков.

Она вспомнит его благородную чувствительность, возмущенную зрелищем угнетаемой Польши и бывшую, вероятно, одной из причин, побудивших его снять с себя офицерский мундир. Она вспомнит его детскую простоту, глубокую гуманность, облагораживающее влияние на окружающих, неустанную работу на пользу общую и, взвешивая его достоинства и недостатки, скажет вместе с Белинским: «Мишель во многом виноват и грешен; но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки—это вечно движущее начало, лежащее в глубине его духа».

III.

«Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление, везде—в кругу московской молодежи, в аудитории Берлинского Университета, между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Коссидьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России—где он исчез за страшными стенами Алексеевского равелина,—делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история». Эти слова Герцена далеко еще не исчерпывают всей деятельности Бакунина, ибо они написаны были в 1852 году, а между тем, главная деятельность неутомимого агитатора, обессмертившая его имя, началась после его побега из Сибири, охватывая 60-ые и первую половину 70-х годов. В это время он принял деятельное участие в польском восстании, затем приступил к организации тайных революционных братств с анархическим оттенком, вошел в Лигу Мира и Свободы, по выходе из нее организовал свой Альянс социальных революционеров, вступил в Интернационал, способствовал организации первых интернационалистических секций в Италии и Испании, оказал сильное влияние на деятельность социалистов в романской Швейцарии и во Франции, принял участие в Лионском восстании 1870 года и в Болонской попытке вызвать революционное движение в Италии в 1874 году и т. д., и т. п. Конечно, его поклонники увлекаются, когда уподобляют

его «Старцу горы», коего воля свершалась одновременно в Кордове и Багдаде. Но не подлежит сомнению, что влияние Бакунина на революционное движение конца 60-х и начала 70-х годов в романских странах, а также в России было очень велико, и что во многих отношениях это влияние сказывается до сих пор.

Что же гнало Бакунина по лицу всей земли, какая сила толкала его к участию почти во всех революционных движениях века, какой принцип вдохновлял его мятежную работу? Это было неискоренимое стремление к свободе, к полной и неограниченной свободе личности, ненависть ко всякому гнету, в какой бы области и в какой бы форме он ни проявлялся, врожденное бунтарское чувство, которое не позволяло ему примириться ни с чем установившимся, окостеневшим, отлившимся в прочные и, как ему казалось, неподвижные формы. Эта черта сказывалась уже в Бакунине во время его гегельянского периода, но тогда она носила еще абстрактный характер. Впоследствии, после его ознакомления с европейской жизнью и с происходившей на Западе социально-политической борьбой, его свободолюбие облеклось плотью и приняло более реальный и конкретный характер.

Это, впрочем, не помешало его мировоззрению сохранить в известном смысле абстрактные черты. И это вполне понятно. Каково было положение Бакунина на Западе в 40-х годах? В Европе были сложившиеся общественные классы с своей физиономией, своими стремлениями, своими интересами; перед ними стояли вполне определенные политические задачи. Что же мог сказать, что мог предложить р у с с к и й выходец Бакунин? По всей своей предшествующей подготовке, по самому своему положению Бакунин должен был чувствовать себя оторванным от европейской жизни с ее конкретной постановкой политических задач—оторванным не только в об'ективном, но, что еще важнее, в суб'ективном смысле, в смысле своего жизнеощущения и отношения к проблемам времени. Более или менее широкого и сформировавшегося среднего класса, игравшего тогда на Западе определяющую роль, в тогдашней России не существовало; там царило крепостное пра-

во, неограниченное полицейское государство и всеобщее рабство. Бакунин и мог дать только голый революционный протест. только стремление к полному, стихийному, слепому разрушению, протесту, бунту—без определенных б л и ж а й ш и х задач, для которых в тогдашней России не имелось ни об'ективных, ни суб'ективных предпосылок.

С другой стороны, всесторонний гнет всемогущего государства вызывал в виде естественной реакции, естественной при тогдашних социально-политических условиях России, бурное стремление к полной свободе личности, которая, как казалось, в рамках государства вообще не могла развиваться. Недаром. два крупнейших представителя анархизма выдвинуты были Россией—и именно докапиталистической Россией. Это Бакунин и Кропоткин. И характерно, что именно эти два человека являются чуть ли не единственными из русских политических деятелей, достигших мировой популярности и добившихся влияния во всех цивилизованных странах. Это произошло потому, что те политические и экономические условия, которые создают и питают анархическое настроение, именно в тогдашней России достигли наивысшего развития или, лучше сказать, еще сохранились в ней в наиболее неприкосновенном виде. Ни буржуазии, ни пролетариата, создаваемых и сплачиваемых крупной промышленностью—этой социологической основой новейших общественных движений, либерализма с одной стороны, социал-демократизма с другой,—в тогдашней России не существовало, не существовало, по крайней мере, в виде влиятельных и достаточно многочисленных общественных сил. Русские революционеры того времени были идеологами угнетенной массы м е л к и х п р о и з в о д и т е л е й, живших в условиях натурального или полунатурального хозяйства, в рабской зависимости и под ужасным политическим гнетом. Налицо были, таким образом, все элементы для стихийного бунтарства, естественно принимающего при таких условиях анархический характер.

Герцен рассказывает в своих воспоминаниях, что в 1847 году какой-то европеец, ехавший с ним на одном итальянском па-

роходе, заметил ему: «Вы, русские, или рабы, или анархисты». Это замечание до известной степени было верно, и выше мы пытались в общих чертах об'яснить, почему. Действительно, большинство первых русских революционеров в той или иной степени окрашены были анархическим цветом, кроме, пожалуй, Чернышевского и его кружка. Да и сам Герцен при всех своих в общем умеренно-либеральных тенденциях подчас склонялся к анархическим устремлениям. И такое положение дел с разными вариациями продолжалось до тех пор, пока «святая Русь» не ступила окончательно на дорожку, проторенную «гнилым Западом», и пока в ней не сложились общественные силы, показавшие возможность бороться с полицейским государством не только путем стихийных бунтов, но и путем планомерной политической деятельности, направленной на создание свободных учреждений.

Вот в каком смысле Бакунин был истинно-русским человеком, и вот в каком смысле его анархическая концепция создана была преимущественно влиянием тогдашних русских условий. Именно поэтому Бакунин очень мало понимал настоящий смысл развертывавшейся у него на глазах в Европе 40-х годов политической борьбы, хотя и принимал в ней непосредственное и довольно активное участие. Отсюда, между прочим, вытекало уже тогда сказавшееся в нем пренебрежительное отношение к парламентской деятельности, к участию масс в парламентских выборах и противопоставление парламентской борьбе непосредственной революционной борьбы, бунтов и восстаний. В этом отношении чрезвычайно интересно следующее место из его письма к поэту Гервегу, написанного летом 1848 года: «Я, впрочем, очень мало интересуюсь парламентскими собраниями; эпоха парламентской жизни, национальных и учредительных собраний и т. п. уже прошла; и если задать себе прямо вопрос, то каждый должен будет признать, что в сущности он уже не чувствует никакого интереса или чувствует лишь принужденный, воображаемый интерес к этим старым формам; я не верю в конституции и законы, самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить. Нам нужно нечто иное:

порыв и жизнь и новый беззаконный и потому свободный мир»[1]).

Это-то настроение и сближало Бакунина с Прудоном и отталкивало его от Маркса. Мы не станем рассматривать здесь вопроса, кто на кого больше повлиял, Прудон на Бакунина или Бакунин на Прудона. Сам Бакунин, который, по свидетельству Ралли, в частных разговорах заявлял, что считает себя не учеником, а учителем Прудона, в своих писаниях неоднократно подчеркивал, что его система является дальнейшим развитием и углублением прудоновской «анархии». Следует только отметить, что в то время как анархия Прудона имеет мелко-буржуазный характер и выражает недоверие и ненависть разоряющегося мелкого товаропроизводителя к государству, способствующему в современном обществе росту крупного капитала, Бакунин старался освободить анархическую идею от той мещанской и консервативной оболочки, какую она имела у Прудона, и придать ей чисто революционный и пролетарский характер. Таким образом, если между анархией Прудона и анархизмом Бакунина, с одной стороны, существует много точек соприкосновения, то, с другой, между ними лежит целая пропасть.

Известно, что Маркс, с которым наш соотечественник познакомился в 1843 г. в Париже одновременно с Прудоном, оказал решающее влияние на выработку социалистических взглядов Бакунина и обратил его внимание на экономические вопросы, которые до того находились вне круга интересов последнего. Бакунин, впрочем, сам всегда признавал влияние Маркса в этом смысле. Но в то же время Бакунин был гораздо более близок с Прудоном. Во-первых, потому, что у Маркса ему приходилось учиться, тогда как на Прудона он мог влиять, особенно в философской области; а во-вторых, Прудон привлекал его большею неопределенностью и бессистемностью своих взглядов,—что роднило его с Бакуниным, который тогда тоже находился в процессе брожения мысли,—а также своим скептическим отношением к полити-

[1]) 1848. Briefe an und von Georg Herwegh.

ческим партиям и отрицанием государственности,—что больше соответствовало настроению Бакунина, этого «скифа», «варвара», выходца из отсталой в социально-политическом отношении страны, и, таким образом, совпадало с его общим смутным революционизмом, неопределенным порыванием к бесформенному разрушению, к бунту, к протесту вообще.

С Прудоном Бакунина роднило поклонение свободе, имевшее у него, впрочем, менее абстрактный характер, чем у первого. Впоследствии, в расцвет своей политической деятельности в начале 70-х годов, Бакунин, определяя основную черту своей социально-политической физиономии, писал про себя:

«Я страстный искатель истины, заклятый враг зловредных фикций, тех фикций, которыми партия порядка, эта официальная, эта привилегированная и лично заинтересованная представительница всех мерзостей религиозно-метафизических, политических, экономических и социальных, прошедшего и настоящего, пользуется еще и ныне для того, чтобы держать человечество в рабстве и невежестве.

«Я страстный поклонник свободы, потому что только лишь при посредстве свободы считаю возможным полное развитие мысли, человеческого достоинства и счастья среди людей; но та свобода, которой я поклоняюсь, отнюдь не похожа на нашу свободу—ограниченную, формальную, строго отмеренную, регламентированную государством; последняя свобода есть нечто иное, как вечная наглая ложь, и в действительности представляет собою только привилегию меньшинства, основанную на всеобщем рабстве. Моя свобода не похожа на эту индивидуалистичную, эгоистичную свободу, всегда фиктивную, всегда двуличную, которую проповедует школа Жан-Жака Руссо и другие ей подобные школы буржуазного либерализма. Но одна лишь та свобода может по праву носить это великое имя, которая обеспечивает полное развитие всех физических, умственных и нравственных сил, находящихся в скрытом состоянии в организме каждого индивидуума; та свобода, для которой нет иных границ, кроме положенных ей законами самого нашего организма; иными словами, свобода отнюдь не

имеющая границ, так как естественные границы, не навязанные нам законодателем, имеющим свой престол там где-то вверху или рядом с нами на земле, а напротив, присущая нам, составляет часть нас самих, служит базисом нашего существования как физического, так и умственного и нравственного; таким образом, вместо того, чтобы служить нам границами, они являются для нас как бы естественным условием, как бы действительной логикой нашей свободы.

«Под свободой каждого я понимаю такую свободу, которая отнюдь не имеет пределом своим свободу другого, а, напротив, в последней находит лишь свое подтверждение, свое продолжение до бесконечности; свобода каждого не ограничена свободою всех; это—свобода через всеобщую солидарность, свобода при всеобщем равенстве, свобода торжествующая над грубой силой, над принципом власти (последняя никогда не была иным чем, как идеальным олицетворением грубой силы); под свободой я понимаю лишь такую свободу, которая, опрокинув все небесные и земные идолы, установит, наконец, и организует новое общество—солидаризованного человечества и организует его на развалинах всевозможных церквей и всевозможных государств[1]).

На основании этого принципа Бакунин восстал против «государственного социализма» Карла Маркса. С одинаковой ненавистью относился он и к консервативным попыткам сохранить существующие отношения, и к либерализму, стремящемуся создать сильное правовое государство для защиты режима частной собственности, и к «народному государству» немецких социал-демократов, к проектировавшейся ими революционной диктатуре пролетариата, к всеобщему избирательному праву, в которых он усматривал новую форму реакции, новое проявление ненавистного «государственного принципа». В полемике с марксистским крылом Интернационала Бакунин развил свою анархическую концепцию, сущность которой сводилась к отрицанию самого принципа государства во всех его возможных проявлениях, а также отрицанию возможности

[1]) „Парижская Коммуна и понятие о государственности", стр. 2.

и допустимости для рабочего класса политической борьбы, как компромисса с государственным принципом. Политическая централизация должна, по его словам, уступить место экономической централизации; в то время, как последняя составляет основное условие цивилизации и создает свободу, политическая централизация убивает ее, уничтожая собственную жизнь и самопроизвольное действие населения в интересах правительства и правящих классов. Социальная революция, на взгляд Бакунина, должна привести к уничтожению всякого принципа власти, к разрушению всех государственных учреждений. С уничтожением политической централизации, с распущением политического государства, получит применение принцип добровольной организации снизу вверх, единственный принцип, обеспечивающий, по мнению Бакунина, полную свободу личности и групп. Чтобы добиться в полной мере освобождения трудящихся, по его словам, «необходимо будет разрушить все существующие учреждения: государство, церковь, юридический форум, банк, университет, администрацию, армию и полицию, которые в действительности представляют нечто иное, как ряд крепостей, воздвигнутых привилегиею против пролетариата». После того, как земля и все орудия производства переданы будут ассоциациям трудящихся, общество организуется снизу вверх путем вольной федерации рабочих ассоциаций, сначала в коммуне, затем коммун в области, областей в нации, а наций в братский Интернационал. В этом смысле политическая и социальная революция должны совершиться одновременно и, как гласит устав основанного им Альянса социальных революционеров, всякая политическая революция, которая не ставит себе непосредственной цели окончательное освобождение труда из-под ига капитала, т.-е. социальный переворот, должна быть решительно отвергнута как реакционная затея.

А если это так, то никакой политики у социалистов не может быть, конечно, кроме той, которая ставит себе непосредственной задачей социальную революцию. И Бакунин выдвигает программу чисто экономической деятельности рабочего класса в стороне от государства, в стороне от политиче-

ских и национальных конфликтов. Ведя борьбу за непосредственные экономические требования рабочих, за сокращение рабочего дня и увеличение заработной платы, организуя профессиональные союзы и пропагандируя идею экономического освобождения рабочего класса, Интернационал повсюду подготовляет сознательную и организованную силу, которая в момент «революции, вызванной силою вещей (?)», овладеет движением, и даст ему желательное направление. Этою силою будет «серьезная интернациональная организация рабочих ассоциаций, способная заместить политический мир государства и буржуазии»[1]).

В этих рассуждениях Бакунин как бы предвосхитил взгляды возникшего в последующее время и нашумевшего в романских странах так называемого «революционного синдикализма». Существенными чертами последнего, как известно, являются: чисто экономическая агитация, профессиональная организация пролетариата вне и в стороне от государства и всех политических партий, невмешательство рабочего класса в политическую борьбу и в политические конфликты буржуазного общества, замена политической централизации централизацией экономическою, а политического мира—федерацией профессиональных союзов.

IV.

В одном и весьма существенном пункте программа Бакунина отличается от программы революционного синдикализма. Это вопрос о всеобщей стачке, которая в арсенале революционных синдикалистов занимает кардинальное место. В сочинениях Бакунина очень много говорится о стачках, которым он придает громадное значение,—впрочем, главным образом (и это характерно для его миросозерцания) с точки зрения развития в рабочих бунтовского настроения. Но мы не найдем у него ничего о всеобщей забастовке, которая впоследствии получила значение чуть ли не панацеи в рядах как

[1]) „Политика Интернационала“ в сборнике „Историческое развитие Интернационала“, Цюрих 1873, стр. 66.

анархистов, так и революционных синдикалистов. Правда, первый же конгресс бакунинского Интернационала, выделившегося после исключения Бакунина на Гаагском конгрессе старого Интернационала в 1872 г., принял в 1873 г. резолюцию, признававшую всеобщую забастовку главным средством социальной революции. Но, повторяю, у самого Бакунина развития этой мысли мы не найдем. Его внимание приковано, главным образом, к стихийным восстаниям и бунтам, которыми сознательные революционеры должны воспользоваться для того, чтобы слить разрозненные вспышки воедино и превратить их во всеразрушающую социальную революцию. Последнюю он мыслит, главным образом, как ряд преимущественно крестьянских бунтов, направленных против государства и его органов и сопровождающихся сожжением всяких владельческих грамат, официальных бумаг, документов и т. п. Сын крестьянской страны, идеолог не столько современного крупно-промышленного пролетариата, сколько мелких производителей отсталых в экономическом отношении стран, он всегда находился под влиянием воспоминаний о бунтах Стеньки Разина и Пугачева, смысл которых он толковал совершенно неправильно. Эти типичные протесты отсталых масс, закрепощаемых полицейским государством, протесты, в которых деятельное участие приняли даже неоседлые кочевые элементы, стоящие на самой низкой ступени экономического и политического развития, Бакунин страшно идеализировал, рассматривал как образцы чуть ли не сознательного анархического движения и ставил в пример революционной молодежи. Это лишний раз только показывает, под влиянием каких исторических событий и социальных отношений в сильнейшей степени складывались взгляды Бакунина, и к какой стадии общественного развития приспособлена была его теория. Крепостное крестьянство, протестующее против феодального режима, отсталые массы, вымещающие в диких вспышках испытываемый ими гнет и лишения, наконец, порожденные полицейским государством разбойничьи элементы, становящиеся во главе бунта полуоседлых-полукочевых масс, вот социальные элементы, наложившие неизгладимый отпечаток на по-

строения и чаяния Бакунина. В этом отношении он был истинным сыном своей отсталой крестьянской страны с ее полицейским государством, с ее обыкновенно пассивной и смиренной крестьянской общиной, по временам прорывавшейся в русском бунте, «бессмысленном и беспощадном», с ее нигде невиданным крепостным правом, граничившим с рабством, с ее почти полным отсутствием основных элементов «благоустроенного» буржуазного государства и в частности с отсутствием способного к планомерной организации и систематической социально-политической борьбе рабочего класса. Не забудем, что взгляды Бакунина сложились в то время, когда в России царило еще в полной силе крепостное право и полицейское государство. А этим сказано много, если не все.

В Европе Бакунин натолкнулся на растущий и развивающийся рабочий класс, возмущение которого против капиталистического режима носило совсем иной характер, чем стихийные бунты крестьян. Бакунин,—правда, не сразу,—уразумел историческое значение рабочего движения, но понял его по своему и взглянул на него сквозь призму своих крестьянско-бунтарских понятий. В применении идей, почерпнутых из идеализации крестьянских бунтов, к движению и задачам современного промышленного пролетариата и заключается оригинальная черта Бакунина, которая должна была доставить ему временный успех среди революционеров в странах с преобладающим сельским населением и зачаточным развитием капитализма. И действительно, бакунизм успел завоевать на известное время Испанию, Италию, часть романской Швейцарии, населенную кустарями, занятыми в часовом производстве, тогда как Бельгия, Голландия и часть Франции, временно подпавшие под влияние бакунизма, скоро от него освободились, как только в этих странах после непродолжительной заминки возобновилось массовое рабочее движение. Это случилось приблизительно в середине 70-х годов. Но и Италия с Испанией, по мере того как в этих странах все сильнее развивалось современное капиталистическое производство, все больше выходили из-под влияния бакунинских

идей, и с начала 80-х годов XIX века анархизм в этих странах начал все более вытесняться социал-демократизмом.

Преобладание крестьянской идеологии в социально-политическом мировоззрении Бакунина было одною из главных причин, способствовавших возникновению теории так называемой «пропаганды фактами». Народная масса, по мнению Бакунина, т.-е. та народная масса, которая рисовалась его воображению и в которой преобладал элемент «чернорабочего люда», «чернорабочей черни»,—т.-е. крестьянства и низших слоев городского простонародья, только что выделенных крестьянской массой,—эта народная масса способна, по его словам, воспринимать идеи только в конкретной, фактической оболочке. «Народ мыслит фактами, а не словами,—говорит Бакунин,—он большей частью презирает слова. Поэтому надо убеждать его фактами, а не абстрактно-логическими заключениями». Только отдельные лица действуют под влиянием отвлеченных идей; массы же обыкновенно поддаются силе и логике фактов, так как в большинстве случаев они понимают и имеют в виду лишь свои непосредственные интересы или страсти данной минуты. Отсюда Бакунин делал, между прочим, тот вывод, что вести агитацию среди рабочих необходимо на почве их ближайших, насущных потребностей. Эту идею впоследствии усвоили русские бакунисты 70-х годов, бунтари или народники, которые применили этот метод сначала к крестьянству, а затем с большим успехом и к рабочим; этою же идеей впоследствии руководилась русская социал-демократия, хотя и не сопровождала ее теми комментариями, с которыми она появляется у самого Бакунина и у его ближайших последователей.

В применении к крестьянству Бакунин делал из своей идеи следующие выводы. Расшевелить крестьянскую массу и подорвать ее предрассудки невозможно ни отвлеченной пропагандой революционеров, ни даже декретами революционного правительства, если бы таковое водворилось в городах. Системе революционных декретов он противопоставлял систему революционных фактов, по его словам, единственно действительную и верную. Ни приказами, ни увещеваниями с косной и

недоверчивой сельской массой ничего не поделаешь; необходимо вызвать самодеятельность самих крестьянских масс, снять с них государственный гнет и таким образом способствовать их вольной организации снизу вверх, а, главное, показать им наглядный пример. Наиболее практичным, по его мнению, было бы появление в деревнях революционных дружин, состоящих по возможности из рабочих, так как рабочие из всех классов общества ближе всего стоят к крестьянству. Не ограничиваясь словесной пропагандой, эти дружины должны показать крестьянам наглядный пример «социальной ликвидации»: они должны захватить и, если нужно, разрушить правительственные здания, сместить административный персонал, конфисковать правительственные капиталы, сжечь все официальные бумаги и всякого рода документы, в которых в концентрированном виде воплощена эксплуатация народа высшими классами, и призвать крестьян к свободной автономной организации. Эта тактика лишь отчасти была усвоена и применена русскими бунтарями, но зато почти в полном виде осуществлена итальянскими бакунистами во время известной Беневентской попытки в 1877 г. (между прочим, в ней принял участие наш известный соотечественник Степняк-Кравчинский). Так сложилась анархическая теория пропаганды фактами, расчитанная, главным образом, на крестьянскую массу, расшевелить которую иными средствами бунтари не считали возможным. (Впоследствии она выродилась в систему индивидуальных террористических покушений).

Все это весьма характерно для выяснения вопроса о происхождении бакунистских взглядов и об их социологической основе. Бакунина никак нельзя считать теоретиком новейшего пролетариата, что между прочим вынужден признать и его последователь Фриц Брупбахер в недавно вышедшей книге «Маркс и Бакунин» (Мюнхен, 1913 г.). Система же его в значительной своей части представляет идеологическое выражение стремлений и настроений аморфных социальных масс, удобно об'единяемых в таком широком и расплывчатом понятии, как «народ». Бакунин и взял на себя задачу выразить «народные инстинкты» и открыть свой идеал в «идеалах на-

рода», ибо, по его утверждению. «народные массы носят в своих более или менее развитых историей инстинктах, своих насущных потребностях и своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации» [1]).

А так как в понятие «народ» он включал самые разнообразные социальные элементы, начиная от крепостного крестьянина и кончая рабочим современной крупной промышленности, то совершенно очевидно, что система, которая хотела выражать инстинкты, стремления и идеалы всего этого пестрого социального конгломерата, и не могла быть иной, чем та, которую выработал Бакунин. Она должна была взять у всех этих элементов то, что было им общо, т.-е. смутный протест против экономической эксплуатации и политического угнетения, а также стремление сбросить с себя этот гнет. Это естественно приводило его к построению анархической программы в бунтарской тактики. Беря за скобку инстинктивные стремления всех этих масс, он и получил свою «социальную ликвидацию».

После всего того, что мы сказали о связи идеологии Бакунина с идеологией крестьянской, о его культе народных инстинктов, о его бунтарских симпатиях, можно заранее предвидеть, что к так называемой «рабочей интеллигенции» он должен был относиться скептически, если не прямо отрицательно, и что все свои симпатии он должен был отдавать лумпен-пролетариату—этому продукту разложения докапиталистических форм производства. С другой стороны, следует указать, что на это отношение Бакунина к различным категориям пролетариата не мог остаться без влияния тот факт, что лумпен-пролетариат, пополняющийся, главным образом, путем деревенского отхода, стоит гораздо ближе к крестьянству и по своей психологии, и по низкому уровню потребностей, чем рабочая интеллигенция. Вместе с тем здесь, вероятно, действовал пример России, где в то время пролетариат был в значи-

[1]) „Государственность и анархия", стр. 165.

тельной мере представлен именно лумпен-пролетариатом, составившимся из массы бывших дворовых людей и сбежавшихся в города крестьян.

Еще в 40-х годах, как это видно из его известного письма к Анненкову, Бакунин презрительно отзывался о деятельности Маркса и его сподвижников, якобы превращавшей рабочих в самодовольных резонеров и заражавшей их буржуазными предрассудками. Борьба в Интернационале с женевскими квалифицированными рабочими должна была еще более обострить это отношение. В своей брошюре «Всесветный революционный союз социальной демократии» (1871 г.) Бакунин дает своеобразную оценку различных категорий пролетариата, причем особенно неблагоприятно относится к наилучше поставленным категориям рабочих, которых он не обинуясь зачисляет в разряд «вредной рабочей аристократии». Но, вопреки утверждениям Бакунина, в действительности социалистическое движение повсюду охватывает прежде всего как раз наиболее благоприятно поставленные категории рабочих, а вовсе не те, которые находятся в наиболее угнетенном положении. Да и первые кадры Интернационала в значительной степени составились как раз из рабочих, занятых в тех отраслях промышленности, где рабочий день был короче и заработная плата выше. Столь же неосновательно его утверждение, что рабочие, производящие предметы роскоши, настроены антисоциалистически и «буржуазно». Бакунин мог вспомнить хотя бы знаменитое движение лионских ткачей шелка в 1831 г., которое было первым крупным проявлением современной классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией,—мог бы вспомнить тем легче, что на первый же конгресс Интернационала, в котором ему пришлось участвовать, а именно на Базельский, он явился с мандатом от лионских размотчиц шелка. Да и вообще, говоря о «вредной» рабочей аристократии, он сознательно, а может быть, и бессознательно смешивает в этом понятии две совершенно различные категории: сторонников буржуазной кооперации, в частности тех прудонистов, с которыми ему и Марксу приходилось воевать в Интернационале, а с другой стороны, представителей действительной ра-

бочей интеллигенции, вся вина которой заключается только в том, что она не принимает анархического символа веры и не хочет отказываться от орудия политической борьбы.

Бакунин не так часто употребляет выражение «пролетариат» и «рабочий класс», как слова «чернорабочая среда», «чернорабочий люд» и «чернорабочий народ». Последние выражения больше ему нравились и более соответствовали всей его социальной концепции, во-первых, потому, что термины «люд» и «народ» гораздо более подходили, как мы уже видели, к его общему миросозерцанию, а, во-вторых и главным образом, потому, что определением «чернорабочий» конкретнее подчеркивались его симпатии и чаяния. И до известной степени он был прав, по крайней мере, теоретически: для его бунтарских планов, для вспышкопускательных предприятий как нельзя более подходили именно деклассированные элементы. А ведь лумпен-пролетариат и представляет деклассированную часть пролетариата и особенно крестьянства. Процесс капиталистического развития, на первых своих стадиях разоряя массами мелких ремесленников и крестьян, создает многочисленные кадры лумпен-пролетариата, способного к диким стихийным вспышкам, но не способного к планомерной организации и всесторонней защите своих классовых интересов. Наоборот, дальнейшее развитие капитализма, а именно развитие высшей его формы, т. е. новейшей крупной промышленности, порождает современный индустриальный пролетариат с его организацией, сознательностью и систематической борьбою за полное освобождение труда. Бакунин, верный своей идеализации первобытных стихийных народных возмущений, выворачивает вопрос наизнанку и усматривает главный фактор социального освобождения не в развитых рабочих крупной индустрии, а как раз в несчастном лумпен-пролетариате. Таким образом, он открывает новое преимущество экономически отсталых стран, находящихся в переходной фазе капиталистического развития, к которой он и приспособил свои социальные теории.

«В Италии,—говорит он,—существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большей частью безграмотный и

поголовно нищенский пролетариат, состоящий из двух-трех миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников и около двадцати миллионов крестьян-несобственников... Может быть, нигде так не близка социальная революция, как в Италии... В Италии не существует, как во многих других странах Европы, оседлого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в некоторой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. Особенно в Германии и Швейцарии таких работников много; в Италии же, напротив, таких работников мало, так мало, что они теряются в массе без малейшего следа и влияния. В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором г.г. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов в Германии, отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции» («Государственность и Анархия», стр. 5—7).

Что Германия и Швейцария выделены Бакуниным в качестве стран, где имеется особенно много «буржуазно» настроенных рабочих, это совершенно понятно. Именно здесь Бакунин натолкнулся на самое решительное сопротивление его анархической пропаганде. Если он позабыл отнести сюда же и Англию, пролетариат которой он, пожалуй, с большим основанием мог бы упрекнуть в буржуазности, то случилось это несомненно потому, что он с величайшей симпатией относился к чисто экономической деятельности английских трэд-юнионов, ошибочно сближая ее с своим анархическим отрицанием политики. Германия же и отчасти Швейцария были отечеством политической организации рабочего класса. Но и с другой стороны Бакунин ошибся: лумпен-пролетариат не оправдал его надежд. Он не пополнил рядов Интернационала и не произвел никакой социальной революции. И во время

Бакунина, и после него главная роль принадлежала все-таки тем категориям рабочих, которых он презрительно относил к «вредной» рабочей аристократии, считая ее склонною чуть ли не к измене своему классу и к переходу в буржуазный лагерь. Само собою разумеется, что и слова Бакунина (имеющего, вероятно, в виду известное место из «Коммунистического Манифеста») о мнимом «глубочайшем презрении» социал-демократов к лумпен-пролетариату также содержат немалую долю преувеличения и подсказаны ему полемическим увлечением: оценивать историческую роль какой-нибудь социальной группы и на основании этой оценки осудить ее, хотя при этом глубоко сожалея о ее несчастном положении, вовсе не значит относиться к ней «с величайшим презрением».

Если среди пролетариата Бакунин возлагал главные надежды на деклассированный лумпен-пролетариат, то среди буржуазного мира он возлагал их на деклассированную интеллигенцию. Отсюда вытекала его «отщепенская» психология, как раз соответствующая положению революционной интеллигенции, по рождению принадлежащей к господствующим классам общества, а по своей деятельности враждебно им противостоящей. Выходцев из буржуазного класса, всецело отдавшихся делу освобождения пролетариата, Бакунин зачислял, наряду с передовыми рабочими (передовыми, конечно, с его точки зрения), в разряд «полезной и благодетельной» аристократии—в отличие от вышеупомянутой «вредной». И если одним из преимуществ Италии он, как мы видели, считал наличность в ней многочисленного нищенского пролетариата, то другим ее преимуществом он признавал наличность деклассированной интеллигенции. В известном письме к Франциско Мора (1872 г.) он, между прочим, говорил: «Италия с Испанией является, быть может, самой революционной страной. В Италии есть то, чего недостает другим странам: пылкая энергическая молодежь, совершенно выбитая из колеи, без видов на карьеру, без выхода, которая, несмотря на свое буржуазное происхождение, не истощена морально и интеллектуально, подобно буржуазной молодежи других стран. Теперь она, очертя голову, бросается в революционный социализм со

всей нашей программою, с программою Альянса»[1]). Это почетное преимущество наряду с Италией разделяла у Бакунина и Россия. В письме к Герцену от 28 октября 1869 г. он, заявив своему корреспонденту, что на Западе он верит единственно в мир рабочих (каких рабочих, мы уже знаем), прибавляет, что в России он верит только в «мир мужицкий и грамотный мир беспардонных юношей, не находящих себе ни места, ни возможности занятия в России,—этой сорокатысячной фаланги, сознательно или бессознательно, т.-е. по положению, принадлежащей революции».

Сама по себе революционная молодежь слаба и беспомощна,—говорит Бакунин,—но она может сыграть колоссальную роль в народном движении, придав ему сознательность и организованность. Совершенно очевидно, что, указывая революционной интеллигенции такое назначение, Бакунин имел в виду только отсталые страны, где не существует самостоятельного рабочего движения, где пролетариат вообще не играет серьезной роли в расчетах революционеров, где последним приходится главным образом возлагать свои надежды на крестьянскую массу. Если на Западе проводником социалистических идей в крестьянство мог служить пролетариат, то в России того времени рабочий класс был еще слишком слаб, во всяком случае настолько слаб, что в построениях крайних демократов ему не отводилось значительного места. И если Бакунин приписывал такое определяющее значение итальянской молодежи, то революционной интеллигенции в России он предназначал еще более грандиозную задачу. Здесь она должна была сыграть роль революционного бродила и чуть ли не основного творческого фактора в деле народного освобождения. И не только должна была, но Бакунин уверял, что она в состоянии будет выполнить эту задачу. «Кто сумеет организовать и направить эту революцию?»—спрашивает он и, не колеблясь, отвечает: «молодежь». Эта молодежь, организовавшись, сделается «безустанным и

[1]) Напечатано в Приложении к известной брошюре Энгельса-Лафарга „L'Alliance de la Démocratie Socialiste", 1873, стр. 135—7.

деятельным посредником между нуждами, инстинктами, неодолимой, но еще не сознанной силой народа и революционной идеей» [1]). И было вполне естественно, что, когда Герцен напал на русское молодое поколение в конце 60-х годов, Бакунин решительно выступил в его защиту.

В чем же коренилась эта симпатия Бакунина к деклассированным элементам, которым в его построениях отводилась такая значительная роль? Во-первых, он сам был законченным образчиком этой породы. Выходец из богатой барской семьи, он постепенно совлекал с себя ветхого Адама и, погрузившись с головой во все перипетии европейских революционных движений, постепенно превратился в профессионального революционера, не знавшего никакой другой страсти, кроме революционных конспираций. Он был одним из самых ярких представителей этой социальной группы и, порвав с буржуазным миром и со всеми условиями буржуазного существования, он в силу естественного психологического закона должен был сильно преувеличить историческое значение той социальной категории, в ряды которой вошел. И недаром он в России, кроме крестьянской массы, признавал серьезной прогрессивной силой только деклассированную интеллигенцию, про которую он выражался так: «она состоит из бесчисленного множества лиц всех сословий,... оторвавшегося от сословий и от всех признанных положений в России, ненавидящих настоящее, готовых отдать жизнь свою за будущее, живущих завтрашним днем и, так сказать, на воздухе,—бездомная, странствующая церковь свободы, разбросанная и заграницею, и по целой России, но живущая в тысячу раз действительнее, чем все так называемые полезные люди» [2]).

Во-вторых, его анархическая программа и бунтарские планы требовали именно деклассированных элементов. Последние благодаря своему образованию, сплошь и рядом, правда, весьма односторонне-

---

[1]) Четвертая речь на Бернском Конгрессе Лиги Мира и Свободы. См. „Историческое развитие Интернационала“, стр. 353 – 355.

[2]) Русским и т. д. друзьям, стр. 15—16.

му и рудиментарному, способны играть руководящую роль в революционном движении масс, особенно в тот период, когда эти массы не обладают еще достаточным политическим опытом и как нельзя более подходят для пополнения заговорщических штабов, которыми обыкновенно окружают себя такие делатели революций, как Бакунин. С другой стороны, в людях, принадлежащих к деклассированной интеллигенции, не имеющих, как говорил Бакунин, ни надежды на карьеру, ни выхода, революционная страсть, протест против общества, выбросившего их из своей среды и обделившего их, достигает небывалого напряжения, вселяет им «чорта в тело» [1]), развивает в них революционную нетерпеливость и наклонность к самым головоломным, отчаянным предприятиям. Правда, многие представители этого умственного пролетариата, для которых пролетарское состояние является часто временным, преходящей принадлежностью бурной юности, впоследствии примиряются с буржуазным обществом и, в качестве бывших, раскаявшихся революционеров, занимают в нем даже выдающееся положение. Так и случилось со многими бывшими участниками бакунинских конспираций. Но это ничуть не мешает им в свое время, в пору розовой и мечтательной юности, проявлять интенсивное бунтовское чувство, не только не мешает, а, может быть, даже обусловливает его, как естественную дань пылкой молодости, от грехов которой они затем с тем большим азартом отрекаются. Наконец, не забудем, что в состав этой деклассированной интеллигенции входят такие безусловно благородные, честные и преданные люди, как, например, Карло Кафиеро, у которых в жизни бывает только одна любовь, одно увлечение и которые знают одну лишь пламенную страсть, одной лишь мысли вдохновенье. Эти люди оказываются именно в силу своей искренности и глубины своего сочувствия ко всем угнетенным и оскорбленным самым подходящим элементом для всякого рода заговорщических планов, рассчитанных на немедленное, безотлагательное уничтожение зла и освобождение всех страждущих.

[1]) Любимое выражение Бакунина для характеристики настоящей „революционной страсти".

Кроме того, на бакунинскую оценку социального значения деклассированной интеллигенции не остался без влияния пример России, Италии и вообще экономически отсталых стран [1]). В этих странах отсутствует или недостаточно проявил себя промышленный пролетариат, эта главная основа и деятель социалистического движения. В таких странах не только кажется, но и действительно бывает так, что деклассированные элементы являются главными, если не единственными, представителями социально-революционных стремлений. И даже, если рабочий класс в таких странах принимает участие в социалистическом движении, то он в силу своей малочисленности, неорганизованности, политической неопытности и неспособности к самостоятельному действию выступает под руководством и под опекой вождей из революционной интеллигенции. Таким образом, взгляд Бакунина на значение и задачи умственного пролетариата и вытекающая отсюда его переоценка деклассированных элементов опять-таки вполне соответствует тому детскому периоду рабочего движения, к которому приспособлено было все его мировоззрение.

V.

Вышеуказанными чертами мировоззрения и тактики Бакунина и об'ясняется быстрый, но преходящий успех, достигнутый им в романских странах и в России, социально-политическим условиям которых (по крайней мере, в тогдашней их форме) соответствовала его доктрина. Но с течением времени обнаружилось, что рекомендованная им тактика не только не привела к быстрому осуществлению социальной революции, на которое он рассчитывал, но даже повлекла за собою разгром и дезорганизацию тех немногочисленных сил, которые удалось с таким трудом накопить до того. Все это повело к упадку духа и к разочарованию среди его последователей, из которых часть впала в отчаянное настроение и пустилась в риско-

---

[1]) Не следует кроме того забывать, что в таких отсталых странах особенно живо чувствуется относительное перепроизводство интеллигенции—тоже один из факторов, толкающий ее на революционный путь.

ванные политические авантюры, вроде индивидуальных покушений, а другая, большая часть сознала неправильность избранного ею пути и постаралась в том или ином виде приобщиться к массовому рабочему движению, поднявшему всюду голову со второй половины 70-х годов. При этом весьма характерно, что многие из самых ярых бакунистов, как, например, Андреа Коста и Поль Брусс, перейдя в социал-демократический лагерь, заняли место на крайнем правом его фланге и стали на оппортунистический путь.

Значит ли это, что жизнь Бакунина прошла бесплодно, что деятельность его не дала никаких положительных результатов, одним словом, что он понапрасну растратил богатые силы, которыми природа наделила его при рождении? Это, конечно, не так. В истории случается сплошь и рядом, что деятельность крупных борцов приводит не к тем именно результатам, к которым они сами субъективно стремились; но это далеко не значит, чтобы деятельность эта прошла совершенно бесплодно, и чтобы она не дала положительных результатов, хотя бы не в той области и не в том виде, как об этом мечтали сами деятели. Именно так случилось с Бакуниным.

Во-первых, следует указать, что прямыми результатами его деятельности явилась анархическая партия и отчасти революционный синдикализм. Автор настоящих строк не симпатизирует ни той, ни другому и не считает методы их работы отвечающими правильно понятым интересам социального прогресса и рабочего движения. Тем не менее, они существуют и в общей экономии истории играют, может быть, свою определенную роль. Конечно, если бы ничего другого деятельность Бакунина не дала, то пришлось бы говорить о ее продуктивности с большой осторожностью и значительными оговорками. Но дело в том, что она привела, хотя бы и косвенным путем, еще и к совершенно другим результатам.

Начнем с его деятельности в 40-х годах. После декабристов Бакунин был одним из первых русских, которые решительно солидаризировались с стремлениями польской нации к независимости и перед всем миром торжественно отреклись от всякой солидарности с репрессивной политикой русского

правительства в Польше. В 1848 г. Бакунин мечтал притти на помощь польскому народу, если бы последний нашел в себе достаточно сил, чтобы открыто восстать за свою свободу; и то, что не удалось ему сделать тогда, он осуществил 15 лет спустя, когда после своего побега из Сибири принял активное участие в польском восстании 1863—1864 г.г. Таким образом, Бакунин был один из тех русских людей, которые пытались своим личным примером снять с русского народа ответственность перед историей за угнетение Польши. Вместе с тем, он был одним из тех, кто не словами только, но и делами способствовал рассеянию вековых недоразумений между обоими родственными народами, скованными общей цепью и несущими общий исторический крест.

С другой стороны, вспомним об его участии в революции 1848—1849 г.г. в Германии. Правда, деятельность его там носила в это время преимущественно славянский характер, но она стремилась при этом служить общим целям европейской демократии. Бакунин поставил себе задачей вырвать славянские народы Австрийской Империи из-под влияния реакционных сфер и выяснить им солидарность их действительных интересов с интересами революционного движения. Опять-таки непосредственных результатов деятельность Бакунина и в этой области не дала. Славяне оказались слепым орудием в руках реакционной партии и своими силами способствовали торжеству старого режима. Но, во-первых, кто знает, не наступила ли бы без деятельности Бакунина и ему подобных реакция еще раньше и не затянулась ли бы она еще на более продолжительный период, если бы в 1848—1849 г.г. ей не был нанесен смертельный удар? А во-вторых, кто решится утверждать, что в пробуждении славянских народов к сознательной жизни, начавшемся во второй половине XIX века, не было изрядной ложки и бакунинского меда? Не играли ли здесь роль воспоминания о героических попытках, делавшихся им и его сотрудниками в то время? И не было ли среди деятелей славянского возрождения многих людей, находившихся под прямым или косвенным влиянием бакунинской работы в революционные годы?

Но кроме того Бакунин принимал также прямое участие и в чисто немецкой революционной борьбе: стоит вспомнить хотя бы роль его во время обороны Дрездена от прусской армии в 1849 году. Вспоминая участие Бакунина, этого питомца немецкой философии, в борьбе за немецкую революцию на баррикадах Дрездена, Мишлэ в своем письме к Герцену когда-то писал: «Когда Германия станет Германией, этому русскому будет там воздвигнут алтарь». Во всяком случае ясно, что деятельность Бакунина в Германии в эти годы может быть признана бесплодной только в том случае, если признать бесплодным все движение 1848—1849 г.г. А на это, конечно, не решится ни один здравомыслящий человек. Временное поражение какого-либо общественного движения отнюдь не свидетельствует об его бесплодности, ибо у истории своя особая мерка; и сплошь и рядом результаты какого-либо исторического действия проявляются спустя много лет, а иногда и десятилетий. Новейшая Германия, Германия свободы и прогресса, ведет свое начало именно с 1848 года. И Бакунин был одним из деятельнейших участников тогдашних революционных событий, из которых вышла возрожденная Германия.

Наконец, нельзя говорить о бесплодности бакунинской работы и на социалистической почве. Правда, как мы указали выше, основанные под его прямым влиянием и при его непосредственном участии анархические организации сравнительно скоро распались и на первый взгляд не принесли никаких положительных плодов. Но это только на первый взгляд. Факт тот, что социалистическое движение в Италии и Испании впервые создано было именно Бакуниным и его партизанами, которые вызвали к жизни первые интернационалистические секции в этих странах. Правда, впоследствии движение получило социал-демократический характер, но первые основы его заложены были все-таки Бакуниным и его друзьями, из которых многие впоследствии сыграли видную роль в рабочем движении конца XIX и начала XX века.

Еще в большей степени то же самое можно сказать относительно России. Оставляя в стороне печальный эпизод нечаевщины, в котором Бакунин в большей степени был жерт-

вою, чем виновником (хотя мы ничуть не намерены смягчать его ответственность в этом деле), мы должны признать, что влиянием Бакунина в той или иной степени окрашена была деятельность почти всех русских революционеров 70-х годов, как эпохи «хождения в народ», так и особенно последующего периода «народничества» и «бунтарства». Именно бакунистам-бунтарям, пользуясь его методом агитации на почве насущных потребностей масс, удалось создать в России первые рабочие организации, которые, повинуясь голосу жизни, постепенно начали становиться на социал-демократический путь. И в высшей степени характерно, что именно из рядов бакунистов вышли первые русские социал-демократы, применившие и к русской освободительной борьбе методы современного европейского рабочего движения. По свидетельству одного из этих бакунистов, а впоследствии одного из основателей первой русской социал-демократической группы «Освобождение Труда», П. Аксельрода, русские бакунисты конца 70-х годов, благодаря практическому участию в рабочем движении, уже в рамках бакунизма стали на три четверти социал-демократами. И если одним из родоначальников русской социал-демократии является Карл Маркс, то другим ее родоначальником, хотя и более отдаленным и не столь прямым, следует по справедливости признать Михаила Бакунина.

И, наконец, разве самая жизнь Бакунина не представляет глубоко интересного и поучительного явления? Пример подвижника идеи, апостола, озаренного огнем, сошедшим на его главу с неба, и не переставшего ни при каких тяжелых личных и общественных условиях поучать «вся языцы», должен действовать ободряюще на всех людей, которые верят в высокое призвание человека на земле и в прогресс человеческого рода. И как бы кто ни относился к взглядам и приемам Бакунина, его верность своим убеждениям, его неустанная работа на то, что он считал общей пользой, его твердость и глубокий оптимизм, вопреки всем ударам судьбы—все это дает ему право на всеобщее признание и симпатию.

После смерти Бакунина орган базельских демократов «Вперед», одна из буржуазных газет, сочувственно отозвав-

шихся на известие о кончине знаменитого агитатора, посвятил его памяти статью, в которой, между прочим, говорилось: «Бакунин, бывший атлетом в физическом отношении, был также гигантом духа. Однако, при всей его неукротимой энергии и сжигавшем его жаре, ему не хватало практического чутья. С Бакуниным исчезла мощная личность, подобная которой редко попадается в истории. Если бы он поддался обольщениям своих собратьев по русской аристократии и поступил на государственную службу, то, судя по аналогичным примерам, он без сомнения достиг бы в своем отечестве столь же высокого положения, как то, какое Бисмарк занимает в Германии. Если бы он остался в рядах армии и вместо того, чтобы посвятить свои выдающиеся способности изучению философских и социальных вопросов, применил бы их к военным делам, то он, быть может, сделался бы русским Мольтке и закончил бы свои дни во славе и окруженный официальными почестями. Но он не искал почестей, а стремился к науке; он не желал славы, а жаждал истины. И с ним случилось то, что случается со всеми теми, кто не ищет своей личной выгоды, а хочет жить для человечества: он принужден был кочевать из страны в страну, гонимый и преследуемый сильными мира сего, как хищный зверь. Он не оставил прочных плодов своей деятельности, его учения неспособны были привести к их созреванию. Он пребудет в истории подобно старой гигантской сосне, которая наперекор бурям высится на вершине скалы, поражаемой молниями: это фигура импозантная, но не несущая с собою благословения».

Этими прочувствованными словами (хотя конца их мы, разумеется, совершенно не разделяем) мы и закончим свою растянувшуюся статью.

Социально-политические воззрения Бакунина[1]).

Взгляды Бакунина сложились в критическую эпоху, в период неустойчивости социально-политических отношений, в период глубокого общественного и идейного брожения. История тогда как бы вышла из своих пазов; вся Европа с юга и до севера, с запада и до востока (не переходя, впрочем, границы России) взволновалась: по выражению Герцена, она взяла одр свой и пошла. Это был как бы вешний ледоход, когда с треском ломались и переворачивались самые, казалось бы, устойчивые и освященные традицией учреждения и представления. Во Франции выступила на сцену радикальная демократия, и поднял голову социализм; в Германии система Меттерниха трещала по всем швам; Австрия была накануне распада, и даже верноподданническая Пруссия, казалось, отвернулась от своего короля.

Буржуазное общество выходило из недр истории. После первых родовых потуг, после первого потрясения во время английской революции XVII века и особенно французской революции XVIII века, после инкубационного периода 30-х и 40-х годов XIX века, разразился кризис 1848 года, породивший самые широкие надежды и побудивший не одни только горячие головы принять «второй месяц беременности за девятый». Первый грозный натиск буржуазного общества был отбит оправивши-

---

[1]) Настоящая статья, представляющая извлечение из подготовляемой к печати книги „М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность“, касается лишь одного вопроса—об отношении Бакунина к задачам политической тактики. (Примечание 1914 года).

мися силами реакции, но брожение не улеглось, и капиталистический крот продолжал свою подземную работу. После сравнительно непродолжительного периода реакции, продолжавшегося около десяти лет, Европа снова вступила в критический период своей истории. В пятидесятых и шестидесятых годах во Франции подготовлялась республика; в Пруссии происходил конституционный конфликт, и вызывавшееся потребностями растущего буржуазного общества непобедимое стремление к об'единению Германии придавало всей немецкой жизни революционный характер; в Австрии шло глухое брожение, которое после двух поражений абсолютизма в 1859 и 1867 году привело к капитуляции феодально-полицейского режима; Испания потеряла политическое равновесие и с конца 60-х годов вошла в, казалось, нескончаемый период смут, угрожавший окончательным распадением государства; в Италии не прекращались попытки добиться национального об'единения и стремление к образованию централизованного буржуазного государства в ущерб народным интересам. На этот раз даже Россия присоединилась к общему движению века: здесь поставлен был вопрос об освобождении крестьян, и ближайшее будущее казалось совершенно неопределенным, давая место для самых радужных упований на возможность могучего народного движения, угрожающего самим основам старого строя. Все это, в связи с воспоминаниями 1848 года, создавало атмосферу какой-то неустойчивости, каких-то блестящих возможностей и могло настраивать на анархический лад.

Бакунин, которому не пришлось вблизи наблюдать и непосредственно переживать период реакции, вынес из тюрьмы и Сибири свои прежние неопределенно-бунтарские настроения, как нельзя более соответствовавшие этому повсеместному брожению и этой общей неустойчивости. Если когда-либо и могла возникнуть надежда на непосредственный переход от феодально-полицейской реакции к трудовому режиму, к полному социально-политическому освобождению трудящихся масс, так это именно в момент перелома, когда рвущееся из старых докапиталистических оков буржуазное общество, расшатывая

основы старого порядка, само находилось еще также в периоде возникновения, не успело прочно стать на ноги и организовать свои силы для борьбы на два фронта—с социальными элементами старины и с готовящимся выступить на историческое поприще рабочим классом. Колоссальная историческая фигура Бакунина и была стихийным выражением этого критического перехода от до-буржуазного режима к буржуазному, той социальной, политической и идейной неустойчивости, которая вызывалась этим кризисом, поражением старого господствующего класса и слабостью (как оказалось, только видимой) нового командующего класса, теми смутными, но грандиозными надеждами, которые порождались хаотическим брожением этого переходного периода, стоявшего на рубеже двух исторических эпох. Было отчего закружиться голове, а особенно голове такой горячей, как бакунинская. И тот исторический перелом, который свидетельствовал лишь о выходе буржуазного общества из пеленок, Бакунин принял за кризис гибели этого буржуазного общества; конец начала, т.-е. конец первого периода в развитии капиталистического общества, он принял за начало конца, за непосредственный пролог социальной революции. Эта ошибка облегчалась для него тем, что он в гораздо меньшей степени был идеологическим выразителем крупно-промышленного пролетариата, складывающегося и развивающегося вместе с эволюцией буржуазии, чем представителем экономически отсталых стран, как Россия, Италия, где капитализм делал свои первые шаги и где (особенно в России) он вступал в период так называемого «первоначального накопления» и собирался основательно приняться за экспроприацию главной трудящейся массы, полу-натурального крестьянства. И, действительно, в миросозерцании Бакунина стремления, инстинкты и стихийный протест этого крестьянства, разоряемого нашествием капитала, занимают видное, если не решающее место. Именно они повлияли на его отрицательное отношение к социал-демократии, на его антигосударственные взгляды, на его анархические стремления и в значительной мере предопределили содержание и форму его бунтарского миросозерцания.

1. Антигосударственность, аполитика.

В своем окончательном виде социальная концепция Бакунина была по существу антиполитическая.

Основное зло, которое обращает даже демократическую республику в свою полную противоположность, Бакунин усматривает в политической централизации: централизация и всемогущество—это, по его словам, полнейшее отрицание свободы. Этому принципу Бакунин противопоставляет «великий, спасительный принцип федерализма», которым увлекается до того, что признает режим Северо-Американских Соединенных Штатов «политикою свободы» и рекомендует принять ее, отвергнув «государственную политику Европы» [1]).

Если еще в 1868 году Бакунин не вполне определенно стал на анархическую точку зрения и даже с симпатией отзывался о политической борьбе английских рабочих, то в начале 60-х годов, да еще по отношению к русским делам, он проявлял еще больше политической умеренности, чтобы не сказать политического оппортунизма. Впоследствии Бакунин об'яснял свои оппортунистические заявления тактическими соображениями, навеянными отчасти влиянием Герцена, и признал их большой ошибкой [2]).

Но так как политических деятелей нужно судить не по тому, что они думают про себя, а по тому, что они заявляют открыто во всеуслышание,—мы должны признать, что в рассматриваемую эпоху Бакунин в политическом отношении был настроен далеко не крайне. Весьма вероятно, что проявленный им в начале 60-х годов известного рода политический индифферентизм впоследствии должен был облегчить ему переход на анархическую позицию. Психологически это вполне понятно, и в истории

[1]) Oeuvres, т. I, стр. 11—12. Ср. филиппики Прудона против „свободоубийственной, всепоглощающей" централизации, перед которой преклоняется-де „парламентская демократия" (L'idée générale de la Révolution, стр. 70).

[2]) Переписка, 174—175.

случаи такого перехода, как говорят, «из одной крайности в другую» довольно часты [1]). Быть может, все дело в том, что здесь нет перехода из одной крайности в противоположную крайность, а что в данном случае мы имеем просто дело с двумя сторонами одной и той же медали.

Но через несколько лет в своих тайных итальянских братствах, а немного спустя в своей более или менее открытой деятельности в рядах Альянса и Интернационала Бакунин уже выступает в качестве последовательного анархиста, отрицающего и государство, и принцип власти вообще, и политику, и всякую политическую деятельность рабочего класса. Отныне критика государства, принципа авторитета, политической борьбы и социал-демократической тактики занимает в его речах и писаниях главное место, повторяясь и варьируясь на разные лады, но в сущности оставаясь все той же.

«Государство, с одной стороны, социальная революция—с другой—вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе»,—заявляет Бакунин в своей книге «Государственность и Анархия», разумея под социальной революцией анархическую социальную ликвидацию и этим самым страшно преувеличивая значение анархизма, который ни тогда, ни до того, ни после того такой роли вовсе не играл [2]). Атака Бакунина шла не только на государство, но на самый принцип власти, лежащий в его основе. «Власть! Вот еще слово и понятие, которое мы ненавидим от всего нашего сердца» [3]). Восставая против принципа

[1]) Такие переходы особенно часто случались как раз в анархическом лагере и между прочим с последователями Бакунина. Так Андреа Коста, один из самых крайних итальянских бакунистов, участвовавших вместе с Бакуниным в Болонском восстании, впоследствии, сделавшись социал-демократом, занял место на крайнем правом фланге социалистической партии и продолжал свою борьбу с марксистами, но на этот раз с совершенно другой стороны. Такую же эволюцию проделал Поль Брусс, самый ярый из членов анархического Интернационала, а впоследствии основатель партии „поссибилистов", т.-е. самой умеренной французский социалистической фракции.

[2]) „Государственность и Анархия", стр. 23.

[3]) „Бог и государство", стр. 22.

власти, Бакунин оговаривается, что он не имеет в виду той непреложной силы законов природы, которая проявляется в причинной связи и последовательности явлений физического и социального мира. Возмущение против этих законов противоречило бы здравому смыслу.

Приблизительно то же самое, как это ни странно на первый взгляд, Бакунин говорил о человеческом обществе, которое, по его мнению, также имеет свои непреложные законы, не допускающие протеста и бунта против них. Государство, это—учреждение историческое, переходное, это—временная форма общества, подобно церкви, младшим братом которой оно является, тогда как общество есть нечто естественное. В отличие от государства, общество не навязывает свою власть формально, официально, авторитарно, а проявляет ее «естественно», и именно потому его действие на личность гораздо сильнее, чем действие государства [1]).

Здесь Бакунин проводит совершенно искусственное различие между обществом и государством, и в сущности, почти все, что он говорит об одном, можно сказать и о другом.

Переходя к бакунинской критике государства по существу, мы прежде всего остановимся на тех его аргументах, которые он направляет против государства с точки зрения общечеловеческой солидарности, с точки зрения международного мира и интернационализма. Так как всякое политическое государство по необходимости должно быть государством, ограниченным национальными или территориальными рамками, то отсюда следует, что оно по самому существу своему противоречит стремлениям социалистов, так как социальный вопрос может быть разрешен лишь в интернациональном или всемирном масштабе [2]). И только тот, кто действительно стремится к полному уничтожению государства и политики, которая является необходимым проявлением этого государства, только тот действительно мо-

[1]) Oeuvres, т. I, стр. 142, сл. стр. 283—288.

[2]) Bacounine—Oeuvres, т. V, стр. 74, т. VI, стр. 38—40. „Государственность и Анархия", стр. 14 и сл.

жет быть назван интернационалистом и социалистом; «тот же, кто хочет в отличие от нас заниматься политикой, кто не стремится вместе с нами к уничтожению политики, непременно должен будет вершить патриотическую и буржуазную государственную политику, т.-е. фактически отрицать во имя своего великого и малого национального государства человеческую солидарность народов вовне, равно как экономическую и социальную эмансипацию масс внутри».

Истолковывая по-своему тот пункт программы Интернационала, который гласит, что освобождение рабочих не есть проблема местная или национальная, а интернациональная, Бакунин заключает, что политика Международного Товарищества Рабочих может быть только «политикой интернационалистической, решительно исключающей все патриотические и всегда корыстные вожделения буржуа, всякую чисто национальную политику». Таким образом, Бакунин совершенно не допускает возможности политической деятельности пролетариата, совершающейся хотя и в национальных рамках, но имеющей тем не менее вполне интернационалистический характер. В данном случае он рассуждает слишком уже упрощенно и метафизически, по известному принципу да—да, нет—нет. Между тем, жизнь оказалась гораздо сложнее его схематических рассуждений, и действительность показала, что именно политическая деятельность рабочего класса, которая, вопреки мнению Бакунина, может одновременно быть национальной (но не националистической!) и интернационалистической, с каждым днем все более подготовляет почву для создания не словесной только, а действительно реальной интернациональной рабочей политики. Не ограничиваясь абстрактным протестом против государства, а используя и разоблачая каждый его промах, социалистические партии, вполне солидарные, несмотря на разделяющие их национальные границы, и не утрачивающие этой солидарности благодаря своей деятельности в национальных государственных рамках, а, напротив, еще более укрепляющие ее именно благодаря этой деятельности, создали новый Интернационал, который уже теперь играет роль могучего фактора междуна-

родной солидарности всех трудящихся [1]). Правда, Бакунин не дожил до нового Интернационала, но уже история старого Интернационала могла показать ему, что политическая деятельность пролетариата (тогда находившаяся, впрочем, в зародышевом состоянии) ничуть не мешает проявлению интернациональной солидарности. И выступления хотя бы той же, столь ненавистной ему, немецкой социал-демократии во время франко-прусской войны—эти слабые выступления, едва лишь предвещавшие грядущий мощный протест нового Интернационала против милитаризма и войны,—должны были бы предостеречь его от этой слишком упрощенной постановки вопроса.

Критика государства с точки зрения интернациональной солидарности естественно связывается у Бакунина с критикой идеи патриотизма. Всякое государство по существу есть необходимо военное государство, а военное государство неизбежно становится государством завоевательным: если оно не завоевывает других, то само будет завоевано. Под страхом смерти оно должно стремиться к усилению своего могущества и к расширению своих пределов.

Вот почему Бакунин усматривает в истории государств, начиная от глубокой древности, лишь сплошной ряд насилий и преступлений, оправдываемых соображениями государственной пользы.

Но само собою разумеется, что главные удары Бакунин направляет против государства с точки зрения внутренней его политики. «Кто говорит политическое государство, будь это государство абсолютною монархиею, конституционною монархиею или даже республикою,—говорит господство и эксплуатация. Это—господство династии или нации или одного класса над другим, т.-е. явное отрицание социализма» [2]). Эти слова: «qui dit État dit domination, et qui dit domination dit exploitation» (кто говорит государство, говорит

[1]) Это было сказано в 1913 году о Втором Интернационале, но применимо только к Третьему (Примечание 1923 года).

[2]) Oeuvres, т. V, стр. 74—75; ср. т. II, стр. 38. (Les Ours de Bern et l'Ours de St.-Pétersbourg).

господство, а кто говорит господство, говорит эксплуатация),—составляют основной лейтмотив всей бакунинской критики государства и повторяются им беспрестанно, вероятно, в силу правила его друга Прудона, который как-то заметил, что повторение есть сильнейшая риторическая фигура.

«Политическое государство имеет только одну миссию—протежировать эксплуатацию народного труда экономически привилегированными классами, и власть государства может быть совместимой только с исключительной свободой этих классов, интересы которых оно представляет, и по той же причине эта власть должна быть противной свободе народа. Кто говорит государство или власть,—говорит господство, но всякое государство предполагает существование масс, подверженных этому господству. Государство, следовательно, не может иметь доверия к самопроизвольному действию и свободному движению масс, наиболее дорогие интересы которых противны его существованию. Оно является их естественным врагом, необходимым угнетателем и, постоянно боясь в этом признаться, должно всегда действовать как таковое» [1]). Государство есть не что иное, как гарантия всех форм эксплуатации в пользу незначительного числа привилегированных счастливцев и в ущерб народным массам. Оно пользуется коллективной силой всех для обеспечения счастья, благополучия и привилегий некоторых в ущерб человеческому праву всех. Это—учреждение, где меньшинство играет роль молота, а большинство—роль наковальни.

Государство есть не что иное, как урегулированное и систематизированное господство и эксплуатация [2]).

Может ли помочь горю конституция или демократия?—спрашивает Бакунин и отвечает: ни в каком случае; конституция бессильна против факта эксплуатации, а демократиче-

---

[1]) „Кнуто-Германская Империя". СПБ. 1907, стр. 44.—Ср. Прудона: „Управление человека человеком—это рабство" (Confessions d'un révolutionnaire. Paris 1850, стр. 24).

[2]) Oeuvres, т. I, стр. 174.

ское государство—совершенно противоречивое понятие. «Тут ничего не сделает даже самая широкая демократическая конституция, потому что факт экономический всегда сильнее политических прав, которые имеют смысл и действительность только, поскольку они на нее опираются. Да, наконец, самые слова: равенство политических прав или демократическое государство заключают в себе вопиющее противоречие. Государство, государственное или политическое право означает силу, власть, преобладание, предполагают фактическое неравенство. Где управляют все, там нет более управляемых, нет государства; где все пользуются одинаково человеческим правом, там все политические права упраздняются сами собою. Политическое право означает привилегию, но где все равно привилегированы, там привилегия исчезает, а с нею и политическое право обращается в ничто. Поэтому, слова: демократическое государство и равенство политических прав означают ни более ни менее, как уничтожение государства и упразднение всех политических прав» [1]).

Мы не станем сейчас опровергать неправильные утверждения Бакунина, вроде того, что всякое политическое право означает привилегию, или его ошибочное заключение, содержащееся в последних словах [2]). В данном случае, нас интересует его отрицательное отношение к конституции [3]), даже демократической: из того, что она бессильна сама по себе, самым фактом своего существования, устранить экономическое

---

[1]) „Всесветный Союз", стр. 8.

[2]) Вернее всего, он здесь просто плохо выразил свою мысль: демократическое государство и политическое равенство отнюдь не равносильны уничтожению государства, ибо они вовсе не уничтожают экономического неравенства и существования борющихся классов. Только уничтожение экономического неравенства и классового деления общества поведет к уничтожению государства в современном смысле этого слова. Впрочем, Бакунин и сам неоднократно развивал эту мысль.

[3]) В 1848 году Прудон „вотировал против конституции потому, что это—конституция", а в республике „конституция—вещь совершенно ненужная". (Письмо его в Moniteur от 4 ноября 1848 года; перепечатано в Confessions, стр. 180—181.

неравенство, он готов вообще отвергнуть всякую конституцию и оспаривает всякое ее значение, забывая то, что он сам говорил о значении политической свободы [1]). «Нужно быть ослом, невеждою, сумасшедшим,—энергически говорит он относительно России,—чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему это отношение государства к народу: ухудшить, сделать его еще более обременительным, разорительным,—пожалуй, хотя и трудно, потому что зло доведено до конца; но освободить народ, улучшить его состояние—это просто нелепость»... [2]).

Несмотря на решительность стиля, это рассуждение Бакунина не выдерживает даже самой снисходительной критики по той простой причине, что в самой постановке вопроса он незаметно для себя совершает две колоссальные ошибки. Никто из социалистов никогда и не думал утверждать, что конституция, хотя бы самая радикальная, сама по себе могла бы устранить классовое деление и эксплуатацию человека человеком. Вопрос может итти только о том, облегчает ли политическая свобода организацию трудящихся масс и борьбу за конечный идеал экономического равенства, устраняет ли она наиболее вопиющие формы эксплуатации, угнетения и т. д. Вот против этих-то пунктов Бакунин и должен был бы направить острие своей критики, а не ограничиваться бесконечными вариациями на ту тему, что даже при демократической республике сохраняется экономическая эксплуатация и известные формы политического гнета: ведь это составляет азбуку социализма. Во-вторых, в борьбе за политическую свободу речь идет не об изменении отношения государства к народу, а, наоборот, народа к государству. Должен ли «народ», употребляя этот слишком общий и неточный термин Бакунина, оставаться безоружным по отношению к государству

[1]) Например, в „Федерализме, социализме и антитеологизме"; писано в 1867—1868 году (см. Oeuvres, т. I, стр. 9—10, 49—51).

[2]) „Государственность" и Анархия стр. 74—75. Ср. там же на стр. 13 доказательство той мысли, что капитализм прекрасно уживается с представительной демократией.

или, точнее, к господствующему в данный исторический момент классу, или же он, лучше сказать—угнетенный и эксплуатируемый класс, должен добиться таких политических условий, при которых он не был бы абсолютно беспомощен перед лицом всемогущего Левиафана? Вот в чем вопрос, которого Бакунин почти не касается и который он почти постоянно обходит.

Совершенно забыв, что́ он прежде говорил об относительных преимуществах демократии, Бакунин в своей четвертой речи на Бернском конгрессе Лиги Мира утверждал, что «нет большой разницы между дикой всероссийской империей и самым цивилизованным государством Европы» [1]). Более того, в некоторых отношениях республика даже хуже: «Гамбеттовское государство будет столь же притеснительно и разорительно для народа, как и все его более откровенные, но не более насильственные предшественники; и именно потому, что оно будет облечено в широкие демократические формы, оно сильнее и гораздо вернее будет гарантировать хищному и богатому меньшинству спокойную и широкую эксплуатацию народного труда. Как государственный человек новейшей школы, г. Гамбетта нисколько не боится самых широко-демократических форм, ни права поголовного избирательства. Он лучше всякого знает, как мало в них ручательств для народа и как много, напротив, для эксплуатирующих его лиц и классов; он знает, что никогда правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как тогда, когда он опирается на мнимое представительство мнимой народной воли» [2]). Ибо деспотизм заключается не столько в форме государства или власти, сколько в самом принципе государства и политической власти, и, следовательно, республиканское государство должно быть по своей сущности столь же деспотичным, как и государство, управляемое императором или королем. Между этими государствами имеется одно только реальное различие. Монархия, которая в наше время всюду фатально идет по пути превращения

[1]) „Историч. развитие Интернационала". Цюрих 1873, стр. 364—365.
[2]) „Государственность и Анархия", стр. 28.

в военную диктатуру, не предоставляет свободы ни одному классу, даже тому, интересам которого она служит; республика же допускает буржуазию к действительному управлению делами страны: «отсюда и вытекает, что республиканское государство так же притеснительно, как и государство монархическое, только вовсе не по отношению к владельческим классам, а всецело по отношению к народу» [1]).

Так называемое «народное государство» (Volksstaat), о котором тогда говорили немецкие социал-демократы,—такой же обман, как и всякое другое. «Государство, называйся оно десять раз народным и будь оно разукрашено наидемократичнейшими формами, для пролетариата будет непременно тюрьмой» (для славян же оно, по мнению Бакунина, означало бы еще добровольное подчинение немецкому игу, «а это противно всякому славянскому сердцу») [2]). «Никакой политический парламент, даже самый республиканский, хоть бы он весь состоял из работников, не в силах дать народу свободу действительную» [3]).

Во всех государствах в действительности управляет меньшинство [4]). «Суверенитет народа («слово,—прибавляет Бакунин,—которое мы, впрочем, ненавидим, потому что на наш взгляд всякий суверенитет отвратителен»), самоуправление масс, все это—фикция даже в самых демократических государствах, даже в Швейцарской республике» [5]).

Политическое равенство, если только оно не имеет своим базисом экономическое и социальное равенство,—такая же фикция [6]), прежде всего, ввиду невежества масс. Для выполнения государственных функций, а особенно высших, требуется известная степень образования. Народ же совершенно лишен

---

[1]) „Кнуто-Германская Империя“, стр. 44—46.

[2]) „Государственность и Анархия“, стр. 69; ср. „Бог и Государство“ Спб. 1906, стр. 32.

[3]) „Всесветный союз“, стр. 59.

[4]) Oeuvres, т. I; стр. 172.

[5]) Ib., стр. 173.

[6]) Oeuvres, т. V, стр. 323 и сл.; ср. „Историческое развитие Интернационала“, стр. 60 и сл. Oeuvres, т. II, стр. 40—41; т. V, стр. 324—330.

этого образования, правда, не по своей вине, а в силу неблагоприятного социального положения. А отсюда вытекает, что образованное меньшинство всегда будет управлять невежественными массами. На это возражают, что народ сумеет разобраться и облечь своим доверием лучших и достойнейших. Но это неправда: народ совершенно неспособен разбираться, во-первых, потому, что он лишен образования, нужного для различения добра и зла, а во-вторых, потому, что он не располагает необходимым досугом для ознакомления с кандидатами, ищущими его голосов. Вдобавок, эти кандидаты принадлежат к совершенно чуждому для него кругу; они кокетничают с суверенным народом лишь в момент выборов, а затем, добившись избрания, поворачиваются к нему спиной. Да, наконец, как бы они ни были лично порядочны, они по всему своему миросозерцанию и интересам принадлежат к привилегированному эксплуатирующему классу и, естественно, будут защищать его привилегии и стремиться к удержанию народа в вечном рабстве [1]).

Таким образом политическое равенство—такая же ложь, как и равенство юридическое, равенство перед законом.

Законы сочиняются буржуазией для буржуазии и направлены против народных масс.

Такой же ложью является мнимый контроль народа над деятельностью его избранников. В действительности, нигде в Европе реального контроля со стороны народа над представительными учреждениями не существует [2]).

А всеобщее избирательное право? Ложь, иллюзия, фикция, обман, фокус-покус, как и все остальное. «Признаюсь вам откровенно,—пишет Бакунин,—я вовсе не разделяю педантичного преклонения ваших радикальных буржуа и ваших буржуазных республиканцев пред всеобщим избирательным правом... Всеобщее избирательное право, доколе

[1]) Ср. Прудона: „Почему это почтенные буржуа, составляющие средний класс, лучше меня самого способны понять мои истинные интересы?". L'idée generale, стр. 144.

[2]) Les Ours de Berne. Oeuvres, т. II, стр. 36 и сл.

оно будет существовать в обществе, в котором народ, рабочие массы будут в экономическом отношении подвластны владельческому меньшинству землевладельцев и капиталистов, как бы, впрочем, независимы или свободны ни были или, вернее, ни казались эти массы в политическом отношении,—такое право сможет дать только призрачные антидемократические и совершенно противоположные нуждам, наклонностям и реальному желанию населения выборы» [1]).

Бакунин ссылается на все выборы и плебисциты во время Второй Империи. Он признает, что в эту эпоху народное голосование не было свободно; но ведь выборы 1848 года в Конституанту (Учредительное Собрание), президентские выборы и, наконец, майские выборы 1849 года в Законодательное Собрание были произведены без всякого административного давления или официального вмешательства, и, однако, они доставили торжество реакции. Бакунин ссылается на Прудона, который в своих «Idées révolutionnaires» говорит: «Одним из первых актов Временного Правительства, которым оно особенно гордилось, было введение всеобщего избирательного права. В тот самый день, когда декрет был обнародован, мы писали следующие слова, которые могли тогда сойти за парадокс: всеобщее избирательное право есть контр-революция. Можно судить по событиям, ошибались ли мы. Выборы 1848 года были произведены в громадном большинстве попами, легитимистами, приверженцами династии, всем, что только есть во Франции реакционного, наиболее ретроградного. Это и не могло быть иначе». Не могло,—прибавляет Бакунин,—и не может быть иначе до тех пор, пока общество будет построено на началах экономического неравенства, пока оно будет оставаться разделенным на два класса, «из которых один класс, эксплуатирующий, привилегированный, будет пользоваться

[1]) „Кнуто-Германская Империя", стр. 33 и сл.; ср. Oeuvres, т. VI стр. 85: „Ce tour de passe-passe qu'on appelle le suffrage universel".

всеми преимуществами богатства, просвещения и досуга, а другой, заключающий всю массу пролетариата, будет иметь в удел убийственную и принудительную ручную работу, невежество, нужду и их неизменного спутника—рабство не правовое, а фактическое».

Но почему,—спрашивает Бакунин, предвидя возможное возражение,—почему народ не может посылать в законодательные собрания и в состав правительства своих людей, людей из народа? На это он отвечает двумя аргументами. Во-первых,—говорит он,—люди из народа, принужденные жить трудом своих рук, не имеют времени на то, чтобы предаваться исключительно политике; а так как они вдобавок в большинстве случаев незнакомы с теми политическими и экономическими вопросами, которые разрешаются в этих высоких сферах, то они почти всегда будут одурачены буржуазными политиканами и адвокатами. А, во-вторых,—и это еще более серьезный довод,—достаточно будет этим людям народа попасть в ряды правителей, чтобы немедленно проникнуться всеми предрассудками и недостатками господствующих классов, превратиться в свою очередь в буржуа, иногда даже более гнусных и с бо́льшим презрением относящихся к простонародной массе, из которой они вышли, чем даже буржуа по рождению. Этот аргумент Бакунин повторяет так же часто и упорно, как и довод от народного невежества. В своей полемике с социал-демократической программой он, воображая, что марксисты мечтают об управлении большинства народных масс каким-то привилегированным меньшинством, и что в оправдание своего притязания они ссылаются якобы на то, что это меньшинство будет состоять из рабочих, возражает: «Да, пожалуй, из б ы в ш и х работников, но которые, лишь только сделаются правителями или представителями народа, перестанут быть работниками и станут смотреть на весь чернорабочий мир с высоты государственной; будут представлять уже не народ, а себя и свои притязания на управление народом. Кто может усумниться в этом, тот совсем незнаком с природой человека» [1]).

[1]) „Государственность и Анархия", стр. 217.

И здесь, по мнению Бакунина, дело не просто в измене, как полагает ходячее об'яснение. Это ошибка; главной причиной таких превращений является изменение перспективы и положения: очутившись в роли народных представителей и правителей, вчерашние рабочие, даже оставаясь совершенно искренними, начинают иначе смотреть на вещи, иначе оценивать события и отношения.

Во всех этих рассуждениях Бакунина истина теснейшим образом переплетена с заблуждениями. И ошибка Бакунина вытекает из двух источников: во-первых, из того, что он почти постоянно оперирует с совершенно неопределенным и социологически невыдерживающим критики термином «народ». Этим понятием оперировали, с одной стороны, социалисты старых школ до Маркса, а с другой—буржуазные демократы, которые, сознательно или бессознательно, избегали расчленения этого сложного понятия. Выступая якобы от имени всех непривилегированных классов общества, причем многие из них искренно думали, что их демократическая программа способна дать удовлетворение стремлениям всех этих классов, буржуазные демократы не могли, да и не хотели вдуматься в содержание этого понятия. Что касается социалистов-утопистов, выступивших в такую историческую эпоху, когда пролетариат не успел еще достаточно определенно выделиться из общей массы трудящихся и эксплоатируемых, они, естественно, не понимали его исторического призвания и его специфического положения в буржуазном обществе. Бакунин, который и в этом отношении не отделался от традиций сороковых годов, также не давал себе труда углубляться в понятие «народ» и употреблял этот термин то в смысле «пролетариат», то в смысле «крестьянство», а то и в обоих смыслах вместе. Отсюда проистекал целый ряд его ошибок, в частности и критика политической борьбы и всеобщего избирательного права.

Да, действительно, всеобщее избирательное право, особенно в первые моменты своего применения, принесло ряд сюрпризов, но для кого? Для тех, кто не мог или не хотел стать на классовую точку зрения, и кто возлагал на этот институт

такие надежды, каких он не мог оправдать, да еще сразу. Вот как Маркс оценивает результаты выбора в Конституанту 1848 года, которые так поразили буржуазных демократов и дали возможность Прудону щеголять своей мнимой проницательностью.

«4 мая открылось «Национальное Собрание, избранное прямой и всеобщей подачей голосов. Всеобщее избирательное право не проявило той магической силы, которую ему приписывали старомодные республиканцы. Во всей Франции—или, по крайней мере, в большинстве французов—они видели граждан (citoyens) с одинаковыми интересами, взглядами и т. д. Таков был у них культ народа. Но вместо их воображаемого народа, выборы в ярком освещении показали настоящий народ, т.-е. представителей различных классов, на которые он распадается. Мы видели, почему крестьяне и мелкие буржуа должны были выбирать под руководством воинственно настроенной буржуазии и жаждущих реставрации крупных землевладельцев. Но, если всеобщее избирательное право не оказалось тем волшебным жезлом, каким его считали прекраснодушные республиканцы, то его заслуга была несравненно выше: оно сбрасывало все путы с классовой борьбы, заставляло различные промежуточные слои буржуазного общества быстро пережить и изжить свои иллюзии и разочарования, одним взмахом бросало все фракции эксплуатирующего класса на вершину государственной власти и, таким образом, срывало с них обманчивую маску, тогда как монархия со своим цензом вела к тому, что компрометировались только определенные, отдельные фракции буржуазии, а остальные скрывались за кулисами, окруженные ореолом общей оппозиции» [1]).

Таков социологический анализ, показывающий и выясняющий, почему всеобщее избирательное право проявляет определенное действие в ту или иную историческую эпоху,

[1]) Маркс — Собрание исторических работ, изд. Скирмунта, стр. 27—28.

под влиянием тех или иных социально-политических факторов. Не довольствуясь упрощенными рационалистическими об'ясненіями, вроде народной глупости или народного невежества, он показывает, почему тот или другой класс голосует так или иначе под влиянием своих, в той или иной степени сознанных интересов. Правда, такая точка зрения не оставляет места для неосновательных иллюзий, не позволяет ожидать внезапных чудес, но зато она в то же время предохраняет от столь же неосновательного пессимизма и разочарования в учрежденіи, которое, будучи сегодня орудіем порабощенія, завтра, под влиянием новых исторических условій, может и должно превратиться в орудіе освобожденія.

Говоря о выборах во Франкфуртскій парламент, Бакунин замечает: «И вдруг, к общему изумленію, с самых первых дней оказалось, что, по крайней мере, три четверти депутатов, вышедших прямо из всеобщего народного избирательства,— реакціонеры» [1]). Уж будто к общему? Кажется, Маркс не очень-то этому изумлялся. Да и вольно же предаваться «изумленію» вместо того, чтобы продумать и понять такой, якобы, неожиданный результат, в действительности вполне естественный, вполне соответствующій условиям данной исторической эпохи, политическим и социальным отношеніям тогдашней Германіи, материальному и умственному состоянію отдельных классов германского народа, и т. д. Все это нужно социологически анализировать и понять, а не отвергать огульно всеобщее избирательное право из-за того, что оно с первого применения дало неожиданные или изумительные результаты.

То же самое можно сказать и о других тезисах Бакунина, приводящих его к столь решительному и безоговорочному отрицанію политики. Ведь история не стоит на одном месте, и массы постепенно приходят к сознанію своих интересов и начинают проявлять свою волю в совершенно иной форме. Те самые французские массы, которые во время революціи

[1]) „Государственность и Анархія", стр. 182—183.

1848 года и Второй Империи голосовали за представителей реакции (кстати, по совершенно определенным причинам, которые Маркс прекрасно выясняет), теперь вотируют за радикалов и радикалов-социалистов, т.-е. представителей мелко-буржуазной демократии, а кое-где уже начинают выбирать и социалистов. То же самое имеет место в Германии, где выборы 1848 года так «изумили» прекраснодушных демократов, ожидавших от первого голосования немецкого народа чуть ли не немедленного водворения демократической германской республики. И здесь народ, который, по мнению Прудона и Бакунина, якобы не может вотировать иначе, как за своих врагов и эксплуататоров, в обстановке современного общества, на самом деле, с каждым годом обнаруживает, что его *воля* начинает все более соответствовать его *интересам*. Да стоит ли еще приводить примеры? Их так много, что достаточно хотя бы слегка посмотреть вокруг себя, чтобы набрать их целые кучи.

Несмотря на то, что он был старый гегельянец, диалектика общественного развития осталась для Бакунина совершенно чужда, и в своей критике государства и политики он рассуждает как настоящий метафизик. Политическое равенство—фикция; политические права—обман; контроль народа над своими представителями—ложь; всеобщее избирательное право—иллюзия, и т. д. С одной стороны, это верно, и *как раз социалистическая критика вскрыла недостаточность и ограниченность всех этих институтов в рамках общества, построенного на принципе экономического неравенства*. И в этом отношении Бакунин просто примыкает к общей социалистической традиции и ничего нового не говорит. Но что оригинально в его построениях, так это окоченелость, неподвижность, догматичность, метафизический характер его утверждений. Исторической эволюции общественного развития, вечной игры живых социальных сил, растущих и изменяющихся в процессе творчества социальной жизни, для него не существует. Каждое явление для него имеет только одну сторону, в данном случае, отрицательную. Все явления поли-

тической жизни—фикция и обман, всегда, во всякое время, при всякой исторической обстановке. На самом же деле это, конечно, не так. Политическое равенство, хотя в буржуазном обществе и является фикцией, вместе с тем служит могучим орудием социального освобождения. Тоже и всеобщее избирательное право и т. д.

В оправдание Бакунина следует сказать, что печальный опыт 1848 года и Второй Империи породил глубокое разочарование во всеобщем избирательном праве не только среди демократов, но и среди социалистов. Даже Маркс и Энгельс полагали в начале 60-х годов, что пример наполеоновской Франции подрывает веру в революционное значение всеобщего голосования. Ссылаясь на пример Франции, Энгельс в 1865 году указывал, что правительство, располагающее вымуштрованной бюрократией и вышколенной печатью и опирающееся на отсутствие свободы печати и собраний, может в стране с преобладающим сельским населением организовать реакционные выборы. И они даже относились подозрительно к агитации Лассаля в пользу всеобщего избирательного права. С другой стороны, и их антипод Бисмарк тоже надеялся, что всеобщее голосование обеспечит правительству консервативное большинство. Но эти вполне законные опасения, особенно естественные в ту эпоху, при сравнительной малочисленности и неорганизованности рабочего класса, все же не приводили их к бакунинскому отрицанию политики и всеобщего избирательного права. Они могли находить, что в ближайшем будущем всеобщее избирательное право даст скорее отрицательные, чем положительные результаты, но им чужда была уверенность Бакунина, что оно всегда останется орудием дурачения и порабощения трудящихся масс, и что последние никогда не сумеют воспользоваться им в своих интересах. Они могли протестовать против преувеличенных надежд Лассаля, который утверждал, что всеобщее избирательное право в самом непродолжительном времени приведет пролетариат к победе, но на этом основании они не исключали его из своего арсенала и не отсоветовали пролетариату бороться за политическое

равенство. Тем более чуждо было им отрицание политической деятельности рабочего класса вообще [1]).

Но Бакунин, выражавший настроение отсталых стран с преобладающим темным сельским населением и слабым, неразвитым пролетариатом, смотрел на эти вопросы иначе. Замечательно, что все его аргументы против участия пролетариата в политической борьбе заимствованы им из детского периода рабочего движения, который властно тяготел над его воображением. Такой характер имеют, например, все его возражения против «рабочих кандидатур».

Мы уже не говорим о том, что Бакунин совершенно упустил из виду агитационное и организационное значение политической борьбы для пролетариата. Впрочем, в его время это значение было еще далеко не ясно, за отсутствием достаточного опыта: ведь тогда только одна немецкая социал-демократия начинала применять этот метод, да и то в течение каких-нибудь нескольких лет, сама еще не отдавая себе надлежащего отчета в его значении. И здесь практика шла впереди теории, и здесь жизнь творила идею. Поэтому все построения и рассуждения Бакунина по этому поводу имеют совершенно абстрактный, теоретический, головной характер. Жизнь опровергла все его страхи и утверждения. А те факты, которые он имел в виду, когда возводил свое критическое здание, т.-е. события 1848 года и Второй Империи, в сущности не имели никакого отношения к тому организованному и сознательному участию пролетариата в политической борьбе, которое проявилось гораздо позже.

2. Анархия.

Бакунин отрицал и самый принцип государства, и возможность и допустимость для рабочего класса политической борьбы, как компромисса с государственным принципом. По его словам, иногда являющимся буквальным повторением

[1]) См. нашу статью „Политическая деятельность К. Маркса“ в сборнике „Памяти Карла Маркса“, СПБ. 1908 г., стр. 342—343.

соответствующих мест из Прудона, государство должно раствориться в обществе, свободно организованном на началах справедливости. Единственно, что может сделать государство это—упразднiться и исчезнуть [1]). Государство должно отказаться от своей роли провидения, опекуна, воспитателя и регулятора общества, отказаться от всякой репрессивной власти и ограничиться той подчиненной ролью, которую ему отводил Прудон, т.-е. сделаться простой канцелярией, чем-то вроде главной конторы на службе общества [2]). Политическая централизация должна уступить место экономической централизации: в то время, как последняя составляет основное условие цивилизации и создает свободу, политическая централизация убивает ее, уничтожает собственную жизнь и самопроизвольное действие населения в интересах правительства и правящих классов [3]).

Социальная революция должна привести к уничтожению всякого принципа власти, и тогда правительство превратится в простое управление общими делами [4]). С уничтожением политической централизации, с распущением политического государства, получит применение принцип д о б р о в о л ь н о й о р г а н и з а ц и и с н и з у в в е р х,—единственный принцип, обеспечивающий, по мнению Бакунина, полную свободу личностей и групп. «Вот почему социализм федералистичен, и

---

[1]) „Государственность и Анархия", стр. 243. Впрочем он допускал еще и другое: „единственно,—говорил он,—что по нашему мнению государство может и должно сделать, это прежде всего постепенно изменить право наследования, для того, чтобы как можно скорей притти к его полной отмене" („Fédéralisme, Socialisme et Antithéologisme" Oeuvres, т. I, стр. 56). Таким образом на государство возлагается довольно почетная роль, так как Бакунин признавал отмену права наследования первым шагом социальной ликвидации. Там он идет на компромисс, соглашаясь вместо непосредственного разрушения государства на его радикальное и полное преобразование, правда, в таком духе, что от государства, по крайней мере централизованного, мало что остается (Ib., стр. 155—156). Впрочем, не забудем, что Бакунин обращался к буржуазной Лиге Мира.

[2]) Oeuvres, т. I, стр. 170.

[3]) Oeuvres, т. II, стр. 34.

[4]) Oeuvres, т. VI, стр. 345.

вот почему (?) весь Интернационал с восторгом приветствовал программу Парижской Коммуны... Она хотела единства нации, народа, французского общества, но не государственного единства». И далее: «Истинно-народная организация начинается снизу, с ассоциации и с коммуны. Организуя, таким образом, снизу вверх, федерализм становится тогда политическим учреждением социализма, свободной и самопроизвольной организацией народной жизни» [1]).

Экономическое освобождение рабочих невозможно при современных политических и социальных учреждениях. Поэтому, «чтобы добиться и осуществить его вполне, необходимо будет разрушить все существующие учреждения,... которые в действительности представляют не что иное, как ряд крепостей, воздвигнутых привилегией против пролетариата: и их недостаточно ниспровергнуть в одной стране, их нужно ниспровергнуть во всех странах, потому что со времени образования новейших государств в XVII и XVIII веках между всеми этими учреждениями существует растущая солидарность и весьма прочный международный союз, невзирая на разделяющие отдельные страны границы» [2]). А затем, после разрушения всех этих учреждений, Бакунин выставляет следующую программу, которая, по его словам, является простейшим выражением глубочайших и заветнейших инстинктов народа: «Мир, свобода и счастье всем угнетенным. Война всем притеснителям и грабителям. Полное возвращение трудящимся капиталов, фабрик, орудий труда и сырья ассоциациям: земля—тем, кто обрабатывает ее своими руками. Свобода, справедливость, братство по отношению ко всем человеческим существам, рождающимся на земле. Равенство для всех. Для всех безразлично все средства развития, воспитания и образования, и одинаковая возможность жить своим трудом. Организация общества путем вольной федерации *снизу вверх* рабочих ассоциаций, как промышленных, так и земледельческих, как научных, так и художественных или

[1]) Oeuvres, т. VI, стр. 386—389.
[2]) „Protestation de l'Alliance". Oeuvres, т. VI, стр. 79—80.

литературных—сначала в коммуне; федерация коммун в области, областей—в нации, а наций—в братский Интернационал» [1]).

Стремясь к социальной ликвидации, к анархической революции, к уничтожению государства и всех связанных с ним учреждений, Бакунин предполагает одновременность политической и социальной революции.

Раз политическая и социальная революция неразделимы, то никакой политики у социалистов не может быть, и Интернационал должен отвергнуть всякую политику, кроме той, которая имеет непосредственной целью социальный переворот. «Следовательно, должна быть исключена без сожаления и политика демократов или социалистов-буржуа, об'являющая политическую свободу предварительным условием экономического освобождения, ибо под этими словами должно понимать следующее: политические реформы или политическая революция должны предшествовать экономическим реформам или экономической революции; работники должны, следовательно (?), соединиться с более или менее радикальной буржуазией, помочь ей (?), прежде всего, совершить политическую революцию, с тем, чтобы впоследствии, при социальной революции, бороться против них» [2]).

На первый взгляд может показаться, что у Бакунина в этом отношении замечается колебание. Так, если он, с одной стороны, говорит, что Международная Ассоциация Рабочих совершенно игнорирует все текущие политические интриги [3]), то с другой—он утверждает, что Интернационал вовсе не отвергает политики вообще, и что он «принужден будет вмешиваться в нее, поскольку вынужден будет бороться с буржуазным классом. Он отвергает только буржуазную политику» [4]). Но обыкновенно, заговаривая о политике Интерна-

[1]) Ib. стр. 395—396 („Circulaire à mes amis d'Italie").

[2]) „Политика Интернационала" (Статьи из „Равенства"). См. „Истор. развитие Интернационала", стр. 60—61.

[3]) Oeuvres, т. V, стр. 46. (Статья „Двойная Женевская стачка", писана весной 1869 года.)

[4]) Oeuvres, т. VI, стр. 336. (Циркулярное послание итальянским друзьям, писано в октябре 1871 г.)

ционала, Бакунин приходит к анархическим выводам: воздержанию от политики и отрицанию политических действий социалистов в современном обществе. Так, знаменитый третий пункт программы Интернационала он толкует в анархическом смысле. Слова о том, что экономическое порабощение рабочих есть источник их политического и морального порабощения, и что поэтому экономическое освобождение рабочих есть великая цель, которой всякое политическое движение должно быть подчинено как средство, он толкует так: «Это отверженье всей буржуазной политики, это — пункт, в котором социальная демократия абсолютно и определенно отгораживается от чисто полицейской демократии буржуа... С того момента, как Международная Ассоциация признала, что великая цель, которой должно быть подчинено всякое политическое движение, есть экономическая эмансипация рабочих, она отвергает всякую политику, которая не стремится прямо к этой цели, следовательно, всякую буржуазную, монархическую, либеральную или даже радикально-демократическую политику; потому что всякая буржуазная политика, как известно, не имеет и не может иметь другой цели, кроме упрочения и расширения буржуазного могущества, а это могущество исключительно основано на зависимости рабочего и на эксплуатации его труда» [1]).

Но почему не может быть социалистической политики, Бакунин не считает нужным об'яснить. На его взгляд, всякая политика непременно будет буржуазной. Он даже прямо говорит, что кроме буржуазной демократической политики мыслима лишь анархия, и больше ничего.

Но, как бы чувствуя неубедительность своей аргументации, своего абсолютного отрицания политики, противоречащего несомненным стремлениям рабочих масс, Бакунин заявляет, что у анархистов есть своя политика, которую он называет «политикой отрицательной» и формулирует следующим образом:

---

[1]) „La Montagne et M. Coullery" Oeuvres, т. V, стр. 99—100 (писано летом 1869 года).

«Рабочие вступают в Интернационал и организуются в нем, прежде всего, с чисто практической целью, а именно с целью солидарного отстаивания полноты своих экономических прав против притеснительной эксплуатации буржуазии всех стран. Заметьте, что одним этим фактом—сначала, если угодно, бессознательным—пролетариат уже в двояком отношении становится на почву весьма определенно, но вместе с тем весьма отрицательно-политическую. С одной стороны, он разрушает политические границы и всю международную политику государств, поскольку она основана на симпатиях, добровольном сотрудничестве и патриотическом фанатизме порабощенных масс; а с другой стороны, он углубляет пропасть между буржуазией и пролетариатом и ставит этот последний вне политической деятельности и игры всех государственных партий; но, ставя его вне всякой буржуазной политики, он неизбежно обращает его против нее.

«Итак, вот совершенно определенное политическое положение, в котором оказывается пролетариат, сначала, как я сказал, бессознательно, одним фактом своего присоединения к Интернационалу. Правда, это политическое положение имеет совершенно о т р и ц а т е л ь н ы й характер, и крупная ошибка —чтобы не сказать измена и преступление—социал-демократов, увлекающих немецкий пролетариат на путь марксистской программы, заключается в том, что они пожелали превратить это отрицательное поведение в положительное сотрудничество (?) с буржуазной политикой.

«Интернационал, ставя, таким образом, пролетариат в стороне от политики государств и буржуазного мира, создает новый мир солидарного пролетариата всех стран» [1]).

Совершенно ясно, что о т р и ц а т е л ь н а я п о л и т и к а Б а к у н и н а, с таким торжеством противопоставляемая положительной политике социал-демократов и долженствующая заполнить чувствуемую самим автором пустоту, в сущности п р е д с т а в л я е т в к о н е ч н о м с ч е т е в с е-т а к и п о л-

[1]) „Fragment formant suite de l'Empire Knouto-Germanique". Oeuvres, т. VI, стр. 436—437 (писано в конце 1872 года.)

ное отсутствие политики. Горделивое устранение от политических конфликтов, т.-е. национальных классовых конфликтов современного общества, анархический уход на Авентинскую гору политического воздержания, бесплодная критика политической деятельности социалистов не в силах создать ничего положительного и способны лишь задержать развитие классового самосознания пролетариата, не давая ему возможности на практике знакомиться с хитрой механикой капиталистического режима в национальном масштабе. Анархическое толкование, которое Бакунин давал программе Интернационала, мыслимо было только в первый момент развития Международной Ассоциации, когда основатели ее по тактическим соображениям избегали до поры до времени определенно сформулировать политические задачи рабочего класса в его борьбе за свое экономическое освобождение. Когда же эта формулировка была сделана (а началось это на Лозаннском конгрессе 1867 года), бакунинское отрицание политики уже перестало соответствовать определенно выраженной программе Интернационала.

«Международное Общество Рабочих,—уверяет за него Бакунин,—остается верным своему принципу и никогда не будет содействовать политической агитации, которая не имеет прямой и непосредственной целью полное экономическое освобождение рабочих, т.-е. уничтожение буржуазии как класса, экономически отделенного от народа; никогда не поддержит (!) революции, которая с самого начала с первого момента не напишет на своем знамени: социальная ликвидация» [1]). Что же должен делать Интернационал в продолжение того «более или менее долгого периода, который нас отделяет от этой ужасной Социальной Революции?»—спрашивает Бакунин, и отвечает: «Отрекаясь, согласно с своими статутами, от всякой национальной и местной политики, Международное Общество придает рабочей агитации всех стран чисто экономический характер; целью его будут: уменьшение

[1]) „Политика Интернационала". Ib. 65.

числа рабочих часов и увеличение заработной платы, а средством — ассоциация рабочих масс и образование касс сопротивления» [1]). Таким образом грозная анархическая критика неожиданно разрешается в ограниченную формулу довольно умеренного «экономизма». Это, впрочем, не может нас удивлять, так как мы знаем, что, по существу анархизм представляет ограниченный «экономизм», сдабриваемый более или менее изрядной дозой революционной фразеологии.

Пока Бакунин описывает фактический ход пропаганды Интернационала, с ним, быть может, за некоторыми оговорками, нельзя не согласиться.

Но из того факта, что Интернационал начал с чисто-экономической агитации [2]), Бакунин делает общий вывод, что к рабочим вообще надо обращаться не с политической, а с чисто экономической пропагандой. Интернационал ставит перед пролетариатом,—говорит он,—чисто экономическую задачу: освобождение труда от эксплуатации, но,—прибавляет он,—это вместе с тем и в такой же степени задача социальная, философская и моральная; это даже, если угодно, задача по существу политическая. С этим нельзя не согласиться; но поскольку Бакунин понимает уничтожение политики в смысле запрещения рабочим вообще участвовать в политической деятельности в рамках буржуазного общества,—его утвержде-

[1]) Ib. 65—66.

[2]) Повторяю, это положение, верное в общем, тоже следует принимать с известными и немаловажными оговорками. С самого начала Интернационал вовсе не ограничивался одной экономической агитацией. Стоит вспомнить его вмешательство в борьбу за избирательную реформу в Англии, его протест против жестокого отношения английского правительства к ирландским фениям и т. п. Наконец, не забудем, что внешним толчком к самому образованию Интернационала послужил чисто политический вопрос, а именно отношение правительств к польскому восстанию; и первая же публичная декларация Интернационала, так называемый „Учредительный Адрес", содержит определенные политические заявления и между прочим рекомендует пролетариату выработать свою собственную внешнюю политику, основанную на международной солидарности трудящихся.

ние совершенно неверно и представляет крайне произвольное толкование, чтобы не сказать, извращение программы и целей Интернационала.

Мы видели, что ближайшими требованиями Интернационала Бакунин признает сокращение рабочего дня и увеличение заработной платы, а средствами деятельности—образование профессиональных союзов и пропаганду идеи экономического освобождения рабочего класса. С помощью этих средств Международное Товарищество Рабочих «наконец распространится и организуется во всех странах с тем, чтобы в момент революции, вызванной силой вещей (?), существовала действительная, сознательная сила, способная овладеть движением и дать ему направление, спасительное для народа; этою силою будет серьезная интернациональная организация рабочих ассоциаций, способная заместить политический мир государства и буржуазии» [1]).

Нельзя не признать, что в этих словах содержится в зародыше вся программа так называемого «революционного синдикализма», существенными чертами которой являются чисто экономическая агитация, профессиональная организация пролетариата вне и в стороне от государства и всех политических партий, невмешательство рабочего класса в политическую борьбу и в политические конфликты буржуазного общества, замена политической централизации централизацией экономической, а политического мира—федерацией профессиональных союзов [2]).

Исходя из этих положений, Бакунин самым решительным образом восстал против «народного государства», о котором тогда говорили немецкие социал-демократы. Бакунин вполне

---

[1]) Политика Интернационала. „Историческое развитие Интернационала", стр. 66.

[2]) На мысли, что современный французский революционный синдикализм является продолжением бакунистского Интернационала, особенно настаивает Гильом. См. предисловие к 4-му тому его Истории Интернационала („L'Internationale. Documents et souvenirs"), а также нашу статью „Интернационал после Гаагского конгресса" в журнале „Голос минувшего", 1913 г., ноябрь-декабрь, и нашу книгу „Первый Интернационал", Госиздат, 1923, изд. 3.

искренне представлял себе это народное государство в виде насилия организованного меньшинства над всей остальной массой, которой первое якобы намеревается насильственно навязать свои теории путем властных мероприятий. Понимая в таком смысле революционную диктатуру пролетариата, он, конечно, с такой же решительностью высказывался и против нее. «Народу,—говорил он,—отнюдь не будет легче, если палка, которой его будут бить, будет называться палкой народной» [1]). Повторяя свой тезис, что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, противно народным интересам, он прибавляет, что «даже мнимо-народное государство, задуманное г. Марксом (?), в сущности своей не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз посредством интеллигентного и по этому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ» [2]).

И в другом месте Бакунин снова повторяет ту же мысль: «Всемирное государство или то народное государство, о котором говорят немецкие коммунисты, может означать только одно: уничтожение государства» [3]).

Бакунин всерьез воображал, что этими словами он делает великое и оригинальное открытие. На самом же деле ничего подобного нет. Сначала он истолковал стремления немецких социал-демократов в авторитарном духе и утверждал, что за их программой и, в частности, за революционной диктатурой пролетариата скрывается стремление создать новое государство, основанное на том же принципе насилия, власти, господства меньшинства над большинством, и энергично боролся с этим фантомом своего собственного воображения. Следует сказать, что термин «народное государство» действительно был выбран не совсем удачно и давал повод к недоразумению; но только полемическое увлечение могло подсказать Бакунину его толкование этого термина, в котором, кстати сказать, и Маркс, и Энгельс были совершенно неповинны.

---

[1]) „Государственность и Анархия", стр. 26.

[2]) Ib. стр. 27.

[3]) „Protestation de l'Alliance", Oeuvres, т. VI, стр. 89.

Единственно, над чем Маркс и Энгельс законно издевались, так это над декретированием уничтожения государства на словах (вспомним пресловутую лионскую прокламацию Бакунина и его товарищей), над попытками вывернуть вопрос наизнанку и провозгласить немедленно уничтожение государства *до экономического преобразования общества*. На их взгляд уничтожение государства может быть только *результатом*, а отнюдь не *началом* социального преобразования. Кроме того само собою разумеется, что они решительно отвергали те непосредственные практические выводы, которые Бакунин делал из своих анархических посылок, вроде ограничения рабочего движения чисто-экономическими задачами, невмешательства пролетариата в политическую борьбу и проведения дезорганизаторского принципа анархии в практическую социалистическую работу.

Говоря о программе немецкой социал-демократической партии, основанной на Эйзенахском конгрессе 1869 года, Бакунин говорит, что эта программа, заявив, что завоевание политических прав составляет предварительное условие освобождения пролетариата, тем самым стала в вопиющее противоречие с основным принципом Международной Ассоциации и сделала буржуазную политику основой социализма, ибо «всякая *предварительная* политика, т.-е. такая, которая предшествует социализму и, следовательно, ведется вне его, а значит и против него, может быть только чисто-буржуазной» [1]). Вполне естественно, что такая программа могла только привести к подчинению (?) социалистического движения пролетариата буржуазному радикализму [2]).

---

[1]) Oeuvres, т. VI, стр. 34.

[2]) Может показаться, что последующая эволюция германской социал-демократии подтвердила проницательность бакунинской критики. На самом деле это не так. Германская и другие социал-демократические партии обанкротились не потому, что они проводили свою программу, а потому, что они ее *не проводили*, потому, что они отказались от пролетарской политики, от захвата власти, от установления диктатуры рабочего класса и пр. Поэтому критика Бакунина совершенно бессильна, например, против действительно марксистских и коммунистических партий, входящих в состав Третьего Интернационала (Примечание 1923 года).

Пролетариат вовсе не должен бороться за политическую свободу, за всеобщее избирательное право и т. п. Если же рабочие это делают, то лишь потому, что «сбиты с толку своими политическими, литературствующими и еврействующими (!) коноводами, которые не хуже любого буржуа ненавидят революцию и боятся ее, хотя и говорят о ней беспрестанно».

В действительности социал-демократы со своей политической программой стремятся к установлению нового деспотизма.

С особенной энергией Бакунин восстает против захвата политической власти пролетариатом и против революционной диктатуры рабочего класса. Эти идеи Бакунин представлял себе совершенно превратно: ему казалось, что это не что иное, как воскрешение под социалистическим флагом старых традиций якобинства и бабувизма; он усматривал в них лишь новую попытку облагодетельствовать глупое человечество путем декретов сверху и всесторонней опеки всемогущего государства над несмысленной чернью. И вот почему он, говоря о будущем строе по «Коммунистическому Манифесту», мог дойти до чудовищного утверждения, встречающегося только в реакционно-буржуазной печати, что этот идеальный социал-демократический строй будет для массы казармой и рабством, а для евреев (!), «привлеченных колоссальными размерами интернациональных спекуляций национальных банков,—широким полем прибыльного плутовства», а во-вне это будет вечная война, если только «низшие» расы—латинские и славянские—не пожелают добровольно подчиниться германской гегемонии [1]).

И теория государственности, и теория революционной диктатуры одинаково основаны на фикции мнимого народного представительства и на действительном факте управления народных масс кучкою привилегированных лиц. Между рево-

[1]) Как мы видим, в борьбе со своими противниками марксистами Бакунин пускался на чисто антисемитические выходки.

люционной диктатурой и государственностью вся разница только во внешней обстановке.

Бакунин был, повидимому, твердо убежден в том, что коммунисты-государственники полагают, будто «социальная революция может быть выполнена декретом, может быть организована диктатором или каким-либо собранием выборных, вышедших из недр политической революции», и торжественно противопоставлял им пример социалистов Парижской Коммуны, полагавших, напротив, что социальная революция не может быть сделана, не может достигнуть полного развития своего иначе, как при посредстве продолжительной и стихийной деятельности рабочих масс, групп и организованных обществ самого народа [1]). Что это азбука марксизма, кладущего в основу своего мировоззрения, своей программы и тактики, одним словом, всей своей деятельности самодеятельность сознательных и организованных рабочих масс, об этом Бакунин как будто и не догадывается. Смотря на себя, как на защитника интересов крестьянства, якобы игнорируемых марксистами, он очень опасается, как бы захвативший власть пролетариат не вздумал применить методы революционной диктатуры к крестьянской массе [2]). С другой стороны, он всерьез или в полеми-

[1]) „Парижская Коммуна и понятие о Государстве". Женева, 1892, стр. 11, 13.

[2]) Прудон, истинный идеолог крестьянства (и даже не революционного, а консервативного), также взял на себя защиту интересов крестьянства от коммунистов, якобы посягающих на его землю и угрожающих ему насильственной экспроприацией. Высказываясь против „правительственной и коммунистической системы" (т.-е. того, что Бакунин называл „авторитарным" или „государственническим" социализмом), Прудон уверяет, что он фатально обречен на поражение, и продолжает: „Если бы идея сельско-хозяйственной ассоциации или государственного земледелия когда-либо серьезно была осуществлена во время революции, предполагая, что правительство сохранилось бы во время революции, направленной главным образом против него, то крестьянство было бы поставлено перед вопросом об инсуррекции. Ему угрожала бы тирания со стороны тех самых людей, которые называли бы себя социалистами" (Idée générale, стр. 218). Это сильно напоминает заботы Бакунина, но

ческих целях высказывает опасение, что революционная диктатура немецкого пролетариата может быть направлена против славянских народов, и в качестве старого борца за «славянское дело» спешит защитить славян от возможных посягательств со стороны социалистического пролетариата.

Но вся беда в том, что все эти страхи представляли продукт разгоряченной фантазии или полемических увлечений Бакунина. В программе Маркса революционная диктатура направлена против господствующих классов и имеет в виду ускорить возвращение обществу орудий производства, а также обезопасить его от возможных возвратных покушений реакции. Вместе с тем, в программе ближайших мер, рекомендуемых «Коммунистическим Манифестом» в момент революции, говорится о конфискации одного лишь крупного землевладения, и никогда Марксу в голову не приходило насильственным путем экспроприировать мелкое крестьянство. А впоследствии Энгельс и Каутский определенно высказали ту мысль, что введения коллективизма в деревне социал-демократы [1]) ожидают от самостоятельной

с одним и весьма существенным различием: Прудон, как идеолог мелкой буржуазии, был ярым противником принципа ассоциации, особенно в земледелии; он высказывался против всякого ограничения „свободы сделок и наследования“ (Бакунин, как мы знаем, стоял даже за отмену наследования): он был даже против сдачи государством земли крестьянам в аренду и хотел сделать крестьян неограниченными собственниками своих участков. Повторяя известное „поэтическое“ выражение Мишле, Прудон говорил, что крестьянину „нужна не аренда, не наложничество, а брак“ с землею, и утверждал, что после „социальной ликвидации“ (хороша ликвидация!) „придется серьезно подумать о передаче земли пахарю на началах неограниченного распоряжения (en toute souveraineté)“. (Idée générale, стр. 219—221). Это, конечно, имеет мало общего с идеалом Бакунина, который стоял за коллективизм и в земледелии, но только опасался, чтобы попытки городского пролетариата насильственно навязать крестьянству коммунизм не вызвали реакции со стороны деревень.

[1]) Теперь бы мы, разумеется, сказали: коммунисты.

деятельности крестьянских масс, употребляя выражение Бакунина, снизу вверх [1]).

3. Бунтарство как метод борьбы.

Если идеалом Бакунина была анархия, то методом его осуществления было бунтарство. Он настолько был проникнут бунтарским духом, что об'явил «дух возмущения» одним из трех основных исторических факторов (на-ряду с животною природою человека и мыслью) [2]). Если одним из элементов свободы он признает полное развитие человеческих способностей в обществе, то другим ее элементом он признает бунт человека против всякого авторитета, божественного и человеческого, коллективного и индивидуального [3]). Провозгласив на заре своей политической карьеры знаменитый принцип: «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть», этот вечный бунтарь в последнем своем крупном литературном произведении заявил, что без страсти к разрушению революционное дело немыслимо и невозможно, «потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения,—разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и только посредством него зарождаются и возникают новые миры» [4]).

«Как в природе, так и в обществе, порядок без борьбы—это смерть» [5]). Борьба есть основной фактор жизни: «Борьба—это активная мысль, это жизнь, а активная и жизненная мысль—это сила» [6]). И это совершенно естественно, ибо «борьба—это жизнь, а жизнь—это сила». И Бакунин напоминает, что никогда Франция не была так сильна, как в те

---

[1]) Октябрьская революция на практике подтвердила все наши возражения против Бакунина, которые в 1914 году имели только теоретический характер. (Примечание 1923 года.)

[2]) „Бог и Государство", стр. 3—5.

[3]) „Dieu et l'Etat". Oeuvres, т. I, стр. 282—283.

[4]) „Государственность и Анархия", стр. 32.

[5]) „Парижская Коммуна", стр. 15.

[6]) „Lettres à un Français", Oeuvres, т., II, стр. 115; ср. „Кнуто-Германская Империя", стр. 61.

эпохи, когда она потрясалась внутренними конфликтами, как, например, в 1792—1793 годах.

Бакунин поставил задачей своей жизни бороться с смиренным настроением трудящихся масс и вызвать в них склонность к активному протесту. В этом смысле он провозгласил культ Сатаны, которого он считал как бы воплощением и олицетворением бунтовского духа. Он восхвалял Сатану, этого «вечного мятежника, первого свободного мыслителя и эмансипатора миров. Он заставляет человека устыдиться своего животного невежества и своей покорности; он эмансипирует человека, побуждая его ослушаться и вкусить плода знания» [1]). Возражая мацинистам, которые надеялись отпугнуть итальянских рабочих от Интернационала, об'являя его делом дьявола, Бакунин восклицает: «Бедняжки! Они, значит, не знают, что во все времена Дьявол сильнее всего занимал человеческий род. А Интернационал—это воплощение Сатаны, значит, с ним надо поскорее свести знакомство» [2]).

Современный Сатана, неукротимый бунтовщик—это революционный пролетариат, который после каждого поражения восстает вновь с непобедимой силой. «Современный Сатана, побежденный, но не усмиренный бунтовщик, называется Парижской Коммуной» [3]). И, как мы знаем, Прудона Бакунин хвалил за то, что тот в минуту революционного просветления «провозглашал анархию и поклонялся Сатане».

У Бакунина часто встречается выражение «дьявол в теле».

Оно применяется им к людям, проникнутым «сатанинским» духом возмущения, «революционною страстью».

Это выражение „le diable au corps“ попадается у Бакунина повсюду, и в его сочинениях, и в уставах организованных им тайных братств, и т. д. Как известно, «интернациональным братом» по тайному уставу его Альянса мог быть

---

[1]) „Бог и Государство“, стр. 5.

[2]) La théologie politique de Mazzini et l'Internationale, 1871, стр. 24.

[3]) Ib., 56.

только тот, кто «искренно принял всю программу, со всеми ее теоретическими и практическими последствиями, и кто к уму, энергии, честности и скромности присоединяет еще революционную страсть—носит чорта в теле». Относительно национальных бюро, составленных из «национальных братьев», говорится в том же уставе, что они должны быть очень деятельны и «помнить, что принципы, программы и правила только тогда и стоят чего-нибудь, когда личности, которые должны приводить их в исполнение, носят в себе «чорта в теле».

В этих словах содержится идеализация основного свойства профессионального революционера в том виде, как его рисовал себе Бакунин, который сам был законченным образчиком этой, теперь почти исчезнувшей, породы. Готовность во всякий момент отказаться не только от условий мирного существования, но и рискнуть своей буйной головушкой в интересах «дела», активное неприятие существующего строя, решимость и энергия, склонность к самым отчаянным выступлениям—таковы были те черты, которых Бакунин требовал от профессионального революционера, и которыми сам он обладал в полной мере. Эти-то черты он и об'единяет в символическом выражении «дьявол в теле».

Все эти черты должны служить «делу разрушения». Но как мы знаем, Бакунин не понимал разрушительной работы в исключительно отрицательном смысле. Напротив, для него разрушение и созидание связаны неразрывно.

Разрушение симпатично Бакунину не само по себе, а именно в интересах созидания. Совершенно естественно, что Бакунин отвергает путь мирной деятельности в интересах народного освобождения. «Другой путь—боевой, бунтовской. В него мы верим, и только от него мы ждем спасенья» [1]). Относительно России Бакунин говорил, что народ наш находится «в таком отчаянном положении, что ничего не стоит

[1]) „Государственность и Анархия", стр. 260.

поднять любую деревню» [1]). Но и относительно Запада он, вплоть до своего разочарования в революционности европейских народных масс, придерживался такого же революционного оптимизма. «Мы—в разгаре революции» [2]),—готов он был сказать не только во время франко-прусской войны (1870—1871 г. г.), но и во всякую минуту. И это неудивительно, если припомнить, что для Бакунина бедственное экономическое положение народных масс равнозначуще было их бунтовскому настроению и революционному состоянию страны. Народ всегда-де готов к революции, к принесению всевозможных жертв, потому что «имея лишь очень мало или не имея вовсе собственности, народные массы не развращены ею». Для революции требуется нищета масс, их отчаянье и общенародный идеал, вера народа в свое право, а этот идеал и эта вера всегда существуют в народном сознании, по убеждению Бакунина [3]).

Итак, бунт всегда возможен; но всегда ли он полезен? Бакунин, не колеблясь, утвердительно отвечает на этот вопрос: «Всякий бунт,—говорит он,—как бы неудачен он ни был, всегда полезен» [4]). И полезен он в двояком отношении: во-первых, он приучает народ верить в свои силы и развивает в нем энергию (что сплошь и рядом дело обстоит как раз наоборот, что неудачные, преждевременные, разрозненные восстания уничтожают зародыши организации там, где они существуют, и повергают массу в уныние,—над этим Бакунин вплоть до Коммуны, да иногда и после нее не очень-то задумывался); во-вторых, потому, что при повсеместном революционном настроении народа всякий частичный бунт при известных благоприятных условиях легко может перейти во всеобщее народное восстание, в революцию. Он страшно преувеличивал всякое стихийное движение масс и готов был признать его за первую ласточку «социальной ликвидации». Поражения, понесенные массою во время отдельных стихий-

[1]) Ibid.

[2]) „Lettres à un français". Oeuvres, т. II, стр. 227.

[3]) „Государственность и Анархия", стр. 32, 36, 37, 247 и сл.

[4]) „Государственность и Анархия", стр. 260.

ных бунтов, ничуть не обескураживали Бакунина. И еще в 1873 году, уже после лионского, марсельского и парижского опытов, он говорил Дебагорию-Мокриевичу: «Пусть нас разобьют раз, десять раз, двадцать раз, но если в двадцать первый раз народ нас поддержит, то жертвы окупятся» [1]). Что после двадцати неудачных вспышек народ на двадцать первую, быть может, не пойдет, это Бакунину, видимо, не приходило в голову. Напротив, для него гораздо характернее постоянная ставка ва-банк. «Пан или пропал»,—говорил он, отправляясь в Лион, чуть ли не с декретом об уничтожении государства в кармане [2]). И только после горьких опытов он убеждается (да и то с последующими рецидивами революционной лихорадки), что с помощью такого метода в паны попасть трудновато.

Вместе с гетевским Фаустом он готов сказать: «В начале было дело». Если за словами не следует дело, они ничего не стоят. «Будем мало говорить о революции, а будем много ее делать,—замечает он.—Оставим теперь другим заботу теоретически развивать принципы социальной революции и удовольствуемся широким их применением, воплощением их в факты» [3]).

Факт противопоставляется слову не только в том смысле, что первый есть нечто конкретное и реальное, тогда как второе сплошь и рядом представляет пустую абстракцию, но еще и даже главным образом в том отношении, что народная масса, по мнению Бакунина, способна воспринимать идеи только в конкретной, фактической оболочке. «Народ мыслит фактами, а не словами,—говорит Бакунин,—он большей частью презирает слова. Поэтому надо убеждать его фактами, а не абстрактно-логическими заключениями» [4]).

Только отдельные лица, да и то в небольшом числе, действуют под влиянием отвлеченной и чистой «идеи». Миллионы, массы не только среди пролетариата, но и среди образо-

[1]) Воспоминания Вл. Дебагория-Мокриевича, Спб. 1906, стр. 97.
[2]) Переписка, стр. 305.
[3]) Oeuvres, т. II, стр. 226—227.
[4]) „Всесветный Союз", стр. 33.

ванных и привилегированных классов обыкновенно поддаются только силе и логике «фактов», так как в большинстве случаев они понимают и имеют в виду лишь свои непосредственные интересы или минутные страсти, всегда в большей или меньшей степени слепые» [1]). Отсюда Бакунин, между прочим, делает тот вывод, что вести агитацию среди рабочих необходимо на почве их ближайших насущных потребностей,—идея, которую впоследствии усвоили русские бакунисты-бунтари или народники, применив этот метод сначала к крестьянству, а затем и к рабочим; этой же идеею впоследствии вдохновлялась русская социал-демократия, хотя и не сопровождала ее теми комментариями, которые ей придавал сам Бакунин и его последователи-бунтари.

Подорвать во французском крестьянстве его реакционные устремления правительственными мерами или абстрактной пропагандой революционеров решительно невозможно, говорит Бакунин: «Системе революционных декретов я противопоставляю систему революционных фактов, единственно действительную, последовательную и верную, помимо вмешательства какого бы то ни было официального или авторитетного насилия» [2]). Никакими декретами, приказами или увещаниями здесь ничего не сделаешь; необходимо вызвать самодеятельность самих масс, способствовать их вольной организации снизу вверх, а главное—показать ей наглядный пример [3]). Бонапартистские предрассудки французского крестьянства необходимо разрушить в фактах, разрушая административную машину и подрывая влияние людей, поддерживающих империалистический фанатизм (при этом Бакунин

[1]) Oeuvres, т VI, стр. 70.

[2]) Oeuvres, т. II, стр. 95.

[3]) Вопреки мнению Бакунина декреты Советской власти, например, декрет 26 октября о национализации земли, были великолепною пропагандою фактами, показывали „массам наглядный пример". Противопоставление революционных декретов народной самодеятельности — это одна из самых надуманных теоретических выкладок Бакунина (Примечание 1923 года).

проявляет такую осторожность, что не советует ничего говорить против императора лично).

Революционеры должны являться в деревню не по одиночке, а целыми дружинами; лучше всего, если последние будут состоять из рабочих, так как рабочие из всех классов общества ближе всего стоят к крестьянству. Эти дружины должны не ограничиваться словесной пропагандой, а показать крестьянам наглядный пример «социальной ликвидации». Такова бакунистская тактика, которая лишь отчасти была усвоена русскими бунтарями и почти в полном виде применена была итальянскими анархистами во время известной Беневентской попытки (1877 года).

Так сложилась анархическая теория «пропаганды фактами», рассчитанная, главным образом, на крестьянскую массу, расшевелить которую иными средствами бунтари не считали возможным (да оно и понятно, в виду тех целей, которые они себе ставили). Задачею этой «пропаганды фактами» было: уронить авторитет государства в глазах народа, призвать последний к самостоятельному «антигосударственному» действию, а главное—установить, говоря словами Бакунина, «живую бунтовскую связь между раз'единенными общинами».

Совершенно естественно, что различные социальные элементы Бакунин оценивал сплошь и рядом преимущественно с точки зрения их готовности и склонности к бунтовским выступлениям, с точки зрения интенсивности их бунтовского чувства. Он готов был и пролетариат ценить с этой специфической точки зрения, и вполне понятно, что в этом отношении он должен был отдавать преимущество не рабочей интеллигенции, по его мнению зараженной «буржуазным» духом, а люмпен-пролетариату, как элементу, более подходящему для всякого рода бунтарских экспериментов. С этой же точки зрения он ценил и революционное крестьянство, которому он также отдавал предпочтение перед рабочей интеллигенцией. Что он восхваляет «уличного мальчишку-гамена,

революционера и героя» [1]), этого деятельного участника всех революционных потрясений и застрельщика всех мятежей, это еще куда ни шло: для преклонения перед этим сыном парижской мостовой не нужно быть анархистом. Ведь и Гюго увенчал его лаврами. Но Бакунин в своей апологии бунтарства пошел дальше и дошел до идеализации р а з б о я.

Возмущаясь смирением крестьянской общины, покорно гнущей шею перед своими угнетателями, и отыскивая в русской действительности такой социальный элемент, который, как ему казалось, был российским воплощением идеи бунта, он открыл его в разбойниках. Все дело в том, что в Европе кроме разбойников были еще гамены, босяки, а также более серьезные элементы, как пролетариат и революционное крестьянство. В России же Бакунин, кроме разбойников, других элементов с «дьяволом в теле» не усмотрел, и на этой почве революционного запоя договорился до таких нелепостей, как отождествление разбойников с революционерами, и до приглашения учащейся молодежи итти в разбойничий мир в интересах народного освобождения! Конечно, никто из русских сторонников Бакунина не принял всерьез этих диких призывов и не пошел в среду «лихих ребят». Но впоследствии, отчасти под влиянием этих бакунинских бредней, южнорусские бунтари кое-где в тюрьмах сблизились с некоторыми представителями уголовного мира и даже имели неосторожность привлечь их к революционным делам. Конечно, из этого ничего хорошего не вышло. Впрочем, это было явлением исключительным.

Характерно, что аналогичную идею слияния революционного движения с разбойным миром проповедывал в 40-х годах немецкий коммунист Вейтлинг, когда он оторвался от массового рабочего движения и уединился в гордом озлоблении. Бакунин, как известно, познакомился с Вейтлингом в Швейцарии в 1843 году. Кто из них на кого повлиял в этом вопросе — неизвестно, но очень может быть, что наш «скиф» и «варвар» внушил несчастному Вейтлингу эту гениальную идею.

[1]) „Государственность и Анархия", стр. 179.

Впрочем, даже Вейтлинг не доходил до признания уголовных преступников «настоящими и единственными революционерами».

Бакунин додумался также до другой замечательной идеи, вполне соответствовавшей его анархическим воззрениям, а именно до организации экспроприаций для добывания нужных средств на революционные дела.

Бакунин, повидимому, мечтал об экспроприации в России, тогда как Нечаев замышлял совершенно безумное дело, а именно экспроприацию в Швейцарии с шайкой навербованных горцев. Против этого Бакунин решительно протестовал, но от идеи своей, тем не менее, не отказался.

Эта мысль об экспроприации, впрочем, так и не приведенная в исполнение, вообще не характерна для бакунинского бунтарства. Будучи сторонником инсуррекционных вспышек и активных выступлений инициативного меньшинства, он в то же время высказывался *не за индивидуальные*, а лишь *за групповые акты*. Его бунтарство имело коллективный, а не индивидуальный характер. Относительно некоторых личных покушений террористического характера он высказывался прямо отрицательно, находя их вредными для народного дела. Таким образом, Бакунина нельзя считать родоначальником тех анархистов, которые впоследствии взрывали частные дома, бросали бомбы в театры и кафе и совершали покушения на разных административных лиц. В пользу такой тактики озлобленных одиночек Бакунин никогда не высказывался.

Бакунин был глубоко убежден в спасительности и полезности бунтарского метода действий. Но при этом он признавал *колоссальное значение организации*. «Рабочих много,—говорит он,—но численность не значит ничего, если она не организована» [1]). Неудачу народных движений в Лионе, Марселе и других городах Франции в 1870—1871 годах он об'яснял именно отсутствием организации. Массы,—говорил он,—это сила, по крайней мере, существенный элемент всякой

[1]) „Письмо к французу", Oeuvres, т. II, стр. 256.

силы; но им недостает двух вещей: организации и знания, которые как раз и составляют силу всех правительств. И за организацию пролетариата он восхваляет Международную Ассоциацию Рабочих.

Правда, пропаганда постоянных бунтов, как якобы самого полезного и спасительного дела, и призыв к организации, как единственному залогу успеха, решительно противоречат друг другу. Но Бакунин над этим не задумывался. Вернее, он ставил вопрос как раз наоборот, и полагал, что именно в процессе систематических активных выступлений подберутся решительные характеры, создадутся и упрочатся зачатки организации. Действительность показала, что в этом отношении он жестоко заблуждался, а практика его итальянских последователей, особенно усердно применявших рекомендованную им тактику, привела к тому, что зародыши интернационалистических организаций в Италии были совершенно разгромлены, а это естественно не могло не вызвать решительной реакции против бакунистских методов борьбы Даже когда он разочаровался в близости социальной революции, он сохранил склонность к вспышкопускательству, и в своих писаниях, обращенных к русским и к итальянцам, проповедывал прежнее бунтарство. На самые стачки, на рабочие союзы и т. п. он также смотрел, главным образом, с точки зрения порождения и укрепления ими бунтовского духа и подготовления рабочих к «активным» выступлениям. По общему складу его мысли другие методы борьбы были ему непонятны или несимпатичны, и если он все-таки признавал их, то лишь в качестве орудия, способного подготовить решительное выступление и воспитать массу в бунтарском духе. Но именно на почве этого бунтарского настроения в нем легко развилось разочарование. Когда он после 1870—1871 г.г. убедился, что Европа из критического периода перешла в органический, и что в ближайшем будущем нельзя ожидать активных выступлений, он с такой же быстротой, с какой раньше готов был признать народ во всякий момент готовым к революции, поспешил поставить на

нем крест и признать его обуржуазившимся. По существу это разочарование было так же бесплодно, как бесплодна была и бунтарская тактика, вопреки мнению Бакунина, не создававшая никаких революционных сил, не приводившая к новой их организации, а наоборот, непроизводительно расточавшая ничтожный накопленный революционный капитал и безжалостно разрывавшая слабые нити едва начинавших складываться организаций.

Маркс и Бакунин [1]).

К столетию со дня рождения М. А. Бакунина.

I.

С Марксом Бакунин познакомился в 1844 году в Париже, куда он прибыл из Швейцарии. К этому времени молодой гегельянец успел уже превратиться в человека, не только склонного к политическому радикализму, но и проникнутого в известной степени социалистическим настроением. Тем не менее, взгляды его в общем носили еще слишком абстрактный характер и проникнуты были смутным, инстинктивным бунтарством и неопределенным стремлением к революционным выступлениям. В Париже, который тогда был кипящей лабораторией новых социальных и политических идей и где подготовлялось бурное движение 1848 года, Бакунин перезнакомился с большинством видных политических деятелей как радикально-демократического, так и социально-революционного направления, в том числе с Прудоном и Марксом. К негодованию своего прежнего соратника, левого гегельянца А. Руге, Бакунин явно начал склоняться к коммунистам. В этом отношении на него, несомненно, повлияло знакомство, с одной стороны, с Прудоном, а с другой—с Марксом.

К Прудону он стоял, впрочем, ближе. Прудон должен был привлекать его большей спутанностью и бессистемностью своих воззрений, неясностью и невыработанностью своих взглядов. Это роднило его с Бакунинным, который тогда тоже

---

[1]) Предлагаемая статья представляет извлечение из подготовляемой мною к печати книги „М. А. Бакунин. Его жизнь и деятельность“ (Примечание 1914 года).

находился в процессе брожения мысли, в процессе формулирования своего мировоззрения. С другой стороны, к Прудону его привлекало скептическое отношение последнего к политическим партиям и отрицание государственности. Это гораздо больше соответствовало настроению Бакунина и совпадало с его смутным революционизмом, неопределенным порывом к бесформенному разрушению, к бунту, к протесту вообще. Выходец из отсталой в социально-политическом отношении страны, Бакунин не мог понять происходившей тогда в Западной Европе политической борьбы, взаимного отношения столкнувшихся общественных классов и выставленных ими политических задач. Для таких определенных политических требований в тогдашней России, с ее отсутствием сформировавшихся современных классов—буржуазии и пролетариата, для таких политических задач, для такой сознательной политической борьбы не было еще почвы. Там существовал страшный политический гнет, господствовало крепостное право и соответствовавшее ему всесильное полицейское государство, по временам вспыхивали стихийные и разрозненные крестьянские бунты. И совершенно естественно, что сын такой страны, «скиф» и «варвар», как он любил себя называть, Бакунин не очень-то разбирался в деталях политической борьбы и довольствовался общим революционным настроением, смутной враждой к государству и его органам и стремлением их уничтожить. Это-то анархическое настроение, пока еще не сознательное, а чисто инстинктивное, и сближало его с Прудоном.

Несколько иначе обстояло дело с Марксом. Если на Прудона Бакунин мог влиять в некоторых областях, например, философской, то у Маркса ему приходилось учиться. Хотя Маркс был моложе Бакунина на четыре года, но уже к тому времени он успел, по крайней мере, в самых общих чертах, выработать основные начала своей будущей социально-политической системы. Впрочем, Бакунин впоследствии сам признавал влияние на него Маркса. В одной рукописи 1871 г.

он, между прочим писал: «Маркс был тогда гораздо более крайним, чем я, да и теперь он, если не более крайний, то несравненно ученее меня. Я тогда и понятия не имел о политической экономии, и мой социализм был чисто инстинктивным. Он же, хотя и был моложе меня, уже был атеистом, ученым материалистом и сознательным социалистом. Именно в это время он вырабатывал первые основания своей настоящей системы. Мы довольно часто встречались, потому что я очень уважал его за его знания и за страстную и серьезную преданность делу пролетариата, хотя к ней всегда примешивалось личное тщеславие; я жадно искал беседы с ним, всегда поучительной и остроумной, если только она не вдохновлялась мелкой злобой, что, к сожалению, случалось очень часто. Однако, между нами никогда не было полной близости. Этого не допускали наши темпераменты. Он называл меня сентиментальным идеалистом, и был прав: я называл его мрачным, тщеславным и вероломным человеком, и тоже был прав».

Во всяком случае, не подлежит сомнению, что *именно влияние Маркса окончательно направило мысль Бакунина в социалистическое и материалистическое русло*. Особенно важное значение Бакунин придавал исторической философии Маркса, хотя по самой сущности своего миросозерцания он никогда не в состоянии был правильно ее понять, и в его уме она переплеталась с пережитками старого идеализма. Но любопытно, что в полемике между Марксом и Прудоном Бакунин решительно становился на сторону первого, или, вернее, ему казалось, что он становится на сторону первого, за исключением одного только пункта, а именно анархии и антигосударственности.

Проводя параллель между Прудоном и Марксом (в рукописи 1870 года), Бакунин пишет: «У него (Прудона) были гениальные проблески, открывавшие ему истинную дорогу, но, увлекаемый скверными идеалистическими привычками своего ума, он каждый раз впадал в свои старые заблуждения: вследствие этого Прудон был вечным противоречием, мощным гением, революционным мыслителем, постоянно боровшимся с призраками идеализма и никогда не сумевшим их победить.

«Маркс как мыслитель идет правильным путем. Он установил тот принцип, что в истории все политические, религиозные и юридические эволюции суть не причины, а следствия экономической эволюции. Эта великая и плодотворная мысль не им придумана: она была предусмотрена, а отчасти и выражена многими другими; но в конечном счете ему принадлежит часть ее солидного обоснования и признания ее основой всей его экономической системы. С другой стороны, Прудон гораздо лучше его понимал и чувствовал свободу. Когда Прудон не доктринерствовал и не впадал в метафизику, он обладал настоящим инстинктом революционера: он поклонялся Сатане и провозглашал анархию. Вполне возможно, что Маркс *теоретически* может возвыситься до еще более совершенной системы свободы, чем Прудон; но ему недостает инстинкта свободы: как немец и как еврей, он с ног до головы авторитарий (государственник)».

Из всего вышесказанного ясно одно, что истинно приятельских отношений между Марксом и Бакуниным уже тогда не существовало. Сам Бакунин об'ясняет это якобы несимпатичными чертами марксовского характера и различием их темпераментов. Но, конечно, дело здесь не в темпераментах или, по крайней мере, не в одних темпераментах. Причина этой антипатии лежала гораздо глубже: она об'яснялась *различием двух культур, двух исторических положений и вытекавших отсюда стремлений и настроений*. В то время, как перед умом Бакунина носился идеал стихийных мужицких бунтов, восстаний вроде тех, которые происходили в XVII и XVIII веках в России под предводительством Стеньки Разина и Пугачева, Маркс работал над подготовлением сознательного политического переворота, в котором главную роль должны были играть радикальная демократия и социалистический пролетариат, т.-е. элементы, как раз отсутствовавшие в тогдашней России и органически чуждые и непонятные молодому Бакунину. Встретившись в Брюсселе, куда он был выслан из Франции в 1847 году за речь на польском банкете, с Марксом, который был вы-

слан из Франции еще раньше, а именно в 1845 году, Бакунин писал оттуда Анненкову: «Маркс treibt hier dieselbe eitle Wirtschaft, wie vorher (занимается тем же отвратительным делом, что и раньше), портит работников, делая из них резонеров. То же самое теоретическое сумасшествие и неудовлетворенное, недовольное собою самодовольствие». А в письме к своему другу, революционному немецкому поэту Гервегу, он еще подробнее об'ясняет причину своего недовольства марксистским кружком: «Немцы, ремесленники, Борнштедт, Маркс и Энгельс, и в особенности Маркс, сеют здесь свое обычное зло. Тщеславие, злобность, дрязги, теоретическое высокомерие и практическое малодушие, рефлектирование о жизнедеятельности и простоте и полное отсутствие жизнедеятельности простоты, литературствующие и рассуждающие ремесленники и отвратительное заигрывание с ними. «Фейербах—буржуа», и словечко буржуа сделалось до тошноты надоевшим эпитетом, а сами с ног до головы насквозь мелкие буржуа. Одним словом, ложь и глупость, глупость и ложь. В этом обществе нельзя вздохнуть свободно. Я держусь в стороне от них, и решительно заявил, что не вступлю в их коммунистический ремесленный союз и не желаю иметь с ними ничего общего».

В этих словах, в сущности, прекрасно намечены как все прежние, так и все последующие разногласия между Бакуниным и Марксом. Бакунин совершенно не понимает значения пролетариата в буржуазных революциях современности и считает излишней и даже вредной выработку рабочей интеллигенции, теоретически и практически независимой от влияния буржуазных партий и буржуазной идеологии. Его возмущает характеристика Фейербаха как буржуа, и это весьма знаменательно. Конечно, Маркс не с меньшим уважением относился к Фейербаху и не хуже Бакунина понимал его значение в истории философии: ведь и Маркс, и Энгельс (подобно Чернышевскому и тому же Бакунину) подверглись в свое время сильнейшему влиянию философии Фейербаха, через которую и пришли к материалистическому мировоззрению. Но это не мешало им признавать (если, конечно, Бакунин верно передает содержание разговоров в кружке Маркса),

что в области социально-политической Фейербах не дошел до конца и остался чужд коммунистическим течениям того времени. Видеть в этом «ложь и глупость» может только человек, сам еще не высвободившийся из-под влияния буржуазной идеологии и весьма слабый в вопросах социализма. Точно так же только очень плохой социалист способен презрительно относиться к «литературствующим и рассуждающим ремесленникам», т.-е. к передовым рабочим, достигшим в известной степени образования и абсолютно необходимым для руководства рабочим движением и высвобождения его из-под влияния буржуазных партий. Все это показывало, что Бакунин в сущности идейно чужд был начинающемуся тогда рабочему движению, и, как мы увидим ниже, так продолжалось почти сплошь до конца 60-х годов, когда он примкнул к Интернационалу. Но и туда он внес пережитки своих старых идейных шатаний.

Первый открытый конфликт произошел между Марксом и Бакуниным в 1848 году. Как известно, Бакунин после непродолжительного пребывания в Париже, куда он вернулся после февральской революции, выехал в Германию, чтобы принять участие в тамошней революции, особенно в движениях славянства, и вместе с тем пробраться поближе к русской границе, где ожидалось восстание Польши, а может быть, и русских крестьян. По дороге он встретился с Марксом в Кельне, где тот издавал «Новую Рейнскую Газету», и здесь между ними произошел конфликт по следующему поводу. При участии вышеупомянутого поэта Гервега, во Франции сформирован был так называемый немецкий «демократический легион», который должен был вторгнуться в Германию и поднять там народное восстание. Маркс и его друзья решительно высказались против этой авантюры и рекомендовали членам руководимого ими «Союза Коммунистов» не принимать в ней никакого участия, а вернуться в Германию поодиночке и там стараться стать во главе местных движений. По этому поводу Маркс резко напал на Гервега, а Бакунин выступил в защиту своего друга, что повело к разрыву между ними. Впоследствии (в 1871 году) Бакунин писал: «В этом

вопросе, как я теперь думаю и откровенно это высказываю, правы были Маркс и Энгельс: они лучше понимали общее положение дел. Но они напали на Гервега с развязностью, присущей их нападкам, а я горячо защищал против них отсутствующего в Кельне. Отсюда и наша ссора». Дело, очевидно, было в том, что Маркс и Энгельс уже тогда определенно высказывались против всяких необдуманных вспышек, тогда как Бакунин в силу своей бунтарской природы и смутности своих воззрений готов был, очертя голову, броситься во всякое стихийное возмущение [1]).

Он ждал «анархической крестьянской революции» и готов был для нее обратиться к так называемым «дурным страстям» народа. «Я анархии не боюсь, а желаю ее от всей души,—писал он Гервегу в конце 1848 года,—одна она в состоянии вырвать нас из той проклятой среды, в которой нам приходится так долго прозябать». А летом того же года он писал тому же Гервегу: «Я очень мало интересуюсь парламентскими собраниями; эпоха парламентской жизни, национальных и учредительных собраний и т. п. уже прошла... Я не верю в конституции и законы, самая лучшая конституция меня не в состоянии была бы удовлетворить. Нам нужно нечто иное: порыв и жизнь и новый беззаконный и потому свободный мир».

II.

Мы не можем здесь подробно останавливаться на деятельности Бакунина среди славян, в частности среди чехов и поляков (1848—1849 г.г.). Скажем только, что Бакунин, для

[1]) По этому поводу существует интересный анекдот. Где-то, в Богемии кажется, Бакунин наткнулся на толпу крестьян, осаждавших баронский замок, но не бывших в состоянии овладеть им; Бакунин соскочил с тележки, построил крестьян в боевой порядок, дал им нужные наставления (ведь он был когда-то офицером), и когда он снова взлез на тележку, чтобы ехать дальше, замок уже пылал со всех четырех сторон.

которого ясна была реакционная роль, сыгранная славянами во время революции 1848 года, очутился между молотом и наковальней. Положение Бакунина на Пражском с'езде, идея которого внушена была р е а к ц и е ю, было двусмысленным. Ему приходилось бороться с реакционными поползновениями мелких славянских народностей и особенно с сознательным консерватизмом таких заправил славянского движения, как Палацкий. Тщетно Бакунин стремился убедить представителей славянства, что интересы славянской демократии солидарны с интересами немецких революционеров и боровшихся за свою национальную независимость венгров; большинство с'езда не разделяло революционных стремлений Бакунина. После неудачи пражского восстания и попыток поднять в Богемии новое движение, Бакунин уехал в Бреславль, а оттуда, гонимый полицией, отправился в средине июля в Берлин.

Здесь он встретился с Марксом, и между ними произошло об'яснение по следующему поводу: 6 июля 1848 года в «Новой Рейнской Газете», выходившей в Кельне под редакцией Маркса, появилась корреспонденция из Парижа, в которой говорилось: «Что касается славянской пропаганды, то нас вчера уверяли, что Жорж Занд имеет в своем распоряжении документы, сильно компрометирующие изгнанного отсюда русского Михаила Бакунина, которые изображают его орудием или агентом России, недавно завербованным, и приписывают ему главную роль в недавних арестах несчастных поляков. Жорж Занд показывала эти документы некоторым из своих друзей». Бакунин немедленно протестовал против этой клеветы письмом, напечатанным в выходившей в Бреславле «Всеобщей Одерской Газете», и вместе с тем через своего друга Рейхеля, известного музыканта, обратился к Жорж Занд с просьбой раз'яснить эту историю (протест Бакунина был перепечатан в «Новой Рейнской Газете» от 16 июля). Ответ Жорж Занд был передан редакции «Новой Рейнской Газеты» Бакуниным через поляка Косцельского с требованием напечатать его или дать ему удовлетворение оружием. Письмо это, датированное 20 июля 1848 года, было

напечатано в газете Маркса 3 августа, и гласило: «Факты, изложенные вашим корреспондентом, совершенно ложны. Я никогда не располагала ни малейшим доказательством инсинуаций, распространяемых вами против Бакунина; таким образом, у меня никогда не было основания высказывать какие бы то ни было сомнения в лойяльности его характера и искренности его убеждений. Я обращаюсь к вашей чести и вашей совести с просьбой немедленно напечатать это письмо в вашей газете». Маркс сопроводил это письмо следующим, по правде сказать, несколько странным комментарием: «Таким образом, мы исполнили обязанность прессы строго следить за поведением общественных деятелей и вместе с тем дали возможность г. Бакунину рассеять подозрения, которые действительно высказывались в известных кругах Парижа».

Последние слова, вероятно, относятся к следующим двум фактам. В 1846 году проживавший в Париже Толстой, вращавшийся в революционных кругах и встречавшийся, между прочим, и с Бакуниным, был разоблачен как шпион и агент русского правительства. Об этом, по словам Энгельса, в письме к Марксу от 19 сентября 1846 года (Переписка Маркса и Энгельса т. I, стр. 32—33), знали многие французы и русские; каким же образом Бакунин, который также должен был знать о действительной роли Толстого, все время молчал?— спрашивает Энгельс, и прибавляет: «Он становится также подозрительным». Второй факт состоит в следующем: мы уже говорили, что Бакунин был выслан из Франции за речь, произнесенную на польском банкете. Высылка эта состоялась по ходатайству русского посла Киселева. Не довольствуясь этим, Киселев под рукой распустил слух, будто Бакунин был агентом посольства, которое, ввиду его невоздержанности в языке, сочло нужным отказаться от его услуг. Бакунин протестовал против этой клеветы, а французский министр внутренних дел Дюшатель, интерпеллированный в палате пэров, отделался туманными намеками, которые лишь способны были придать характер вероятности гнусной сплетне. Таков был первый источник тех нелепых обвинений, которые впоследствии так упорно преследовали русского революционера. Вот к этим-то

двум фактам, вероятно, и относятся слова Маркса о подозрениях, которые «высказывались в известных кругах Парижа»[1]).

Бакунин, повидимому, удовлетворился развязкой этого тяжелого инцидента. И, встретившись в конце августа в Берлине, старые знакомые об'яснились и помирились; друзья заставили их даже обняться.

Для об'яснения этого печального инцидента следует заметить, что Бакунин был первым русским революционером, открыто выступившим в Европе в качестве активного деятеля и участника европейских революционных движений. Европейская демократия, смотревшая тогда на Россию как на оплот реакции в Европе и даже проповедывавшая против нее крестовый поход, с величайшим недоверием относилась к русским, которых по общему правилу знала тогда как верноподданных слуг своего правительства. Такие суб'екты, как упомянутый выше Толстой, вертевшиеся в революционных кругах, заявлявшие себя преданными учениками Маркса и даже обещавшие отдать свое состояние на революционные цели и в то же время писавшие доносы в Третье Отделение, способны были только укрепить подозрительное отношение к русским выходцам. Зная, кроме того, что русская дипломатия стремится использовать все европейские потрясения в своих интересах и даже не прочь возбуждать через своих агентов смуты, как, например, среди славянских народностей, особенно в Турции, европейские демократы, для которых русский революционер был тогда невиданной новинкой, не могли сразу понять его и смотрели на него с подозрением и опаской. Тем более, что в его проповеди слышались панславистские нотки, которые должны были еще сильнее настраивать их на подозрительный лад, так как панславизм был излюбленным орудием российской дипломатии. Теперь подобное недоразумение, подобное смешение понятий, конечно, невозможно

[1]) Кроме того, Маркс, очевидно, имел в виду слухи о Бакунине, распространявшиеся с 1846 года в демократических кругах польской эмиграции. См. первый том моей работы „М. А. Бакунин", Москва 1920 (Примечание 1923 года).

(как, впрочем, невозможен и социалист-панславист), но в то время оно было довольно естественно, и его отнюдь нельзя свести к одной злой воле замешанных в нем лиц.

Следует прибавить, что 13 октября 1848 года «Новая Рейнская Газета» решительно напала на прусское министерство за высылку Бакунина из Пруссии, а передовица этой газеты от 14 февраля 1849 года, направленная против воззвания Бакунина к славянам, прямо начинается словами: «Бакунин—наш друг, но это не может помешать нам подвергнуть его листок строгой критике».

Это «Воззвание к славянам русского патриота Михаила Бакунина, члена славянского с'езда в Праге», вышло в начале 1849 года. Сущность его заключается в попытке Бакунина убедить славян соединиться с немецкими и венгерскими революционерами для борьбы с реакционной партией и австрийским правительством, старавшимся натравить славян на немцев, и наоборот. Бакунин пытается соединить и примирить национальные стремления славянства с задачами революционной демократии. Против этих взглядов Бакунина раздались возражения с двух сторон: из лагеря славянских реакционеров и из лагеря немецких демократов. В «Новой Рейнской Газете», от 14 и 15 февраля 1849 года, появилась большая статья Энгельса «Демократический панславизм», посвященная резкой критике бакунинского воззвания.

В этом споре ошибались обе стороны. Энгельс напрасно упрекал Бакунина в том, что у него славянская национальность стоит на первом плане, вытесняя революцию. Напротив, Бакунин все время старался теснейшим образом связать национальные стремления славян с служением революционным задачам и вообще не отделял немецкой демократической революции от славянской. При этом он вовсе не закрывал глаз на постыдную и вместе с тем неразумную роль славян. И, конечно, если бы аргументами вообще можно было повлиять на ход исторических событий, то призывы Бакунина могли скорее оказать действие, чем своеобразная философия истории Энгельса, убеждавшая славян в отсутствии у них («кроме поляков, русских и, пожалуй, турецких славян») всякого

будущего, приглашавшая их заклать себя на алтаре «цивилизации» и угрожавшая им беспощадным террором в случае ослушания. Но, с другой стороны, Бакунин впоследствии принужден был сам признать неосновательность своих тогдашних надежд на славян. А вспоминая о своем споре с Марксом (и Энгельсом) по поводу славянского вопроса, он писал в 1871 году: «Мы в 1848 году разошлись во мнениях, и я должен сказать, что прав-то был, скорее, он... Опьяненный революционным движением, я гораздо больше увлекался отрицательной, чем положительной стороной этой революции... Но в одном пункте я был прав против него. В качестве славянина я хотел освобождения славянской расы из-под немецкого ига, а Маркс в качестве немецкого патриота не признавал тогда, как не признает и теперь (?) права славян на освобождение от немецкого ига, полагая, как ныне, так и тогда, что немцы призваны их цивилизовать, т.-е. онемечить добровольно или насильно» (Ралли—«Из моих воспоминаний». «Мин. Годы», 1910 г., октябрь, стр. 146).

Ясно, что этот конфликт способен был только питать взаимные недоразумения и подозрения, при чем Маркс (и Энгельс) подозревал Бакунина в панславизме, а тот его—в пангерманизме. И эти взаимные обвинения продолжали раздаваться и впоследствии во время их ожесточенной борьбы в рядах Интернационала.

Как известно, Бакунин был скоро арестован и после мытарств по саксонским и австрийским тюрьмам выдан России, где посажен в Петропавловскую крепость (до 1851 года), затем переведен в Шлиссельбургскую крепость (до 1857 года), после чего сослан в Сибирь, откуда и бежал в конце 1861 года. Приехав в Лондон, Бакунин не счел нужным сделать визита Марксу, ввиду того, что Герцен, у которого он остановился, предупредил его относительно деятельного якобы участия Маркса в клеветах, распускавшихся против Бакунина, когда он сидел в русской крепости. В действительности, здесь произошло недоразумение, заключавшееся в следующем:

В 1853 году в английской, тогда радикальной, газете «Morning Advertiser», которую, впрочем, сам Маркс иронически

называет органом «об'единенных кабатчиков», кружок Уркарта [1]) открыл кампанию против Бакунина, выставляя его агентом русского правительства, а с другой стороны, заподозревая его как революционера. Маркс подробно осведомлял Энгельса о ходе этой истории. Тогда Маркс еще не знал (он узнал об этом несколько месяцев спустя), что среди уркартистов имеется некий Френсис Маркс, подписывавшийся Ф. М., фамилия которого, вероятно, и была причиной происшедшего недоразумения, в силу которого Герцен решил, что именно Карл Маркс вдохновляет всю эту кампанию против Бакунина. Правда, Герцен должен был бы обратить внимание на то, что авторы статей в упомянутой газетке выдвигали против Бакунина два одинаково сильных, по их мнению, обвинения: 1) что он агент русского правительства, и 2) что он революционер. Уж одно это должно было показать ему, что Карл Маркс здесь не при чем. Но его, конечно, сбивало с толку воспоминание о корреспонденции в «Новой Рейнской Газете» 1848 года, а затем известная ему ненависть Маркса к панславизму.

В действительности, против инсинуаций уркартистов протестовали не только Герцен и Маццини, но и Карл Маркс. Сначала последний не вмешивался в начавшуюся полемику, находя, что она Бакунину приносит только вред, но когда Головин поместил в газете апологию Бакунина, в которой задел Маркса, рассказав про инцидент с «Новой Рейнской Газетой», тогда Маркс решил опубликовать заявление для того, чтобы восстановить факты (подробно об этом смотри в переписке Маркса и Энгельса, т. I, стр. 426—435). Упомянув обо всех обстоятельствах, изложенных нами выше, равно как о своем известном отзыве о роли Бакунина в Дрездене («Они нашли способного и хладнокровного вождя в русском эмигранте Бакунине»—Революция и контр-революция в Германии), Маркс заканчивал свое письмо в редакцию указанием, что автор клеветнических статей последователен с своей нелепой точки зрения: так как, по его мнению, все революции в Европе слу-

[1]) Английский литератор, враг России и поклонник Турции.

жат на пользу русскому правительству, то отсюда легко сделать вывод, что все вожди революционного движения в Европе в большей или меньшей степени являются агентами русского правительства; против такой мании невозможно бороться. Головин продолжал нападки на Маркса, который снова хотел поместить ироническое заявление насчет услужливых дураков, но напечатать его в «Morning Advertiser» ему не удалось, и поместил ли он его в «Peoples Paper», неизвестно.

Во всяком случае, во время этой истории Марксу снова пришлось натолкнуться на славянофильские идеи, господствовавшие, к его удивлению, и среди многих тогдашних русских революционеров,—явление, которое всегда его возмущало, и с которым он не переставал бороться. В конце письма к Энгельсу от 7 сентября 1853 года он с негодованием пишет: «Бедные русские... раз'езжают теперь на том коньке, что русский народ насквозь демократичен, официальная же Россия (царь и бюрократия)—сплошь немцы, равно как и русское дворянство. Итак, приходится бороться не с Россией в Германии, а с Германией в России! Ты знаешь Россию лучше, чем я, и если выберешь время для опровержения этих благоглупостей, то крайне меня этим обяжешь».

В действительности и Маркс, и Энгельс относились тогда к Бакунину довольно хорошо. Так, Энгельс в письме от 27 ноября 1861 года выражает большую радость по поводу удачного бегства Бакунина из Сибири и говорит: «Бедняге пришлось чертовски много вынести. Совершить кругосветное путешествие при таких условиях!» (Переписка, т. III, стр. 41). Маркс был, видимо, раздосадован и удивлен тем, что Бакунин к нему не пришел. Сообщая Энгельсу в письме от 25 февраля 1862 года о новой выходке уркартистов против прибывшего в Лондон Бакунина, он прибавляет: «Я его не видал. Он живет у Герцена». Последние слова показывают, что Маркс догадывался об истинной причине поведения Бакунина.

Но во второе посещение Лондона Бакунин увидался с Марксом. Старые общие друзья устроили им свидание, во-

время которого между ними произошло об'яснение. Маркс уверил Бакунина, что никогда не принимал ни прямого, ни косвенного участия в направленных против него гнусных клеветах. При этом Маркс говорил чистую правду, но Бакунин, настроенный крайне недоверчиво против Маркса, особенно под влиянием рассказов Герцена, ему не поверил (как впоследствии сам рассказывал). Впрочем, Маркс сделал вид, что не удовлетворен его об'яснениями, и они расстались по внешности старыми приятелями.

Маркс принял Бакунина в члены Интернационала, при чем последний обещал ему работать по мере сил на пользу Международной Ассоциации Рабочих. Нужно отдать справедливость Марксу: в этом случае он действовал гораздо более искренно и прямодушно, чем славянский гигант. На другой день после свидания Маркс писал Энгельсу (письмо от 4 ноября 1864 года): «Бакунин тебе кланяется. Сегодня он уехал в Италию, где живет (во Флоренции). Вчера я снова увидал его в первый раз после шестнадцати лет. Должен сказать, что он очень мне понравился и больше, чем прежде... Теперь, после провала польского восстания, он будет, по его словам, участвовать только в социалистическом движении. В общем он один из немногих людей, которые за эти 16 лет ушли не назад, а вперед».

III.

Приняв всерьез обещание Бакунина, Маркс послал ему статуты Интернационала и «Учредительный Адрес». Бакунин ответил ему восторженным письмом по поводу присланных документов и обещал озаботиться переводом «Учредительного Адреса» на итальянский язык. Во всяком случае, на основании беседы с Бакуниным в Лондоне, а также на основании его письма от 7 февраля 1865 года, в котором Бакунин извиняется за долгое молчание и обещает впредь писать аккуратно, Маркс имел основание считать его своим единомышленником и даже до извест-

ной степени смотреть на него, как на своего агента в Италии. Так, сообщая Энгельсу в письме от 11 апреля 1865 года о борьбе с маццинистами, Маркс говорит: «Тем временем я буду во Флоренции закладывать контрмины против г. Маццини через Бакунина». Сообщая 1 мая 1865 года о выходе итальянских делегатов из Генерального Совета, Маркс прибавляет: «Если ребята (итальянцы) не поспешат назначить новых делегатов, как мы просили, то Бакунину придется озаботиться подысканием нескольких живых итальянцев». И, наконец, уведомляя Энгельса в письме от 4 сентября 1867 года о выходе в Неаполе двух номеров газеты «Liberta et Giustizia», признавшей себя органом Интернационала, Маркс говорит: «В № 2 содержится хорошее нападение на Маццини. Подозреваю, что здесь не обошлось без Бакунина». Мало того, когда Боркхейм собирался начать кампанию против Бакунина, которого он считал опасным для европейской демократии панславистом, Маркс и Энгельс старались всячески его от этого удерживать, отказывались давать ему для перепечатки свои старые, направленные против Бакунина, статьи и даже мешали ему помещать свои нападки на Бакунина в социал-демократических изданиях, причем Маркс издевался над его «руссофобией, принимающей опасные размеры» (Переписка, т. IV, стр. 105).

Но тон их сразу меняется, отношение к Бакунину сразу ухудшается после образования «Альянса социальных революционеров».

Мы уже видели, как Бакунин не исполнил своего обещания, данного Марксу в Лондоне в 1864 году, и как он упорно молчал, не отвечая на письма. Мало того, даже когда Маркс послал ему, как «старому гегельянцу», первый том своего «Капитала», Бакунин и тогда не счел нужным откликнуться. Чем же он был занят в это время, почему он так старался законспирироваться от Маркса? Дело в том, что за эти годы (1864—1868) Бакунин занят был организацией тайных революционных братств с анархической программой и бунтарской тактикой, привлекая в эти братства всевозможных выходцев из буржуазной демо-

кратии, особенно из деклассированной интеллигенции, к которой он питал величайшую слабость и которую считал солью земли, призванной руководить будущей социальной революцией. Ему казалось, что Маркс слишком много значения приписывает пролетариату и не обращает достаточного внимания на буржуазную демократию, которую он, Бакунин, надеялся привлечь к делу «социальной ликвидации». Особенно много надежд он возлагал в этом отношении на старых демократов, своих бывших друзей и соратников по 1848 году. Делал ли он это потому, что в нем продолжали действовать старое недоверие и антипатия к Марксу, побуждавшие его искать самостоятельной работы вне Интернационала, где Маркс играл руководящую роль, или же потому, что он хотел сам играть первую скрипку, не желая ограничиваться подчиненной ролью,—все эти вопросы, которых мы не хотим здесь касаться. Факт тот, что его упорное молчание должно было, в конце концов, возбудить в Марксе подозрение, и это подозрение должно было особенно усилиться после того, как Бакунин, выйдя, наконец, на открытую политическую арену, поспешил примкнуть не к Интернационалу, а к буржуазной «Лиге Мира и Свободы». И это после того, как он за три года перед тем торжественно обещал Марксу, что впредь будет участвовать только в социалистическом и рабочем движении!

«Лига Мира и Свободы» была попыткой международного сближения буржуазных демократов, как бы в параллель международному сплочению пролетариата в рядах Интернационала. В 1867 году Бакунин появился в Женеве на конгрессе Лиги и был избран в ее центральный совет. Насколько его взгляды были тогда еще путаны, видно из того, что он мечтал о союзе Интернационала с Лигой на том условии, что рабочие обяжутся поддерживать буржуазию в борьбе за политическую свободу, а буржуазия обяжется содействовать экономическому освобождению пролетариата! На втором конгрессе Лиги в Берне в 1868 году Бакунин со своими друзьями из тайных братств внес ряд социально-революционных предложений в анархическом духе, а когда они были отвергнуты

буржуазным большинством, то Бакунин с товарищами выступил из Лиги и основали «Международный Союз Социальной Демократии», известный также под названием «Альянса социальных революционеров», с чисто анархической программой. Организовавшись, Альянс обратился к Генеральному Совету с просьбой принять его в состав Интернационала, но при этом выражал желание сохранить свою особую программу и организацию, т.-е. право самостоятельно принимать секции в Интернационал наравне с Генеральным Советом, устраивать на международных конгрессах Интернационала свои отдельные конгрессы в особых помещениях и т. д.

Теперь, когда Бакунин окончательно «разочаровался» в буржуазной демократии и решил не на словах только, а и на деле вступить в Интернационал, он обратился к Марксу со следующим письмом от 22 декабря 1868 года (это письмо напечатано в «Neue Zeit» от 6 октября 1900 года):

«Мой старый друг, Серно сообщил мне ту часть твоего письма, которая касалась меня. Ты спрашиваешь его, продолжаю ли я быть твоим другом. Да, и даже более, чем когда-нибудь, дорогой Маркс, потому что я понимаю теперь лучше, чем когда-нибудь, насколько ты был прав, идя сам и приглашая и нас итти путем экономической революции и резко нападая на тех из нас, которые готовились сбиться с этого пути на тропинки националистических или чисто-политических предприятий. Я делаю теперь как раз то, что ты начал делать 20 лет тому назад. После торжественного публичного прощания с буржуа Бернского конгресса, я не знаю другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. Мое отечество теперь это Интернационал, которого ты был одним из главных основателей. Итак, ты видишь, дорогой друг, что я твой ученик и горжусь этим. Вот все, что я считаю необходимым сказать, чтобы уяснить тебе мои общественные отношения и личные чувства... Я посылаю тебе также программу Союза, основанного нами с Беккером и со многими итальянскими, польскими и французскими друзьями. По этому поводу нам придется еще много поговорить между собою. Вскоре я пришлю тебе копию большого письма—почти брошюры, которое

я пишу об этом предмете нашему другу Цезарю де-Папу. Передай от меня привет Энгельсу... Передай ему, пожалуйста, один экземпляр моих речей, равно как Эккариусу и Юнгу.

Преданный тебе М. Бакунин.

Передай также от меня, пожалуйства, поклон г-же Маркс».

Но теперь Маркса уже не легко было подкупить словами, особенно, когда он узнал, что еще до обращения Альянса к Генеральному Совету бакунисты старались привлечь на свою сторону бельгийских интернационалистов. Генеральный Совет сразу почуял в бакунинском союзе опасного врага, которому суждено внести дезорганизацию в Интернационал, и категорически отклонил ходатайство Альянса. Тогда последний сообщил Генеральному Совету, что он решил распустить свою организацию и готов превратить свои секции (всего-то их было не то 2, не то 5) в секции Интернационала, с условием сохранения своей теоретической программы. От оценки последней Генеральный Совет уклонился (некоторые частичные поправки по его указаниям были, однако, сюда внесены), но согласился допустить в Интернационал отдельные секции бывшего Альянса на общих основаниях. С этого момента начинается внутри Международной Ассоциации Рабочих ожесточенная борьба двух направлений, которая и закончилась распадением Интернационала.

IV.

Мы не можем здесь подробно останавливаться на причинах и ходе борьбы двух направлений в Интернационале [1]).

[1]) Читателей, интересующихся этим вопросом, мы отсылаем к нашим статьям „Маркс и анархисты“ и „Политическая деятельность К. Маркса“ в сборнике „Памяти Карла Маркса“. Спб. 1908 (а также к нашей книге „Первый Интернационал“, Госиздат, Москва, 1923, издание третье, дополненное и исправленное).

Статья наша и без того разрослась, и нам придется ограничиться самыми общими указаниями. Альянс был распущен только на словах; в действительности же он продолжал существовать, меняя свою форму и состав. Опубликованные с тех пор документы подтверждают обвинение, выдвинутое Марксом против Бакунина, что он создал в рядах Интернационала тайный союз, преследовавший свои особые цели и пытавшийся направить весь Интернационал по своему пути. Не все члены этого тайного союза были одинаково посвящены в те цели, которые ставили себе организаторы. Возможно, что первоначально последние и не думали стремиться к разрушению Интернационала, а только ставили себе целью самостоятельные, независимые от Генерального Совета, активные выступления в случае благоприятных обстоятельств. Но конспирации имеют свою логику, и конспирация внутри Интернационала неминуемо должна была рано или поздно привести к его распадению.

Впрочем, раскол был вообще неизбежен, ввиду разношерстности входивших в Интернационал элементов, начиная от умеренных реформистов-кооператоров и кончая бланкистами и анархистами, ввиду новизны и неопытности массового рабочего движения, ввиду его быстрого роста и порождённых им широких надежд, для немедленного осуществления которых еще не было в наличности об'ективных условий.

Выдвинув против марксистского Генерального Совета обвинение в стремлении к диктатуре и в желании навязать Интернационалу «государственническую» программу немецких коммунистов и выставив с своей стороны анархическую программу, Бакунин привлек на свою сторону такие страны, как Испания, Италия, часть Швейцарии, для которых, вследствие их экономической отсталости, его взгляды гораздо больше подходили, чем взгляды Маркса. Последний не сразу, как следует, оценил опасность нового соперника. В письме от 18 декабря 1868 года Маркс иронически пишет Энгельсу, что Бакунин снизошел до того, что «готов взять рабочее движение под русское руководство». Теперь Маркс признает

правоту Боркхейма. Он издевается над претензией Альянса принести в Интернационал недостающий ему «идеализм» («русский идеализм», как он иронически замечает). Но он уже начинает понимать, что дело приняло более серьезный оборот, чем он раньше думал. В своем ответе Энгельс, подшучивая над «русской интригой», преуменьшает опасность бакунинской затеи и считает ее обреченной на быстрое исчезновение.

По мере обострения борьбы тон друзей по отношению к Бакунину становится все более резким, и не только по отношению к Бакунину, но и ко всем русским эмигрантам, идущим за ним, вообще. Даже к А. Серно-Соловьевичу, доставлявшему Боркхейму материалы против Бакунина, Маркс относится с недоверием: «Я не верю ни одному русскому»,—пишет он Энгельсу от 13 января 1869 года. А в письме от 31 июля 1870 года Энгельс, сообщая Марксу о русских эмигрантах, противниках Бакунина и сторонниках Генерального Совета, все-таки относится к ним иронически и скептически. «Русь остается Русью». Когда шесть русских ссорятся между собой, то поднимается такая свара, как будто от исхода ее зависит судьба мира. «Во всяком случае, наши сторонники, повидимому, порядочные ребята, насколько это доступно русскому, но я бы все-таки был с ними осторожен. Впрочем, не мешает знать эту склоку, ведь это относится к дипломатии пролетариата» (Переписка, т. IV, стр. 305).

Для понимания такого отношения следует вспомнить, что к этому времени разыгралась не только история Бакунина, но и история Нечаева. Как известно, Бакунин оказал Нечаеву энергичную поддержку и покрывал своим авторитетом всю его ложь и авантюры, пока не убедился, что Нечаев стремится его самого превратить в слепое орудие своих планов. Интересно, что Боркхейм первый почуял всю лживость нечаевских рассказов об его аресте, о попытке русских жандармов убить его, и т. д., и т. п. Затем материалы против Нечаева начал доставлять Боркхейму и Марксу Лопа-

тин. Сообщая Энгельсу 5 июня 1870 года о разоблачении Нечаева Лопатиным, Маркс ядовито издевается над доверчивостью и наивностью Бакунина, который не только поверил всем рассказам Нечаева, но даже помогал ему распространять их в европейской социалистической прессе. А что Маркс и Энгельс относились отрицательно далеко не ко всем русским революционерам, видно из их отзывов о Чернышевском, Лопатине и Флеровском, книгу которого о «Положении рабочего класса в России» они признавали явлением замечательным (Переписка, т. IV, стр. 240—244). Любопытно кстати отметить, что и Маркс надеялся тогда на близкое наступление «страшной социальной революции» в России (письмо от 12 февраля 1870 года).

Маркс определенно признавал допустимость теоретических разногласий в Интернационале при единстве действия. «Так как отдельные рабочие секции в одной и той же стране и рабочий класс в различных странах необходимо находятся на весьма различных ступенях развития, то и реальное движение неизбежно выливается в весьма различные теоретические формы. Единство действия, осуществляемое на практике Международной Рабочей Ассоциацией, обмен мнениями между разными органами секций во всех странах, наконец, непосредственные дебаты на общих конгрессах постепенно создадут для всемирного рабочего движения также общую теоретическую программу». Вот почему Генеральный Совет отказался войти в обсуждение теоретической программы Альянса.

Но наших друзей возмущало стремление Бакунина к диктатуре в международном движении пролетариата, возмущало тем более, что они, и не совсем без основания, подозревали Бакунина в революционном панславизме. В письме от 28 февраля 1869 года Энгельс сообщает, что он советовал Боркхейму поднять вопрос, можно ли вообще западным европейцам иметь что-либо общее с панславистским сбродом до тех пор, пока «эти господа проповедуют свое славянское господство (?)». А в письме от 30 июля 1869 года Энгельс, сообщая

о разногласиях с И.-Ф. Беккером [1]), прямо берет быка за рога, и говорит: «Что здесь не обошлось без жирного Бакунина, это совершенно ясно. Если этот проклятый русский в действительности думает пролезть во главу рабочего движения, то настало время раз навсегда проучить его, и поставить вопрос, может ли панславист вообще быть членом Международной Рабочей Ассоциации. Справиться с ним не трудно. Пусть он себе не воображает, что перед рабочим он может разыгрывать роль космополитического коммуниста, а перед русскими—роль горячего панслависта».

Постепенно Маркс и Энгельс замечают, что влияние Бакунина среди интернационалистов, особенно романских стран, возрастает. «Этот господин,—пишет Маркс от 10 февраля 1870 года,—всерьез воображает, что мы «слишком буржуазны», а потому неспособны понять и оценить его возвышенные воззрения относительно «наследственного права», «равенства» и вытеснения предшествующей государственной системы Интернационалом. На словах его Альянс Социалистической Демократии распущен, но в действительности он продолжает существовать». Теперь друзья уже не думают, что затея Бакунина рассыплется прахом после первого же отпора; напротив, они готовы теперь, хотя бы на время, уступить ему Испанию и Италию (письмо от 11 февраля 1870 года). Наконец, ход прений на Базельском конгрессе Интернационала (сентябрь 1869 года), где резолюция Бакунина об отмене наследственного права собрала больше голосов, чем резолюция Генерального Совета (хотя ни та, ни другая не прошли), открыл Марксу и Энгельсу глаза на всю опасность, которою бакунизм угрожает Международной Ассоциации. В письме от 3 августа 1870 года Маркс прямо признает, что без немецкого элемента в Швейцарии Бакунин побил бы сторонников Генерального Совета на Базельском конгрессе. Из того же

[1]) Старый немецкий революционер, друг Маркса и Энгельса, Иоганн-Филипп Беккер одно время подпал под влияние Бакунина и вошел даже в его Альянс. Но скоро он порвал с ним и решительно выступил против анархистов.

письма явствует, что, сопротивляясь созыву конгресса в 1870 году, который бельгийцы предлагали назначить на 5 сентября в Амстердаме, Маркс, между прочим, опасался того, что этот конгресс будет состоять, главным образом, из ставленников Бакунина.

Теперь борьба с обеих сторон принимает самый ожесточенный характер. Что при этом с обеих сторон совершено немало несправедливостей и так называемых «некрасивых поступков», это заранее можно предвидеть. Но плох тот историк, который за этой грудой наносного шлака не может разглядеть истинных причин конфликта, имеющих всемирно-историческое значение. С другой стороны, анархисты, как сторона, оказавшаяся побежденной в этом конфликте, создали с тех пор целую литературу, направленную к изобличению Маркса, Энгельса и их сторонников в «интригантстве», «оклеветании» Бакунина и его друзей, и т. д. Мы не хотим отрицать, что Маркс и Энгельс, как люди, могли ошибаться и иногда быть несправедливыми. Но, во-первых, не следует забывать, что в этом конфликте они отстаивали правильно понятые интересы рабочего движения и основные принципы международного социализма, тогда как их противники пытались сбить рабочее движение с правильного пути, завести его на тропинки авантюристской тактики и засорить с таким трудом достигнутое пролетарское сознание примесью чуждых идеологий—мелкобуржуазной, люмпен-пролетарской и крестьянской. А, во-вторых, какие бы несправедливости ни совершали в этой борьбе марксисты, они все-таки никогда не унизились до тех приемов, к которым прибегали Бакунин и его последователи. И если марксисты до сих пор больше защищались (если вообще считали нужным защищаться), чем обвиняли своих противников-анархистов в «некрасивых поступках», то объясняется это, главным образом, тем, что они вышли из этой борьбы победителями. И если говорят, что победителей не судят, то еще с большим основанием можно сказать, что благородные победители не судят побежденных врагов.

Обвинения анархистов в том, будто марксисты во время борьбы с Бакуниным в Интернационале называли его агентом русского правительства, совершенная неправда. В действительности они только разоблачали его панславистские поползновения, а это составляло не только их право, но и прямую обязанность. Если вообще националистические стремления противоречат духу Интернационала и крайне вредны для рабочего самосознания, то особенно вредны такие реакционные разновидности национализма, как панславизм, который в истории, несомненно, всегда играл роль орудия в руках российского абсолютизма. Что Бакунин особенно болезненно отзывался на это обвинение, совершенно естественно, так как он прекрасно чувствовал, что здесь находится наиболее слабый, наиболее уязвимый, наиболее способный скомпрометировать его перед международным социализмом пункт его мировоззрения. А так как именно его деятельность среди славян некогда послужила одним из оснований к выставлению против него этого позорящего обвинения, то естественно, что в его уме указание на его панславистические тенденции ассоциировались с утверждением, что он является вольным или невольным агентом русского правительства. Но мы должны еще раз подчеркнуть, что даже в самом разгаре борьбы Маркс никогда не заподозревал политической честности Бакунина, хотя и считал его деятельность крайне опасной и вредной для рабочего движения и признавал его величайшим честолюбцем и интриганом (последнее, впрочем, Бакунин делал и по отношению к Марксу).

V.

Анархисты особенно стараются использовать против Маркса знаменитое «Конфиденциальное сообщение», посланное Марксом 28 марта 1870 года своему другу, доктору Кугельману, для передачи вождям германской социал-демократии и в первую голову центральному комитету партии, нахо-

дившемуся в Брауншвейге. Но теперь уже выяснено, что это конфиденциальное сообщение, представляющее, по мнению анархистов, якобы личное произведение Маркса, было не чем иным, как «конфиденциальным циркуляром» Генерального Совета, принятым на заседании 1 января 1870 года. В качестве представителя Германии в Генеральном Совете Маркс и послал немецким социал-демократам, а именно Эйзенахской фракции, примыкавшей к Интернационалу, этот циркуляр. Но по полицейским условиям он должен был скрыть его официальное происхождение и придать ему вид частного послания, при чем даже о себе он говорит там в третьем лице [1]).

Этот циркуляр Маркс снабдил в начале и в конце некоторыми пояснительными примечаниями. Против этих примечаний и протестуют особенно анархисты, обвиняя их в лживости и клеветническом характере. Между тем, что касается вводной части этих дополнений, внесенных Марксом, то они содержат лишь совершенно верное, подтверждаемое всеми опубликованными с тех пор документами, изложение фактического положения дел от встречи Маркса с Бакуниным в Лондоне в 1864 году до 1870 года, т.-е. времени принятия Генеральным Советом этого циркуляра. Только в конце рассматриваемого документа имеется одно место, которое действительно не соответствует истине и которое, повидимому, об'ясняется плохим информированием Маркса со стороны его русских единомышленников. Маркс и в этом документе не высказывает никаких подозрений против политической лойяльности Бакунина, но он между прочим там пишет: «Умер Герцен. Бакунин, который с того времени, как он захотел стать во главе европейского рабочего движения, отрекался от своего друга и покровителя Герцена, немедленно после его смерти принялся громко его восхвалять. Почему? Герцен, несмотря на то, что он сам был богатым человеком, получал

[1]) См. статьи Рязанова в „Neue Zeit.“: „Sozialdemokratische Flagge und anarchistische Waare,“ 1913/14. №№ 5, 7, 8, 9, 10.

ежегодно 25.000 франков на пропаганду от дружественной ему псевдо-социалистической панславистской партии в России. Благодаря громким славословиям Бакунина, эти деньги перешли к нему, и он таким образом в денежном и моральном отношении malgré sa haine de l'héritage (несмотря на свою ненависть к праву наследства), вступил во владение наследством Герцена».

В действительности Бакунин начал расходиться с Герценом не «с того времени, как он захотел стать во главе европейского рабочего движения», а с момента своего приезда в Лондон, после побега из Сибири. В конце концов они совершенно разошлись, так как Бакунин не мог примириться с умеренно-либеральным направлением Герцена и с его скептическим отношением к социалистическому движению, а Герцен, с своей стороны, крайне несочувственно относился к революционной деятельности Бакунина и в частности к его анархическим взглядам. Слова Маркса о «громких славословиях», вероятно, относятся к некрологу Герцена, написанному Бакуниным после смерти своего друга и напечатанному во французской газете «Марсельеза». Но что Бакунин был здесь вполне искренен, это мы прекрасно знаем. Письмо его к Огареву после смерти Герцена показывает, как он был поражен смертью старого товарища. И действительно, хотя Бакунин во многом расходился с Герценом и открыто ему это высказывал, он все-таки глубоко ценил его ум и чувствовал к нему глубокую привязанность. Наконец, мы прекрасно знаем, что никакой панславистской, истинно-социалистической или псевдо-социалистической, партии в России никогда не существовало, и уже по тому одному она никогда никаких денег Герцену посылать не могла. Те же 25.000 франков, о которых говорит по наслышке Маркс, это был так называемый «Бахметьевский фонд» или «Общий фонд»: молодой социалист Бахметьев (некоторые думают, что он послужил Чернышевскому прототипом для знаменитой фигуры революционера Рахметова), эмигрировавший из России, передал Герцену 20.000 франков на дела русской революционной пропаганды; впоследствии эти деньги поступили, благодаря настояниям

Бакунина, в распоряжение Нечаева, но самому Бакунину из них досталось, может быть, каких-нибудь несколько сот франков. Все остальное было израсходовано Нечаевым на его революционные предприятия.

Что Маркс здесь заблуждался добросовестно, в этом мы не сомневаемся. Зная нашего великого учителя, мы ни на минуту не можем допустить, чтобы он сообщал своим товарищам в частном послании факты, заведомо ложные: этого не допустили бы ни его совесть, ни, наконец, его здравый смысл, так как факты всегда ведь могут быть проверены. Но все-таки крайне жаль, что, хотя бы по ошибке, из-под пера Маркса вылились такие неточные сообщения. В оправдание его следует, впрочем, пояснить, что в тот момент о «бахметьевском фонде» циркулировали самые неточные и фантастические слухи даже среди русской эмиграции.

А так как в этой среде имелось немало яростных врагов Бакунина и принципиальных противников панславизма, то совершенно ясно, что именно из этих источников Маркс получил эти неверные сведения относительно фонда и роли Бакунина в его судьбе. Но во всяком случае мы должны снова повторить, что в пассиве марксистов мы при самых тщательных поисках не найдем и намека на те выходки, какие мы встречаем в «полемике» анархистов.

Анархисты на тысячу ладов варьируют обвинение против Маркса, сводящееся к тому, что он позволял себе клеветать на Бакунина в частных посланиях. Но так как пропагандистская и агитационная деятельность Бакунина сводилась, главным образом, к личной переписке с деятелями революционного движения, то уже a priori можно предположить, что на каждую «сплетню» Маркса придется, по крайней мере, сотня сплетен со стороны Бакунина. Так оно и есть. Бакунисты с удовольствием перепечатывают положительные отзывы своего учителя о Марксе: дескать, вот какой благородный человек был Бакунин, что даже в разгар борьбы признавал достоинства и заслуги своего вероломного и коварного врага! Но они умалчивают о том, что на каждую похвалу Марксу у Бакунина найдется добрый десяток всяческих ругательств по

адресу того же Маркса, да и всякое признание заслуг Маркса обязательно сопровождается у него целым рядом инсинуаций по поводу «отвратительного характера» Карла Маркса и его «диктаторских» замыслов.

Мы могли бы привести десятки и сотни доказательств наших слов, но это было бы слишком долго и однообразно. Скажем только, что он походя обвиняет Маркса в доктринерстве, в диктаторстве, интриганстве, самовлюбленности, тщеславии, дикой нетерпимости, злорадстве, презрении к толпе и т. д., и т. п. И все это писалось в письмах часто к малосознательным людям, а не только к лидерам движения, которые способны были бы разобраться в выставленных обвинениях. Маркс и Энгельс нападали на склонность Бакунина к революционному панславизму, и мы знаем, что в значительной мере их нападки были основательны. Между тем, Бакунин постоянно обвинял Маркса в «пангерманизме», в немецком патриотизме и в служении интересам Бисмарка, что было уже явным вздором, если не заведомою клеветою. При этом следует отметить, что с особенной энергией Бакунин выдвигал это обвинение против Маркса после франко-прусской войны, когда имя Бисмарка, особенно среди французов и вообще в романских странах, было синонимом грубого насилия, торжествующего милитаризма и реакции.

Но это еще ничего. Такого рода полемика все-таки не выходит из границ допустимого, из рамок идейной борьбы. А между тем в полемике Бакунина (и, конечно, также в частных письмах) мы встречаемся с такими перлами, которые можно найти только в черносотенной печати.

VI.

Относящиеся к этой эпохе писания Бакунина переполнены самыми постыдными антисемитическими выходками. Читатель пришел бы в ужас, если бы мы вздумали привести все эти выходки (для этого понадобились бы десятки страниц). Только барское происхождение Бакунина,

только его крайняя «беспардонность» и только ожесточение, вызванное в нем яростной борьбой, зачастую принимавшею личный характер, могут, если не оправдать, то, по крайней мере, об'яснить эти выходки. Впрочем, следует заметить, что ненависть к евреям, как и к немцам, подсказывалась Бакунину не только личными мотивами, т.-е. не только тем, что среди его наиболее ярых противников имелись и евреи, но и мотивами, если так можно выразиться, идейного порядка, а именно его анархическими симпатиями. Евреев и немцев он считал народами, преимущественно склонными к «государственной» организации, и в качестве смертельного врага «государственного принципа», дарил их особенной ненавистью. Теперь, конечно, антисемит-интернационалист совершенно немыслим, и здесь мы лишний раз видим, насколько в Бакунине перемешаны были новые идеи с пережитками и отрыжкою старого барства.

Озлобленный нападками Боркхейма и Гесса, которые, по его ошибочному мнению, действовали под влиянием Маркса, Бакунин решил написать целую брошюру о немецких евреях, которая в свое время (1869 год) опубликована не была и напечатана теперь в пятом томе французского собрания его сочинений. В этой брошюре, которая должна была называться «Этюдом о немецких евреях» и служить предисловием к задуманной им брошюре «Исповедание веры русского социал-демократа», он между прочим проводил ту замечательную мысль, что вся история евреев выработала в них преимущественно меркантильные и буржуазные наклонности и вражду к социализму.

«Рассматриваемые, как нация, они выступают главным образом в качестве эксплуататоров чужого труда, и им присущ естественный страх и отвращение к народным массам, которые они при этом презирают явно или втайне». Нужно, впрочем, сказать, что современные черносотенцы отличаются от Бакунина в одном весьма существенном пункте: они как раз обвиняют евреев в особенной склонности к социализму!

Герцен, которому Бакунин прислал на просмотр рукопись своего «Этюда о немецких евреях», предостерегал

его против этих неприличных антисемитических выходок. Он не понимал, при чем тут расы и евреи, и во всяком случае советовал ему, если уж ему непременно хочется бороться со своими противниками, оставить в покое мелкую сошку вроде Гесса и Боркхейма и открыто напасть на самого Маркса, которого Бакунин в своей брошюре даже назвал «гигантом». На это Бакунин ответил длинным письмом, в котором, с одной стороны, повторял свое мнение о заслугах Маркса перед социализмом, а с другой—об'яснял свое отношение к Марксу хитроумными тактическими соображениями.

«Я пощадил и превознес его также из тактики, из личной политики,—пишет Бакунин.—Как же ты не видишь, что все эти господа вместе, наши враги, составляют фалангу, которую нужно прежде всего раз'единить, раздробить, чтобы легче ее разбить? Ты ученее меня, и потому лучше меня знаешь, кто первый сказал: divide et impera (разделяй и властвуй). Если бы я пошел теперь открытою войною против Маркса, три четверти интернационального мира обратились бы против меня, и я был бы в накладе, потерял бы единственную почву, на которой хочу стоять. Начав же войну нападением на его сволочь, я буду иметь за себя большинство, да и сам Маркс, в котором, как тебе известно, злорадства, Schadenfreude, тьма-тьмущая будет очень доволен, что я задел и отделал его друзей. Ну, а когда я ошибусь в расчете, и он за них вступится, то ведь он первый начнет открытую войну, ну, тогда и я покачнусь назад et jaurai le beau rôle (и положение будет у меня выгоднее)!»

О своих противниках, принадлежавших или даже не принадлежавших к еврейской национальности, как, например, Либкнехт, Бакунин выражается не иначе, как о «жидках», «жиденятах» и т. п. Этими словами пестрят и его печатные произведения, и особенно его частные письма. По вышеприведенным его словам можно было бы думать, что он в этом отношении проводит различие между мелкими «жидками» и евреями-гигантами; но на самом деле ничего подобного нет. К Лассалю и Марксу Бакунин относит-

ся не лучше, чем к их «подголоскам». Все несимпатичные ему стороны обоих знаменитых агитаторов он об'ясняет их еврейским происхождением там, где не может приписать их принадлежности своих противников к немецкой нации. Маркс тщеславен (т.-е. это говорит Бакунин), но так и «подобает еврею»; он мрачен, вероломен, злопамятен—это совершенно естественно: все это чисто еврейские черты. Даже переговоры Лассаля с Бисмарком Бакунин умудряется об'яснить его еврейским происхождением, ибо, как еврей, Лассаль не мог, дескать, чувствовать себя удобно среди народа и предпочитал закулисные сделки с сильными мира сего. Если немецкие рабочие отвергают анархическую фразеологию и примыкают к марксизму, то, по мнению Бакунина, это происходит потому, что «они сбиты с толку своими политическими, литературствующими и еврействующими коноводами»! Да и, наконец, даже социальная революция в марксистском духе, т.-е. сопровождаемая переходом орудий производства в руки государства, будет выгодна только для еврейских финансистов, которые смогут тогда заняться небывалыми еще спекуляциями. Блестящая идея, которую теперь с одинаковым успехом развивают черносотенные погромщики во Франции и в России! У Бакунина встречается даже столь популярный в черносотенной печати термин «жидо-масоны». Так, в письме к юрским р а б о ч и м он утверждает, что обвинение в панславизме, выдвигаемое против него в немецких и швейцарских газетах, выставляется «несомненно благодаря жидовскому франкмасонству, которое теперь почти безраздельно царит в немецкой прессе».

А вот что он писал о «еврейском» антураже Маркса в неопубликованной рукописи «Мои личные отношения с Марксом»: «Сам еврей, он имеет вокруг себя, как в Лондоне, так и во Франции, но особенно в Германии, целую кучу жидков, более или менее интеллигентных, интригующих, подвижных и спекулянтов, как все евреи повсюду,—торговых или банковых агентов, беллетристов, политиканов, газетных корреспондентов всех направлений и всех оттенков, одним словом, литературных маклеров и вместе с тем биржевых маклеров.

стоящих одной ногой в банковом мире, а другой—в социалистическом движении (о, Дрюмон!) и усевшихся на немецкой ежедневной прессе—они захватили в свои руки все газеты,—и вы можете себе представить, какая из этого получается мерзкая литература. Так вот, весь этот еврейский мир, образующий эксплуататорскую секту, народ-кровопийцу, тощего прожорливого паразита, тесно и дружно организованного не только поверх государственных границ, но и поверх всех различий в политических убеждениях,—этот еврейский мир ныне большей частью служит, с одной стороны, Марксу, а с другой—Ротшильду. Я убежден, что, с одной стороны, Ротшильды ценят заслуги Маркса, а с другой—Маркс чувствует инстинктивное влечение и глубокое уважение к Ротшильдам». Эти строки, производящие такое дикое впечатление в устах анархиста, социалиста-революционера и интернационалиста, можно смело посвятить «Земщине».

Предупреждая г. Кассо и российское дворянство, Бакунин идет еще дальше, и заявляет, что даже «святое крещение» не избавляет жида от позора его национального происхождения: «Крещеный жид остается все-таки жидом. Имеются жиды-католики, протестанты, пантеисты и атеисты; жиды-реакционеры, либералы и даже жиды-социалисты. Но прежде всего они жиды, и это обстоятельство устанавливает между всеми индивидуумами этой замечательной расы, независимо от всех религиозных, политических и социальных различий, которые их разделяют, неразрывную естественную связь и солидарность...

Говорят о неизгладимых чертах католического священника. Но еще более неизгладим еврейский тип не только со стороны внешнего вида, который сразу бросается в глаза, но также и, быть может, еще больше с точки зрения умственных и нравственных способностей и стремлений». И дальше Бакунин доказывает, что еврей по своей природе, по своим умственным склонностям и по социальному положению являются сторонниками власти, государства, врагами свободы и бунта.

Чем же, по мнению Бакунина, об'ясняется вражда к нему евреев? Да просто тем, что он русский! «Я полагаю, что моя

национальность сыграла здесь большую роль. Они не могут простить мне, что я русский, казак или, как писал почтенный Маццини в своей богословской ярости, калмык [1]), и что я посмел возвысить свой варварский голос на европейских конгрессах; в особенности же они не могут мне простить того, что я позволил себе выражаться непочтительно о немецкой цивилизации».

Вот что проповедывал Бакунин рабочим романских стран, наигрывая на антинемецких чувствах после войны 1870—1871 г.г.! И чтобы закончить эту печальную страницу, которую не смогут смыть никакие апологеты Бакунина, мы приведем еще одну цитату из его письма к лионскому интернационалисту Альберу Ришару, члену его тайного Альянса (письмо от 1 апреля 1870 года). Предлагая лионцам готовиться к предстоящему международному конгрессу, где бакунисты собирались дать генеральное сражение «государственным социалистам», Бакунин сообщает, что на стороне анархистов будут испанцы, бельгийцы, итальянцы, юрцы и, вероятно, большинство французов. «А против нас будут не рабочие инстинкты, а коалиции и союзы вождей социал-демократической партии и, под влиянием этих самых немецких вождей, по большей части евреев, т.-е. эксплуататоров и буржуа, включая сюда и школу Маркса, против нас будут также английские и американские делегаты. Сомкнем же ряды и приготовимся к бою. Ибо дело идет о торжестве Интернационала и революции». Далее Бакунин переходит к совершенно неосновательным жалобам на Либкнехта, и прибавляет: «Заметь, что все эти враги, лающие на нас, евреи; Маркс, Гесс, Боркхейм, Либкнехт (!), Якоби, Вейс, Кон, Утин и много других,—евреи. Все они при-

[1]) Итак, калмыком его назвал Маццини, которого даже Бакунин не решится зачислить в „жиды". Казаком же его назвал, по свидетельству Ришара, никто иной, как известный географ Элизе Реклю, которому не нравилась его кровожадная декламация. Реклю был анархистом и членом бакунинского Альянса и—увы!—тоже не был евреем. Кто же из евреев называл его казаком и калмыком? Здесь Бакунин что называется, сочинил для красного словца.

надлежат к этой подвижной, интриганской, эксплуататорской и буржуазной по традиции и по инстинкту национальности. Маркс, самый выдающийся среди них, обладает большим умом. Но вместе с тем следует признать, что это человек крайне неуживчивый, характер отвратительный, тщеславный, раздражительный, завистливый, обидчивый, угрюмый, вероломный, способный на крайние насилия, и величайший интриган, как, впрочем, все евреи».

Так писал человек, не переставший жаловаться на то, что на него клевещут его бессовестные враги, да и еще в частных письмах! Теперь читатель может судить, кто в этой полемике вел себя более «прилично»—Маркс или Бакунин.

Впрочем, к этой борьбе нельзя подходить с меркой обыденных литературных «приличий». На карту поставлена была судьба мирового рабочего движения. От победы той или другой стороны зависело, какие методы и воззрения возобладают в международном социализме, и какая постигнет его судьба. Если бы победа—мы имеем в виду идейную победу—выпала на долю Бакунина и его крестьянско-босяцкой идеологии, рабочее движение сразу лишилось бы всех достигнутых с таким трудом завоеваний и было бы отброшено далеко назад. Об этом свидетельствует судьба социализма в Испании и Италии, где временно перевес достался бакунистам, и где, благодаря их анархической тактике отчаянных бунтов и разрозненных вспышек, в короткое время наступил полный разгром рабочих организаций. Новое оживление началось только тогда, когда итальянские социалисты, в том числе и много бывших бакунистов, разочаровавшихся в программе и тактике своего прежнего учителя, решительно порвали с анархизмом и смело вступили на путь, на котором их немецкие товарищи уже успели к тому времени сделать столько блестящих завоеваний. И, вспомнив все это, мы можем с чистой совестью сказать: какое счастье для социализма и для всемирного рабочего движения, что «грубый» и «бессовестный» материалист Маркс одержал такую решительную победу над наивным «идеалистом» Бакуниным!

Бакунин и франко-прусская война 1870—1871 г. г.

I.

Франко-прусская война 1870—1871 г.г. сыграла значительную роль в жизни Бакунина. С одной стороны, она окрылила его несбыточными надеждами и побудила к активным шагам в целях осуществления своей анархической программы, а с другой—нанесла первый серьезный, можно сказать, непоправимый удар его самым заветным убеждениям и верованиям. Эта война была для него колоссальной встряской. Неудивительно, что впечатления от нее, навеянные ею мысли отразились на произведениях Бакунина, в которых рассуждения, посвященные этой войне и связанным с нею темам, занимают, без преувеличения, главное место. Можно даже сказать, что до того Бакунин почти не занимался литературной деятельностью. Только со времени франко-прусской войны он бросается в писательство со свойственной ему судорожной порывистостью и бессистемностью.

Из 6 появившихся до сих пор томов французского издания сочинений Бакунина первый содержит произведения, написанные до 1870 г. Да и то в конце его помещена статья «Бог и государство», представляющая, как теперь доказано, не что иное, как одно огромное примечание к 285 странице бакунинской рукописи «Кнуто-Германской Империи» [1]). Второй том. за исключением перепечатки брошюры «Бернские медведи и петербургский медведь» (65 страниц), целиком занят «Пись-

[1]) Существует русский перевод в „Собрании Сочинений" Бакунина, изд. Балашова, 1906 г., т. I.

мами к французу» и первым выпуском «Кнуто-Германской Империи». Весь третий том заполнен вторым выпуском «Кнуто-Германской Империи» и приложением к нему. То же самое можно сказать о четвертом томе, куда вошло продолжение «Писем к французу», два проекта предисловий ко второй части «Кнуто-Германской Империи», составленные в Марселе письмо к Эскиросу и рукопись на ту же тему «Кнуто-Германской Империи», отрывок из того же сочинения и, наконец, письмо в редакцию брюссельской газеты «La Liberté», косвенно касающееся все той же вековечной бакунинской темы о панславизме и его опасностях. В пятом томе, наряду со статьями из женевской газеты «Egalité», относящимися к 1869 г., мы находим большое письмо в газету «Le Réveil», превращенное в брошюру «Исповедание веры русского демократа-социалиста», и три лекции, прочитанные швейцарским рабочим в 1871 г., при чем оба последние произведения, занимающие около половины тома, так или иначе затрагивают опять-таки темы, связанные с конфликтом между Францией и Германией. И только в шестом томе мы не находим статей, прямо относящихся к войне, но и помещенные там произведения дышат все той же атмосферой, что и предыдущие томы. А если прибавить, что и в частной переписке Бакунина вопросы, более или менее тесно связанные с франко-прусской войной, занимают подчас очень заметное место, как, например, в громадном послании к «Юрским товарищам», опубликование которого предполагается в подготовляемом к печати VII томе «Сочинений», то мы поймем, какую значительную роль в его умственной и политической жизни, в эволюции и судьбе его взглядов, в его настроении сыграла эта злосчастная война.

При первых же известиях о победе немецкого оружия (при Вейсенбурге 4 августа, при Верте и Форбахе 6 августа 1870 г.) Бакунин, глубоко встревоженный этим неожиданным поворотом военного счастья, лихорадочно взялся за агитационную работу, имевшую целью вызвать во Франции широкое народное движение, которое, по его мысли, должно было одновременно дать отпор наседавшим полчищам Бисмарка и подать сигнал к социальной революции. Во все стороны полетели от него

письма к единомышленникам в Швейцарии, Франции, Италии и Испании; в то же время он приступил к составлению «Письма к французу», в котором пытался, насколько позволяла это сжигавшая его революционная горячка, систематизировать свои взгляды на переживаемый кризис и возможный или, вернее, желательный его исход.

11 августа 1870 г. Бакунин писал Огареву: «Ты только русский, а я интернационал, вследствие чего происшествия возбудили во мне настоящую горячку. В продолжение трех дней я написал ровно 23 больших письма, это маленькое—двадцать четвертое. У меня выработался целый план; Озеров [1]) передаст его тебе, или, лучше, он прочтет тебе письмо, написанное мною к одному французу». (Переписка, стр. 300). Письмо это в мысли Бакунина было адресовано лионскому интернационалисту Гаспару Блану, с которым Бакунин поддерживал в то время оживленную переписку, равно как и с товарищем Блана, Альбертом Ришаром. Эти два анархиста стояли тогда во главе небольшой лионской группы, на которую увлекающийся Бакунин возлагал в тот момент преувеличенные надежды.

«План» Бакунина сводился к тому, чтобы, воспользовавшись замешательством, вызванным войной, возбудить революционное движение во Франции, Италии, Испании и романской Швейцарии,—восстание, которое по мысли Бакунина должно было неминуемо принять анархический характер и привести к уничтожению государства. Только такого рода «социальная революция» и способна была, по мнению Бакунина, положить предел германским завоевателям и не только отбросить их далеко от французской границы, но даже внести пожар гражданской войны в их собственные пределы.

Письмо это, доказывающее, по словам самого Бакунина (Переписка, 304), что «если из этой войны не выйдет непосредственно социальной революции во Франции, социализм надолго погибнет в целой Европе», писалось и отсылалось частями к

[1]) В. Озеров—русский политический эмигрант из офицеров, примкнувших к польскому восстанию 1863 г. Был в рассматриваемое время тесно связан с Бакуниным.

Озерову с поручением переписать его в нескольких экземплярах и разослать по указанным адресам. Далее, использованные листы должны были отсылаться Гильому (другу Бакунина, известному члену юрской федерации Интернационала), который должен был придать им литературную обработку и выпустить отдельной брошюрой. Первая часть не сохранилась совершенно; вторая, состоящая из 24 стр., в свое время не могла быть использована для печати, ввиду того, что, благодаря быстрой смене событий, она устарела раньше, чем дошла по адресу. Третья часть (из 26 стр.) была еще послана Озерову, но с этого момента Бакунин начал отсылать рукопись, доведенную до 125 стр., непосредственно Гильому. Последнему предоставлено было право перекраивать и сокращать рукопись по своему усмотрению: из первых 80 страниц третьей части «Письма к французу» Гильом, подвергший первоначальный план автора радикальной переработке, и выкроил брошюру «Письма к французу о современном кризисе», разбив ее на 7 глав. Брошюра была напечатана в Невшателе (43 стр., in 16°) 20 сентября 1870 г. без указания имени автора, даты и места печатания. Впоследствии Бакунин выражал недовольство тем, что Гильом, желая представить русского варвара европейской публике в приличном виде, прилизал и подчистил его слишком энергическое произведение. Бакунин говорил даже, что Гильом «оскопил» его брошюру. Следует признать, что в этом отношении Бакунин был отчасти прав. Достаточно сопоставить оригинал с той переработкой, которую произвел в нем более «воспитанный» европеец, чтобы убедиться в том, что в руках Гильома сочное и резкое произведение Бакунина утратило значительную долю своей «беспардонности» и мужественной энергии.

Часть брошюры была тогда же ввезена во Францию, но вряд ли в значительном количестве. Да этого, собственно говоря, и не требовалось: в частных письмах Бакунин уже успел задолго до того высказать свои мысли немногочисленному кругу единомышленников, на которых только она и могла иметь непосредственное влияние. Тем более, что автор, упреждая свое литературное произведение, успел лично пробраться во Фран-

цию, где с группой социалистов-революционеров предпринял 28 сентября свою известную попытку захвата ратуши в Лионе и провозглашения «конца государства».

Когда лионская попытка потерпела крушение, Бакунин, уезжая оттуда 29 сентября, обратился с известным прощальным письмом к другому лионскому интернационалисту Паликсу, у которого он жил там на квартире. В этом письме, где он выражал свое недовольство робостью одних товарищей и изменой других, замечались уже первые следы того разочарования, которое с этого момента начало овладевать усталым борцом [1]).

Из Лиона Бакунин уехал в Марсель, где рассчитывал еще найти элементы, годные для другой революционной попытки. Уверенный, что сигнал к восстанию должен все-таки исходить из Лиона, он послал туда преданного ему поляка В. Ланкевича с письмом к друзьям, в котором рекомендовал им сделать новую попытку «в течение 3—4 дней вызвать революцию, способную все спасти». Но Ланкевич был арестован с письмом, шифром и явками, что повлекло за собою повальные аресты среди тамошних революционеров. Бакунин, чувствуя, что пребывание в Марселе становится также небезопасным, стал готовиться к отъезду из этого города. А в ожидании денег занялся писанием нового произведения, посвященного франко-прусской войне, и выяснению ее возможных результатов.

По его мысли, это новое произведение должно было служить продолжением «Писем к французу». Начиналось оно первыми строками вышеупомянутого письма к Паликсу: «Мой дорогой друг, я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего прости...», и т. д. Он успел написать в Марселе 114 стр. этой брошюры, которая, однако, в свое время не увидала света и была опубликована лишь в 1910 г. (в IV томе его «Сочинений»).

Окончательно потеряв веру в возможность революции во Франции, как это видно из письма к испанскому анархисту Сентиньону от 23 октября, найдя, что «сам народ проникся

[1]) Письмо это в главных своих частях воспроизведено нами в статье „Последние годы жизни М. Бакунина" („Голос Минувшего", 1914, № 5)

там доктринерством, резонерством и буржуазностью, подобно буржуям», Бакунин оставил эту страну «с глубоким отчаянием в душе». 24 октября он уехал в Геную, а 27 прибыл в Локарно, где и поселился.

Здесь Бакунин, отложив в сторону марсельскую рукопись из 114 страниц, засел за новую обработку все той же мучившей и волновавшей его темы. Это сочинение также должно было служить продолжением «Писем к французу» и тоже начиналось письмом к Паликсу. Но, взявшись за него без предварительно составленного плана, Бакунин незаметно увлекся развитием одной особенно интересовавшей его темы, и с 105 страницы рукопись внезапно получила заглавие: «Приложение, философские рассуждения о божественном призраке, о реальном мире и о человеке». Дойдя таким образом до 256 стр., Бакунин вдруг спохватился и, вернувшись к 80-й стр. первоначальной рукописи, начал писать с 81-й страницы новое продолжение, доведя теперь рукопись до 285 страницы.

В теперешнем виде книжку предполагалось озаглавить: «Социальная революция или военная диктатура». Позже Бакунин решил дать брошюре другое заглавие, а именно: «Кнуто-Германская Империя и социальная революция».

19-го ноября 1870 г. Бакунин писал Огареву по поводу своей брошюры, которая набиралась в Женевской кооперативной типографии:

> «Я спешил бы..., если бы имел намерение написать брошюру для скорейшего воздействия на общественное мнение. Но у меня в настоящую минуту нет этой цели; нет же ее потому, что нет более веры, чтобы какими бы то ни было брошюрами или даже непосредственными практическими предприятиями и действиями можно было теперь переменить ход дел... Я пишу патологический эскиз настоящей Франции и Европы для назидания ближайших будущих деятелей, а также и для оправдания своей системы и своего образа действий. Итак, хочу написать нечто полное и вполне цельное. Выйдет не брошюра, а книга». (Переписка 314—315):

А 16 апреля 1871 г., когда первый выпуск был уже почти окончен печатанием, Бакунин снова пишет старому товарищу:

«Ты все требуешь, чтобы я прислал тебе конец. Милый друг, неотлагательно пришлю материал еще на второй выпуск в 8 листов, а все еще окончания не будет. Пойми, что я начал брошюру, а кончаю ее, как книгу. Это уродливо, но что же делать, я сам урод,—и хоть уродливо, а книга выйдет дельная и живая. Она у меня почти вся написана. Следует только привести все в порядок. Это моя первая и последняя книга, мое духовное завещание. Итак, ты мне, милый друг, не мешай, ты знаешь, от любимого плана, от последней мысли отказаться ни даже изменить их невозможно. Chassez le naturel, il revient au galop. Дело в деньгах. Всего собрано только на 10 листов, и таким образом будет никак не менее 24 листов. Об этом не тревожься, я уже принял меры для собрания нужной суммы. Главное, на первый выпуск в 6, 7 или даже 8 листов деньги есть; итак, печатайте и издавайте первый выпуск смело, именно в желаемом мною (а не в определенном вами) об'еме. Бог даст день, Бог даст и хлеб». (Переписка, 321).

В конце апреля первый выпуск брошюры, содержавший 119 страниц, закончен был печатанием. Прежняя обложка была заменена новой, отпечатанной в типографии Гильома и носившей, согласно выраженному автором желанию, заглавие: «Кнуто-Германская Империя и социальная революция.—Михаила Бакунина. Женева. 1871» [1]). В брошюру вошло 138 страниц бакунинской рукописи. Страницы 139—210, содержавшие главу: «Исторические софизмы доктринерской школы немецких коммунистов», были тогда же набраны, но не напечатаны. Бакунин предполагал включить их во 2-й выпуск своей брошюры, за подготовление которого к печати он скоро взялся.

Отобрав у Гильома страницы 139—285 своей рукописи, Бакунин решил их переработать и начал составлять «Введение» ко 2-му выпуску «Кнуто-Германской Империи», но успел

[1]) Существует русский перевод, изданный в 1907 г.

написать только 14 страниц. Оставив его незаконченным, он принялся за сочинение другого «Предисловия» (не то к тому же 2-му выпуску, не то ко всей книге), которое, равным образом, не было доведено до конца. Так как в тот момент не удалось собрать достаточной суммы для издания второго выпуска (не хватило сотни рублей!), а Бакунин вскоре увлекся совершенно другими вопросами, в частности, полемикой с Маццини и борьбой с Марксом, то работа, которую Бакунин считал главным своим произведением и даже называл в письме к Огареву своим «духовным завещанием», так и осталась в виде отрывков, не приведенных в систему и в большинстве случаев незаконченных.

Бакунин, впрочем, не отказался, повидимому, от мысли так или иначе довести до конца столь дорогое для него произведение, и через год (1872 г.) он снова набросал отрывок в 75 страниц, который, по его мысли, должен был составить продолжение «Кнуто-Германской Империи». Но вскоре он с головой ушел в дело «Баронаты» и итальянских конспираций, а там скоро подоспела его смерть, и задуманная им работа так и осталась незаконченной и несистематизированной.

Кроме философского «Приложения», посвященного анализу идеи Бога и критическому изложению Контовской системы, Бакунин думал написать для своей «Кнуто-Германской Империи» второе приложение, в котором он намеревался подробно разобрать всегда занимавший его вопрос о германо-славянских отношениях.

Об этом он определенно говорит на 90-й странице 1-го выпуска «Кнуто-Германской Империи», где сказано: «В конце этого сочинения при обзоре германо-славянского вопроса я неопровержимыми историческими фактами докажу, что дипломатическое воздействие России на Германию было до 1866 г. ничтожным или почти ничтожным, а с 1866 г. петербургский кабинет в сильнейшей степени способствовал успеху бисмарковских проектов». Неизвестно, удалось ли Бакунину написать это приложение; по крайней мере, до нас оно не дошло. Но этого вопроса он касается во многих других своих работах, в частности, в русской книге «Государственность и Анархия»

(до известной степени тоже представляющей продолжение «Кнуто-Германской Империи»), в письме к юрским секциям Интернационала, в брошюре «Исповедание веры русского социалиста-демократа» и, наконец, в различных вариантах той же «Кнуто-Германской Империи».

Мысли излагавшиеся Бакуниным в изданных отрывках его «единственной книги», остались до последнего времени незнакомы широкой публике. Впрочем, в своей обширной корреспонденции, которую он вел с социалистами романских стран, Бакунин неоднократно излагал эти мысли, хотя в еще более отрывочной форме, чем это имеет место в «Кнуто-Германской Империи». Только через 6 лет после смерти Бакунина, а именно в 1882 г., его последователи Карло Кафиеро и Элизе Реклю издали в виде отдельной брошюры страницы 149—247 бакунинской рукописи (без затерянных 211—213 стр.) под придуманным ими самими заглавием «Бог и Государство» [1]). Из других относящихся сюда отрывков увидели свет первые страницы «Введения» ко второму выпуску «Кнуто-Германской Империи», напечатанные Э. Реклю в Женевской анархической газете « Le Travailleur» в 1878 г. под заглавием «Парижская Коммуна и понятие о государственности» [2]). Целиком же это «Введение» было опубликовано в 1892 г. Бернаром Лазаром в парижских Entretiens politiques et littéraires. Остальные дошедшие до нас части этой работы сделались доступны читающей публике лишь после того, как старый соратник Бакунина по Интернационалу, Джемс Гильом, взялся за редакцию собрания сочинений Бакунина, которое издает в Париже

[1]) Эта брошюра с тех пор неоднократно переиздавалась на разных языках. Существуют и русские ее переводы под тем же заглавием.— Ее не следует смешивать с статьей „Бог и Государство“, о которой мы говорили выше и которая в 1895 г. была напечатана М. Неттлау в 1 томе французского издания „Oeuvres“ Бакунина, откуда она попала в I том русского издания. Последняя есть не что иное, как содержание неизвестно когда написанных страниц 286—340 бакунинской рукописи „Кнуто-Германская Империя“, и представляет просто разросшееся примечание к странице 285 той же рукописи. Эта кстати дает некоторое понятие о писательской манере нашего автора.

[2]) Есть русский перевод (вышедший за границей).

В. Сток. Первый том был проредактирован М. Неттлау и вышел в 1895 г. Затем после долгого перерыва и уже под редакцией Гильома с 1907 г. вышли томы II, III, IV, V и VI. Седьмой том готовится к печати. Но почти все сочинения Бакунина, относящиеся к франко-прусской войне (если не считать частных писем), уже опубликованы в появившихся до настоящего времени томах.

II.

Чтобы надлежащим образом оценить отношение Бакунина к франко-прусской войне, необходимо предварительно ознакомиться с его взглядами на характер германской нации и на роль ее в истории человечества, с одной стороны, и на характер и роль Франции—с другой. Только после этого станет понятно, почему он так сильно реагировал на известия об успехах немецкого оружия и о французских неудачах.

Отношение Бакунина к Германии характеризуется какой-то слепой, органической ненавистью, на которую немцы отвечали тою же монетою. Непреодолимая антипатия Бакунина к немцам, к немецкому духу, к немецкой культуре имела два источника, один—общественный, а другой—личный. В первом в свою очередь замечаются две струи. Первоначальная причина нелюбви Бакунина к немцам была чисто биологического, если так можно выразиться, характера: это была ненависть славянина к историческим завоевателям и угнетателям, черта чисто расовая и теснейшим образом связанная с его «революционным панславизмом». В этом отношении Бакунин отражал воззрения того класса, к которому он принадлежал по рождению, и воспринял он эту черту от славянофилов вместе с идеализацией первобытных славянских отношений. Впоследствии, когда он сделался анархистом, он возненавидел немцев за их «государственный» инстинкт и за то сопротивление, которое они оказали его анархической пропаганде. Личный источник ненависти Бакунина к немцам коренился в тех систематических нападках, которыми была встречена с немецкой стороны его политическая деятельность, и в тех клеветах, ко-

торыми часто осыпали его лично немецкие противники. Не следует также забывать, что антипатия к немцам у некоторых представителей тогдашней русской оппозиции, как Бакунин и Герцен, питалась той выдающейся ролью, которую немцы сыграли в развитии русского полицейского государства и продолжали играть, особенно в лице остзейских выходцев, в рядах правящей бюрократии. Как известно, Герцен и Бакунин считали политику Петровской империи не русской, а немецкой. Благодаря этому, первые проявления политической оппозиции выразились в форме антипатии к немцам. Конечно, это не свидетельствовало об особенной политической зрелости.

В произведениях, написанных в связи с франко-прусской войной, Бакунин дал полную волю своей неискоренимой вражде к немцам. Давая свою крайне нелестную характеристику немецкого народа, Бакунин, правда, иногда спохватывается и старается уверить читателя, что имеет в виду лишь определенную, точно очерченную группу явлений, не распространяя своего осуждения на всю нацию без исключения. «Я все время,—замечает он (Oeuvres, III, 72),—говорю о Германии настоящего, а не о Германии будущего; о Германии дворянской, чиновничьей, политической и буржуазной, а не о Германии пролетарской». Но в действительности он слишком часто забывает об этом различии и изрекает огульные приговоры, не считаясь ни с классовыми особенностями, ни с историческими условиями.

Немецкая натура в общем более склонна к повиновению, чем к сопротивлению, к благочестивому смирению, чем к возмущению,—утверждает Бакунин. Благодаря специфической черте немецкого народного характера, последний более склонен к постепенным и медленным реформам, чем к революции. Сервилизм вошел в плоть и кровь немцев. «У всех этих почтенных классов, представляющих немецкую цивилизацию (дворянства, духовенства и буржуазии), сервилизм составляет не просто естественное явление, обусловленное естественными причинами, он сделался системой, наукой, чем-то вроде религиозного культа, и потому является неизлечимой болезнью» (Oeuvres, II, 400—419).

Как истинные рабы, немцы радуются успехам своих владык и гордятся силою своих господ. Протестантизм, который в других странах, как в Швейцарии, Англии, Голландии, Швеции, впоследствии в Америке и даже во Франции, пока он не был там побежден, если не вызвал, то по крайней мере стимулировал и сопровождал освободительное движение народов, в одной лишь Германии привел к совершенно противоположным результатам. «Здесь он сделался религией деспотизма» (Oeuvres, IV, 484). Да и вообще-то немецкий народ принял протестантство только потому, что его приняли германские государи—новое доказательство рабства, присущего этой нации (II, 452). И в результате протестантская церковь, сделавшаяся новой официальной церковью, более абсолютной, чем католическая, и столь же раболепной перед светской властью, как византийская, обратилась в руках протестантских государей в орудие ужасающего деспотизма.

Бюрократия, уверяет Бакунин, забывший, что он в других случаях сам говорит об исторической отсталости Германии сравнительно с другими европейскими государствами,—бюрократия тоже родилась и развилась главным образом в Германии, где она сделалась «одновременно наукой, искусством и культом» (IV, 493). То же самое можно сказать о военном искусстве. «Именно в Германии родилась мания и страсть игры в солдатики». Развитию этой страсти способствовали «хамские» склонности немецкого народа, который не только верой и правдой служил своим деспотам, но и позволял им буквально продавать себя в рабство иноземным государям: это была форменная продажа людей и солдат. «Один этот факт сам по себе характеризует власть немецких государей, ангельское терпение их подданных и в частности дух немецкой солдатчины в те времена» (IV, 497—499).

Критическая секира Бакунина не останавливается и перед немецкой наукой. Правда, он вообще не чувствовал особенного пиэтета к науке, которую он считал при современных условиях в большинстве случаев служительницей силы и неправды, но по отношению к германской науке он испытывал особенно злобное чувство. Хваленая немецкая наука, по его мне-

нию, есть не что иное, «как сплошное отравление масс, систематическая проповедь доктрины рабства». Германская профессура, начиная с средних веков, всегда была раболепной служительницей власти, перед которой пресмыкалась не за страх, а за совесть. Педантичная, низкая, как лакей, грубая и наглая, как раб, она создала политическую науку, культ силы и власти, проповедуя ее с кафедры всех немецких университетов. «Эту науку можно назвать современной теологией, богословием культа государства. В этой религии земного абсолютизма государь занимает место Бога, чиновники являются священнослужителями, а народ, естественно, жертвой, постоянно закалаемой на алтаре государства». (II, 442, 452—4; IV, 491—2).

Немцы—государственники и бюрократы по природе, на все лады повторяет Бакунин [1]). «Германия, гордая деспотически-конституционным могуществом своего единодержавца и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции (другой полюс, конечно, анархия.—*Ю. С.*). Германия—государство по преимуществу, как им была Франция при Людовике XIV и при Наполеоне I, как им не переставала быть Пруссия по настоящее время... Доколе Германия останется государством, несмотря ни на какие мнимо-либеральные, конституционные, демократические и даже социально-демократические формы, она будет по необходимости первостепенною и главною представительницею и постоянным источником всевозможных деспотизмов в Европе. Со времени образования новой государственности в истории, с самой половины XVI века, Германия, причисляя к ней австрийскую империю, поскольку она немецкая, никогда не переставала быть в сущности главным центром всех реакционных движений в Европе». В противность Марксу, утверждавшему, что позвоночным хребтом реакции в Европе, начиная с конца XVIII века, была Россия, Бакунин утверждает, что «вовсе не Россия, а Германия, начиная с XVI века

[1]) „Гос. и Ан.“, 8 -9, 40, 53, 112; ср. все части и отрывки „Кнуто-Германской Империи“, помещенные в т.т. II, III, IV его сочинений.

и вплоть до наших дней, была постоянным источником и школою государственного деспотизма в Европе. Из того, что в других европейских странах было простым фактом, Германия сделала систему, доктрину, религию, культ».

В отличие от славян, которым присущи антигосударственные стремления, «в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой традиции есть страсть государственного порядка и государственной дисциплины... Немцы народ в высшей степени государственный, эта государственность преобладает в них над всеми страстями и решительно подавляет в них инстинкт свободы». Вся история Германии, а особенно новейшая, говорит о классическом послушании немцев всех чинов и разрядов властям. «В немецком сердце выработалось веками истинное богопочитание государственной власти, богопочитание, которое создало постепенно бюрократическую теорию и практику и, благодаря стараниям немецких ученых, легло потом в основание всей политической науки, проповедуемой поныне в университетах Германии» [1].

Единственно светлая точка в истории Германии, по мнению Бакунина, это крестьянская революция XVI века—единственное крестьянское восстание в Германии. Но оно было подавлено соединенными силами дворянства, духовенства и буржуазии, и с этого момента Германия впала в рабство. У других народов хоть в прошлом были славные страницы борьбы за свободу, в Германии же этого не было никогда. «По крайней мере, в прошлом либерализм итальянской, швейцарской, голландской, бельгийской, английской и французской буржуазии действительно существовал, тогда как среди немецкой буржуазии его никогда не было. Вы не найдете его следов ни до, ни после Реформации» (II, 422).

История либерального движения в Германии в первой половине XIX в., по мнению Бакунина, ясно доказывает, что немцы стремились к национальному могуществу и к государственному единству, а отнюдь не к свободе. «Немцы никогда не нуждались в свободе. Жизнь для них просто немыслима без

[1] „Гос. и Ан.“, 127; „Кнуто-Германская Империя“, 108, 135.

правительства, т.-е. без верховной воли, верховной мысли и железной руки, ими помыкающей... Поэтому, весьма естественно, что они никогда не хотели народной революции» [1]). Весь немецкий либерализм, за немногими исключениями, был только особенным проявлением «немецкого лакейства»). Бакунин с удовольствием цитирует фразу Берне: «Другие народы бывают часто рабами, но мы, немцы, всегда лакеи». Сравнивая немецких студентов с русскими, Бакунин решительно отдает предпочтение последним. «Кажется, не может быть рабства хуже русских; но никогда между русскими студентами не существовало такого лакейского отношения к профессорам и начальству, какое существует и поныне во всем немецком студенчестве». Против этого рассуждения, с которым до известной степени нельзя не согласиться, можно, впрочем, возразить, что Бакунин устанавливает расовое отличие там, где мы имеем дело с различием классовых признаков, и что, вместо огульного обвинения всей немецкой нации в «лакействе», ему следовало бы, пожалуй, проанализировать социальный состав немецкого и русского студенчества. Но это еще куда ни шло. Гораздо интереснее, что и русскому офицерству он отдает предпочтение перед немецким. «С точки зрения просто человеческой,—говорит он,—мы отдадим преимущество нашему офицерскому типу не потому, что он наш, а на основании строгой справедливости... Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорит по-французски, но в этом мире среди глубокой и нелепой безалаберщины, его наполняющей, можно найти человеческое сердце, способность инстинктивно полюбить и понять все человеческое и, при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа. В немецком офицерском мире нет ничего кроме формы, военного регламента и отвратительной, специально офицерской фанаберии, состоящей из двух элементов: из лакейского повиновения в отношении ко всему, что иерархически выше, и из дерзко-презрительного отноше-

[1]) „Гос. и Ан.“, 149.
[2]) „Гос. и Ан.“, 151.

ния ко всему, что, по их мнению, стоит ниже,—к народу прежде всего, а потом и ко всему, что не носит военного мундира, за исключением самых высших гражданских чиновников и дворян» [1]).

Совершенно естественно, что самые свободомыслящие и свободные от национальных предрассудков немцы (да и не только немцы) должны были усматривать в подобных заявлениях одно лишь проявление национального самохвальства, чтобы не сказать хуже...

Стремление немцев к свободе было убито их стремлением к об'единению рмании. «Как доктор Фауст, эти отличные патриоты пр едовали две цели, две противоположные тенденции: одну к сильному национальному единству, другую к свободе. Захотев примирить две непримиримые вещи, они долго парализовывали одну другую, пока, наконец, наученные опытом, не решились пожертвовать одной для достижения другой» [2]). Постепенно немцы изменились, стали практическими людьми, «из либералов и республиканцев они превратились в бисмаркианцев»).

Вопреки мнению Маркса, что роль позвоночного хребта европейской реакции играла в новое время Россия, Бакунин утверждает, что со времен Реформации «истинным центром реакции в Европе сделалась Германия» (II, 454) и что она, а не Россия, была «постоянным источником и школой государственного деспотизма в Европе» IV, 499 и сл.). Да иначе, по мнению Бакунина, и быть не могло: вся история Германии фатально вела ее к такому концу.

«Думает ли Маркс,—восклицает Бакунин,—что народ, как бы одарен он ни был, может безнаказанно оставаться в подобном положении в течение долгого исторического периода без того, чтобы рабство не проникло во все тончайшие фибры его организма и не сделалось его привычкой, его второй натурой? И если этот народ, как это можно с полным правом сказать о

---

[1]) „Гос. и Ан.“, 93—94.

[2]) „Кнуто-Германская Империя“, 106.

[3]) „Гос. и Ан.“, 200—201.

немецком народе, даже до этого периода подавляющего рабства никогда не знал и даже не желал свободы; если, посреди поступательного движения соседних народов, он остался народом косным, созерцательным, самоуглубленным,—правда, много работающим (и за это честь ему и слава), но никогда не возмущающимся, за исключением кратковременного момента в его жизни, в начале Реформации,—во что он должен был превратиться за эти века полной неподвижности и отсутствия мысли? В превосходное орудие для всех затей деспотизма, как внутри, так и во-вне; в прочнейшую основу для пропаганды распространения и завоеваний деспотизма во всем мире» (Ib., 500—501).

Германский империализм или, в тогдашних политических терминах, «пангерманизм» представляет, по мнению Бакунина, естественный продукт исторических судеб и специфического характера немецкой нации. Многочисленный и здоровый народ, «завоеватель и поработитель по традиции и по склонности», не мог примириться с своим униженным положением в мировом концерте. На этой почве возник и развился пангерманизм—с одной стороны, как протест против жалкого состояния и раздробленности Германии, а с другой—как стремление к порабощению других народов в интересах об'единенного немецкого отечества. «Морализовать, цивилизовать, германизовать» другие нации—таков лозунг немецких патриотов, быть может, искренно отождествляющих интересы Германии с интересами человечества (II, 426; IV, 480). Будучи самым покорным и послушным народом в мире, немцы вместе с тем сгорают жаждой захвата чужих территорий, систематического поглощения других народов и властью к господству, что делает из них, особенно в настоящее время (1870—1871) «самую опасную для мировой свободы нацию». И при этом их вожди, законодатели германского общественного мнения, вплоть до самых крайних его представителей, не только не стараются противодействовать этим пагубным инстинктам и стремлениям, а напротив, всемерно потакают им и разжигают их (II, 380—381).

И Бакунин сознается в своем презрении к немецкой культуре, которою чванятся германские культуртрегеры и цивили-

заторы. «Эту высокую культуру [1]), которою так хвалятся немцы,—говорит он в письме в редакцию газеты «Réveil» (V, 251),—и отсутствие уважения к которой немецкий журнализм нам ставит в упрек, мы действительно презираем; ибо мы судим о ней по делам ее, а до сих пор она не создала ничего, кроме рабского народа и кучки литераторов и политиканов вроде г. Морица Гесса» [2]). И в другом месте, с негодованием отвергая обвинение в панславизме, выдвигавшееся против него из кругов немецкой демократии, Бакунин пишет: «Признаюсь, что когда я в первый раз прочитал эти статьи, говорившие о моем панславизме,... я был поражен. Я не допускал, чтобы недобросовестность могла заходить так далеко. Теперь я начинаю понимать, в чем тут дело. Статьи эти были продиктованы не одною жалкой недобросовестностью автора, но и своеобразной национально-патриотической наивностью, крайне глупой, но весьма обычной в Германии. Немцы столько мечтали в обстановке своего исторического рабства, что в конце концов весьма наивно отождествили свою национальность с человечеством, так что на их взгляд ненависть к немецкому владычеству, презрение к их добровольно-холопской цивилизации равнозначительно вражде к человеческому прогрессу. В их глазах являются панславистами все славяне, с отвращением и гневом отвергающие ту цивилизацию, которую они хотят насильственно навязать им. Если они придают слову панславизм такой смысл, о! тогда я панславист от всей души. Ибо поистине мало к чему я отношусь с такой глубокой ненавистью и презрением, как к этому гнусному господству и к этой буржуазной, дворянской, бюрократической, военной и политической цивилизации немцев. Я попрежнему всегда буду проповедывать славянам, во имя всемирного освобождения народных масс, мир, братство, солидарное действие и общую организацию с германским пролетариатом, но не иначе, как на развалинах этого господства и этой цивилизации и с един-

---

[1]) Курсив в подлиннике.

[2]) Немецкий коммунист, один из литературных противников Бакунина, обвинявший его в панславизме.

ственной целью разрушения всех империй, славянских и немецких» (Из 2-го выпуска «Кнуто-Германской Империи»— Oeuvres, III, 17—18).

Последние строки показывают, что из всего грешного германского Содома Бакунин готов был сделать исключение лишь для немногих пролетарских праведников, да и то под тем условием, чтобы они приняли его анархическую точку зрения. Он выражает уверенность, что наемным агентам Бисмарка никогда не удастся привлечь на свою сторону германских рабочих, которых здоровый инстинкт восстановит против прусско-германской империи. Он предсказывает непримиримую борьбу между Бисмарком и германским рабочим классом на почве «проклятого социального вопроса». Он хвалит вождей немецкого пролетариата за их благородное поведение во время франко-прусской войны, когда они смело протестовали против аннексии французской территории и требовали заключения почетного мира с Французской Республикой. «Я спешу отдать справедливость вождям социал-демократической партии, всему ее Центральному Комитету, Бебелям, Либкнехтам и стольким другим, которые, среди воплей официальной челяди и всей опьяненной патриотизмом германской буржуазии, имели мужество громко провозгласить священные права Франции. Они доблестно, геройски выполнили свой долг, ибо требовалось действительно героическое мужество, чтобы смело заговорить человеческим языком посреди всех этих рычащих буржуазных зверей» (II, 404—406).

Но эти и подобные заявления не мешали ему обыкновенно смешивать в своем отрицании все классы немецкого общества, которые казались ему солидарными в смысле пангерманского империализма. Ведь даже социал-демократическую программу немецких рабочих, поскольку она включала знаменитые «ближайшие» политические требования, он об'яснял духовным родством их вождей с Бисмарком, а самих этих вождей, в том числе и Маркса, об'являл добрыми немецкими патриотами и поборниками пангерманизма. В частности, признак марксова пангерманизма Бакунин усматривал в его враждебном отношении к официальной российской государственности того вре-

мени [1]). Даже столь невинное, об'ективное и оправданное всем дальнейшим ходом исторических событий замечание Маркса, как то, что франко-прусская «война переместила центр тяжести континентального рабочего движения из Франции в Германию», Бакунин истолковывает как проявление самого несомненного и отвратительного пангерманизма (IV', 370 и сл.), а его сторонники, как Гильом, до сих пор стоят на той же точке зрения (Guillaume—L'Internationale. II. 88—89).

---

[1]) Приводим из написанного зимою 1872 г. отрывка „Кнуто-Германской Империи" следующую весьма характерную в этом отношении выдержку: „В этом воззвании или циркуляре, обращенном к рабочим всех стран (речь идет об Учредительном Адресе Международной Ассоциации Рабочих), глава немецких авторитарных коммунистов не преминул заявить, что завоевание политической власти составляет первый долг трудящихся; он показал здесь даже кончик своего пангерманистского уха, присовокупив, что в настоящее время главная политическая задача Международной Ассоциации Рабочих должна заключаться в борьбе с Всероссийской Империей, — задача, несомненно, весьма законная и благородная..., по которая, во-первых, не может сделаться задачей Международной Ассоциации Рабочих, не искажая совершенно ее характера и цели, и которая, во-вторых, чтобы быть поставленной справедливо, серьезно и с пользой для дела рабочих, должна быть определена совершенно иначе. Если бы г. Маркс объявил войну всем государствам или, по крайней мере, государствам монархическим, деспотическим и военным, как Пруссия, как Австрия, как императорская или даже современная республиканская Франция, и если бы он сказал, что на первом месте среди них следует поставить государство-образец, Всероссийскую Империю, его, по крайней мере, нельзя было бы обвинить в пангерманизме. Но, умалчивая о немецком деспотизме, деспотизме крайне наглом, крайне грубом, крайне алчном и в высшей степени опасном для свободы соседних народов, как это теперь ясно для всех, и стараясь направить негодование рабочих всех стран против русского деспотизма, с исключением всех остальных, заявляя даже, что он является единственной причиной того деспотизма, который не переставал господствовать в Германии с тех пор, как существует Германия, приписывая, наконец, внушениям русской дипломатии весь позор и все политические преступления этой страны прославленной науки и прославленного холопства, г. Маркс выказал себя, во-первых, **очень плохим и малоправдивым историком**, а, во-вторых, не интернациональным социал-революционером, но ярым патриотом великого бисмарковского отечества" (IV', 399—401).

III.

Уже одного этого враждебного отношения к германской культуре и к германской нации было достаточно для того, чтобы Бакунин отдал свои симпатии ее противнику, да еще поверженному в прах. Но, помимо того, Бакунин относился к Франции, к французскому народу, к французскому духу с такой любовью, что если бы он даже до того вообще симпатизировал Германии, он должен был бы теперь с яростью выступить против победоносного насильника, придавившего коленом благородную грудь «прекрасной Франции».

Но прежде всего мы должны сказать несколько слов о тех специфических надеждах, которые Бакунин возлагал тогда на Францию в смысле торжества своих анархических принципов. Для того, чтобы правильно понять эту сторону вопроса, необходимо припомнить тогдашнее состояние международного социального движения и в частности ту роль, которую играл в нем Бакунин. Последний, прожив после неудачи польского восстания 1863—1864 г.г. несколько лет в Италии, а затем в Швейцарии, успел завязать довольно обширные по тому времени связи среди революционной интеллигенции и части передовых рабочих романских стран. Вступив в 1868 г. в Интернационал, Бакунин вскоре сделался естественным центром революционных конспираций, к которым примкнули романтически настроенные социалисты романской Швейцарии, Испании, Италии, отчасти Бельгии и Франции. Последней Бакунин, по старой революционной традиции, придавал, конечно, главное значение в деле осуществления своих планов всемирной анархической революции, направленной к разрушению государства и уничтожению частной собственности. По его убеждению, только из Франции мог быть подан сигнал к этой всесветной революции. И вот почему он особенно дорожил теми связями с деятелями французского движения, которые ему удалось завязать на Базельском конгрессе Интернационала (1869 г.) и после него.

В последние годы Второй Империи французское рабочее движение, надолго задавленное после кровавой бани июнь-

ских дней 1848 г., снова начало поднимать голову. Среди рабочих началось сначала чисто экономическое, а затем и широкое политическое брожение; участились стачки, появились «рабочие кандидатуры», социальные газеты, организации, митинги. Повсюду, в Париже и в крупных провинциальных городах, как Лион, Марсель, Руан и т. п., складывались организационные ячейки, и постепенно сплеталась организационная сеть, которая должна была покрыть собою всю Францию. Деятели этого движения были окрылены самыми радужными надеждами: им рисовалось уже впереди близкое падение Империи, провозглашение республики и даже социальная революция. Со многими из этих деятелей Бакунин был знаком или лично, или через посредство друзей, и по своему обыкновению поддерживал с ними оживленную переписку, в которой старался внушить им свои взгляды и приемы практического действия. И если среди людей, на которых рассчитывал Бакунин, имелись такие ненадежные элементы, как А. Ришар или Г. Блан, то с другой стороны среди них имелся такой человек, как Варлен. А это что-нибудь да значило.

В «Письме к французу» Бакунин, имея в виду те связи, которые ему и его единомышленникам удалось завязать во Франции, писал: «Мы успели так или иначе сформировать небольшую партию—небольшую по числу людей, сознательно к ней примыкающих, но колоссальную по количеству своих инстинктивных приверженцев, по тем народным массам, потребности коих она представляет лучше, чем какая бы то ни была другая партия» (II, 227). Опираясь на эти малочисленные, но пользовавшиеся влиянием на довольно широкие слои пробуждавшихся к сознательной жизни рабочих, группы, Бакунин и его друзья надеялись через несколько лет добиться поставленной себе цели. Война одним ударом разрушила эти надежды [1]).

[1]) Вот что говорит по этому поводу Гильом, бывший в рассматриваемое время правой рукой Бакунина: „Эта война, желанная для Бисмарка и исподволь им подготовленная, безрассудно объявленная Наполеоном III и его министром, либералом Эмилем Оливье, была самым злосчастным событием, какое только могло нас постигнуть. Нужно бы-

Но Бакунин любил Францию не только как очаг революционного социализма, откуда, по его убеждению, должна взойти заря социального освобождения, он любил Францию как таковую, за ее просветительную и освободительную роль в истории человечества. «Я отнюдь не националист,—говорит он.— Я даже от всей души ненавижу так называемый принцип национальностей и рас, который выдвинули Наполеон III, Бисмарк и... императоры лишь для того, чтобы во имя его подавить свободу всех наций». И тем не менее, продолжает он, «я оплакивал бы, как величайшее несчастье для всего человечества, упадок и смерть Франции, как великой национальной породы, смерть этого великого национального характера, этого французского духа, этих благородных, героических инстинктов и этой революционной смелости, которые посмели взять приступом, с целью разрушения, все авторитеты, освященные и упроченные историей, все силы небесные и земные. Если бы той великой исторической породы, которая называется Францией, в настоящее время не существовало, если бы она исчезла с мировой сцены или, что было бы еще хуже, если бы эта благородная и умная нация с той чудесной высоты, на которую вознесли ее героический труд и гений прошлых поколений, сразу низверглась в грязь, продолжая влачить существование в качестве рабы Бисмарка, в мире образовалась бы огромная пустота. Это была бы не просто национальная катастрофа, это было бы всеобщим несчастьем, мировой потерей».

Достаточно представить себе, что на месте Франции 1793 г., на месте Франции, от которой мир ждет и теперь (1870 г.) инициативы всеобщего освобождения, стояла бы Пруссия, Германия Бисмарка, и сразу станет понятным, что потеряло бы человечество с гибелью Франции.

ло еще несколько лет,—так думали наши парижские друзья (здесь автор ссылается на письмо Варлена к Обри от 29 декабря 1869 г.),—для того, чтобы закончить организацию Интернационала во Франции и подготовить широкое движение, которое, вместе с Францией, охватило бы Испанию, Италию, Швейцарию и Бельгию: война, вызванная двумя деспотическими правительствами, была крушением наших чаяний". (L'Internationale, II, 64—65).

«Мир настолько привык следовать инициативе Франции, видеть ее всегда смело идущей впереди, что и теперь, когда она, раздавленная бесчисленными армиями и преданная всеми своими официальными властями, равно как явной немощью и глупостью всех своих буржуазных республиканцев, весь мир, все нации Европы, изумленные, встревоженные, подавленные ее видимым упадком, все еще ждут от нее своего спасения. Они ждут от нее сигнала к освобождению, лозунга, примера. Все взоры обращены не на Мак-Магона или Базена, а на Париж, Лион, Марсель. Революционеры всей Европы тронутся не прежде, чем тронется Франция... Таково еще и в настоящее время, несмотря на все ее несчастья, а, может быть, именно благодаря этим ужасным несчастьям, впрочем, вполне заслуженным,—таково еще и теперь и даже в большей степени, чем когда-либо, великое положение революционной Франции. От смелого водружения и от успеха ее знамени мир ждет своего спасения». (Продолжение «Писем к французу», т. IV, стр. 24—27.)

Те же мысли Бакунин выражает и в «рукописи, написанной в Марселе», представляющей связующее звено между «Письмом к французу» и «Кнуто-Германской Империей».

«Франция,—писал он, эта—великая нация, которую ощущение своего действительного исторического величия часто толкало на безрассудные и преступные безумства, но которая, несмотря на эти временные уклонения и на эти злополучные увлечения самонадеянной силы, до сих пор всем миром справедливо признавалась естественным вождем и благородным инициатором всего человеческого прогресса и всех завоеваний свободы; эта Франция, вся история которой с 1789 и 1793 г. была не чем иным, как энергическим протестом и непрерывной борьбой света с мраком, человеческого права с ложью божественного права и юридического права, демократически-социальной всемирной республики с тиранической коалицией королей и эксплуатирующих и привилегированных классов;

эта Франция, с которою еще и ныне связаны все надежды угнетенных наций и порабощенных народов, гибнет на наших глазах. Ей угрожает участь Польши. Ее могущество, некогда заставлявшее бледнеть всех тиранов Европы, ныне пало так низко, что все эти монархии, успокоенные ее падением, осмеливаются безнаказанно оскорблять ее, выражать ей лицемерное и презрительное сожаление и обращаться к ней с увещаниями и советами; что все более или менее микроскопические государики Германии, вассалы короля Вильгельма, их будущего императора, вчера еще дрожавшие при одном имени Франции, теперь, окруженные своими ад'ютантами, дерзают попирать ногами и захватывать ее территорию. И в довершение всего, даже буржуазные республиканцы Швейцарии, холопская угодливость которых перед Наполеоном III еще несколько месяцев тому назад не знала границ, ныне смеют во всеуслышание мечтать о приращении и округлении Гельветической Республики за счет Франции, поверженной под нози прусского самодержца. И в конце концов, участь, которую при настоящих условиях ей в лучшем случае смеют предрекать, это—превращение в наместничество будущего Германского императора, подобно тому, как Италия Виктора-Эммануила была наместничеством императора французов. Я не имею чести быть французом, но признаюсь, что я глубоко возмущен всеми этими оскорблениями, и что несчастья Франции, ее падение повергают меня в глубокое отчаяние».

Его печалит не крушение официальных властей, не падение Второй Империи, не развал французского государства. «Что я горько оплакиваю, так это падение французской нации, крушение симпатичной и великой породы, благородного национального характера и блестящего французского ума, как бы нарочно созданных и развитых историей для освобождения мира. Что я оплакиваю, так это молчание, которое будет наложено на великие уста Франции, возвещавшие всем страждущим и угнетенным свободу, равенство, братство и

справедливость. Мне кажется, что когда великое солнце Франции погаснет, всюду наступит затмение, и что все более или менее затейливые фонарики, которые будут зажжены резонерствующими учеными Германии, не в состоянии будут заменить тот великий и простой свет, который проливал на мир дух Франции. Наконец, я убежден, что порабощение Франции и окончательное торжество Германии, подчиненной пруссакам, снова ввергнут всю Европу в тьму, бедствия и рабство прошедших веков. Я настолько в этом убежден, что, по моему мнению, для всякого человека, любящего свободу и желающего торжества человечности над скотскостью, желающего освобождения своей собственной страны, в настоящее время является священным долгом принять участие в демократической борьбе французского народа против вторжения германского деспотизма, какого бы он сам ни был происхождения, будь он англичанином, испанцем, итальянцем, поляком, русским и даже немцем» (IV, 152—155).

Если Франция будет побеждена, не перестает повторять Бакунин, то дело человечества погибнет в Европе, по крайней мере, на 50 лет. Вся Европа будет сразу отброшена назад, к средневековому варварству. Во всех государствах усилится гонение на социализм. Создастся почва для нового об'единения всех консервативных и реакционных сил. «После войны 1815 г. возник политический Священный Союз всех государств против буржуазного либерализма. После нынешней войны, если она кончится торжеством Пруссии, т.-е. торжеством международной реакции, сложится одновременно политический и экономический Священный Союз тех же государств, еще усиленных корыстным сотрудничеством буржуазии всех стран, против революционного социализма пролетариата». Реакция, которая наступит после германской победы на многие десятилетия, будет еще более ожесточенной, чем та, которая наступила после июньской катастрофы 1848 г. И именно в сознании этой опасности германские социал-демократы протестовали против вторжения немецких войск во Францию, за что Бакунин искренно их приветствует (IV, 19—27; II, 294).

Но победа немцев грозит гибелью и самой Германии, немецкой свободе, всем демократическим чаяниям германского народа. «Горе немцам,—восклицает Бакунин,—если их армии победоносно возвратятся в Германию! Это будет концом для всех их надежд на будущее и для их свободы, по меньшей мере, на 50 лет. Стоит только представить себе эти орды рабов, дисциплинированных и предводимых померанскими баронами, и превращенных...» (здесь обрывается, к сожалению, рукопись листка, озаглавленного «Пробуждение народов» и относящегося, повидимому, к одному из отрывков «Кнуто-Германской Империи»).

Таким образом, спасение Франции лежит в интересах не одной только этой страны, но и всех других стран. В «Письме к Эскиросу» Бакунин, предупреждая вопрос, какое собственно ему, иностранцу, дело до спасения Франции, отвечает предполагаемому вопрошателю: «Должен ли я доказывать вам, что теперь дело Франции снова стало делом всего мира; что поражение и упадок Франции будет поражением и упадком свободы, всего того, что есть в мире человеческого; что конечное торжество прусской идеи и прусского могущества, проникнутых военно-бюрократическим, дворянским и иезуитско-протестантским духом, будет величайшим несчастьем, какое только способно постигнуть Европу? Если Пруссия одержит верх, то европейское человечество погибло, по крайней мере, на 50 лет; нам, старикам, останется тогда только умереть. Увы! Я должен буду признать, что мой покойный друг Александр Герцен был прав после плачевных июньских дней 1848 г., когда об'явил, что Западная Европа отныне умерла, и что для обновления, для продолжения истории осталось только два источника: Америка, с одной стороны, и восточное варварство—с другой» (IV, 233).

Но Бакунин не хочет так легко сложить оружие. Европа не нуждается для своего спасения,—говорил он Герцену и говорит теперь,—в обновлении ее восточным варварством. В недрах европейского общества имеется достаточно живых элементов, собственных «варваров», незатронутых и неистощенных буржуазною цивилизацией, трудовых масс, которые найдут в

себе достаточно сил и энергии, чтобы дать отпор торжествующему насилию. В частности, французский рабочий класс должен понять, что победа пруссаков будет еще гораздо пагубнее для французских рабочих, чем для французской буржуазии (II, 259). Перед французскими рабочими, ввиду торжества германского деспотизма, выдвигается теперь задача освобождения всего человечества; и только они одни, если им удастся увлечь за собою французское крестьянство, способны осуществить эту задачу, ибо их инициатива встретит живой отклик среди рабочих во всех странах [1]). «Такова в настоящее время их великая миссия. Если они ее выполнят, они освободят всю Европу. Если они проявят слабость, они погубят сами себя и обрекут европейский пролетариат, по крайней мере, на полувековое рабство». Подчинение пруссакам—смерть для французского социализма, который будет сброшен со счетов истории, как живая и действенная сила, ведущая человечество вперед. «Совершенно очевидно, что, если Франция покорится Пруссии, если в этот ужасный момент, когда на карту вместе со всем ее настоящим, поставлено все ее будущее, она не предпочтет смерть всех своих детей и гибель всего своего добра, пожар своих деревень, городов и жилищ рабству под прусским игом, если она не сломит силой народного революционного восстания силу бесчисленных германских армий, до сих пор всюду шедших от победы к победе и ныне угрожающих ее достоинству, ее свободе и даже самому ее существованию, если она не станет могилою для всех этих шестисот тысяч солдат германского деспотизма, если она не противопоставит им единственного средства, способного при настоящих условиях победить их и уничтожить, если она не ответит на это наглое вторжение социальной революцией, не менее беспощадной и в ты-

---

[1]) По мнению Бакунина, революционная инициатива трудящихся масс Франции не только создаст в самой Франции силу, способную противостать германским полчищам, но и вызовет в тылу последних, среди германских рабочих, движение революционно-социального характера. „Всякая национальная революция и особенно революция во Франции неизбежно и немедленно превратится в интернациональную революцию“ (IV, 159).

сячу раз более грозной.—тогда не подлежит сомнению, что Франция погибла, ее рабочие массы будут обращены в рабство, а французский социализм прикажет долго жить» (IV, 27—32).

Поэтому Бакунин не верит в индифферентное отношение французских рабочих к войне, к поражению Франции и победе Германии. Такого индифферентизма он никогда не поймет или, вернее, боится его понять. Газетные известия о безразличии рабочих к судьбам Франции, если бы они были справедливы, доказывали бы, что французские рабочие слишком узко понимают свои задачи, сводя весь социальный вопрос «к простому вопросу материального благосостояния для себя самих, т.-е. к узкой и смешной утопии, не имеющей никаких шансов на осуществление» (между прочим, интересное заявление в устах Бакунина, упорно отвергавшего участие рабочего класса в политической борьбе!). Бакунин понимает и всецело разделяет ненависть и презрение французских рабочих к Тюльери, собору Нотр-Дам и даже к Лувру, как к памятникам материального и духовного порабощения. Но все это не могло бы оправдать индифферентного отношения их к судьбам Франции. «Если бы Франция,—восклицает Бакунин,—подверглась нашествию армии пролетариев немецких, английских, бельгийских, итальянских, испанских, развернувшей знамя революционного социализма и возвестившей миру окончательное освобождение труда и пролетариата, я первый сказал бы французским рабочим: «Раскройте им ваши об'ятия, это ваши братья, и об'единитесь с ними, чтобы смести с лица земли разлагающиеся остатки буржуазного мира!». Но нашествие, бесчестящее Францию в настоящий момент, вовсе не демократическое и социальное нашествие,—это нашествие аристократическое, монархическое и военное. Пять-или шестьсот тысяч немецких солдат, душащих в данный момент Францию, являются покорными подданными, рабами деспота, насквозь пропитанного своим божественным правом, и руководятся, состоят под командой и приводятся в движение, как автоматы, офицерами и генералами, вышедшими из среды самого наглого дворянства

в мире, они—спросите об этом у наших братьев, германских рабочих—самые ярые враги пролетариата. Встречая их мирно, оставаясь индифферентными и пассивными перед этим вторжением немецкого деспотизма, аристократизма и милитаризма, французские рабочие не только отказались бы от своего собственного достоинства, собственной свободы, собственного благосостояния и от всех своих надежд на лучшее будущее, но они предали бы еще дело пролетариата всего мира, священное дело революционного социализма. Ибо последний повелевает им, в интересах рабочих всех стран, уничтожить эти свирепые банды германского деспотизма, подобно тому, как они сами уничтожили вооруженные банды французского деспотизма, перебить всех солдат прусского короля и Бисмарка до последнего так, чтобы ни один из них не мог покинуть живым или вооруженным почву Франции» (II, 253—258).

Мы видим, таким образом, что в отношении к Германии и Франции Бакунин не знал середины: насколько он ненавидел одну, закрывая глаза даже на ее положительные стороны, настолько же он любил другую, готовый сквозь пальцы смотреть даже на ее недостатки, если только дело шло о том, какой из двух отдать предпочтение. И после всего вышесказанного нас не удивит, что Бакунин готов был предпочесть германскому торжеству победу даже не Франции, как таковой, а самого Наполеона III. «Мы не знаем, что было бы, если бы победил Наполеон III,—говорит он.—Без сомнения, было бы худо, даже очень худо; но не случилось бы худшего несчастья для целого мира, для свободы народов, чем теперь» («Государственность и Анархия», стр. 231).

IV.

Откуда же возьмется та сила, которая нанесет пангерманизму серьезный удар? Сначала Бакунин надеялся на революционное движение во Франции. На французскую буржуазию он не возлагал в этом отношении никаких надежд. Прежде всего, французские политические деятели, вынесенные событиями войны на гребень исторической волны,—государственники с ног до головы и уже по тому одному не годятся для спа-

сения страны, очутившейся в отчаянном положении, для выхода из которого нужны, по его мнению, совершенно иные, непривычные приемы борьбы. И соответственно этому бо́льшая часть «Писем к французу» и «Кнуто-Германской Империи» посвящена, с одной стороны, критике буржуазных республиканцев и их методов действия, а с другой—указанию и обоснованию тех методов, которые казались Бакунину единственно пригодными и разумными в тот трагический момент французской истории.

Французские политические деятели, начиная с консерваторов и реакционеров, в роде Мак-Магона, Тьера и Паликао, и кончая умеренными и даже левыми республиканцами, вроде Гамбетты и его лейтенантов, прежде всего поклонники государственного принципа, «патриоты Государства», как выражается Бакунин. Расходясь в целом ряде пунктов, они все сходятся в одном: все они в одинаковой степени государственники, политические люди, государственные мужи. В качестве таковых они полагаются только на регулярные средства, на организованные силы государства, на порядок, на регулярную армию, на бюрократию. Они не доверяют народу, боятся его стихийных порывов, выходящих из рамок традиционной государственной жизни, особенно же они страшатся социальной революции, угрожающей экономическим привилегиям господствующих классов. И если бы, говорит Бакунин, им предстоял выбор между триумфальным вступлением пруссаков в Париж и спасением Франции посредством социальной революции (Бакунин писал эти строки до осады и капитуляции Парижа), то они несомненно предпочли бы первое.

На их взгляд в тяжелую для страны годину сильное правительство, как бы плохо оно ни было, хотя бы бонапартистское, всегда предпочтительнее анархии, которая неизбежно вспыхнет, если этому правительству будут оказывать оппозицию. Поэтому они предпочитают мириться со всеми недостатками господствующей клики, под тем предлогом, что этого требуют интересы страны. Но таким путем, они, в том числе и буржуазные республиканцы, предают Францию пруссакам, ибо Франция может быть спасена только с помощью таких

средств, которые неизбежно влекут за собою разложение государства, расторжение государственных уз («Письмо к Французу», Oeuvres, II, 137—172).

Комиссары, посланные в провинцию для сформирования новой армии, по словам Бакунина, представляют пародию на знаменитых комиссаров эпохи Великой Революции. «Это дело поручено не чрезвычайным комиссарам 1793 г., которые, будучи сами увлекаемы и поддерживаемы могучим революционным движением, охватившим все население, творили чудеса, не гигантам Национального Конвента, а префектам, чиновникам и администраторам Наполеона III, ворам и грязным людишкам» (II, 149—150). Столь же резко относится Бакунин к предполагавшимся комиссарам Правительства Национальной Обороны, к посланцам Гамбетты, которые, по его словам, будут представлять не революционную буржуазию 1793 г., а реакционную буржуазию, уже порвавшую с народом.

Комиссары Конвента были героическими деятелями. Они сыграли блестяще свою роль потому, что пославший их Конвент «был проникнут действительно революционным духом и, сам опираясь в Париже на народные массы, на чернорабочую чернь, с устранением либеральной буржуазии, повелел всем своим проконсулам, командированным в провинцию, также опираться повсюду и всегда на эту самую народную чернь». В совершенно ином положении будут находиться эмиссары Гамбетты, и вот почему они потерпят еще более постыдное фиаско, чем их предшественники в 1848 г. В 1793 г. не существовало еще разрыва между рабочим классом и буржуазией; напротив, будучи в действительности антагонистами, поскольку их экономические интересы стояли в непримиримом противоречии, они чувствовали себя солидарными в борьбе против сил старого режима.

«Вот что придавало великую силу революционным буржуа 1793 г. Они не только не боялись разнуздания народных страстей, но даже всячески разжигали их, как единственное средство спасения отечества и себя самих от внутренней и внешней реакции. Когда посланный Конвентом чрезвычайный комиссар прибывал в какую-нибудь провинцию, он никогда

не обращался к местным именитым людям или к революционерам в барском платье, а адресовался прямо к санкюлотам, к черному народу и, опираясь исключительно на него, проводил в жизнь революционные декреты Конвента против воли местных шишек и приличных революционеров. Их работа заключалась, собственно говоря, не в централизации или администрации, а в пробуждении. Они являлись в какую-нибудь местность не для того, чтобы диктаторски навязывать волю Национального Конвента. Так поступали они лишь в самых редких случаях, и только тогда, когда они приезжали в решительно и единодушно враждебную и реакционную местность. В таких случаях они являлись не одни, а в сопровождении войск, которые присоединяли свои штыковые аргументы к их гражданскому красноречию. Но обыкновенно они являлись совершенно одни, без единого солдата на помощь, и искали поддержки в массах, инстинкты которых всегда совпадали с мыслями Конвента—не только они не стесняли свободы народных движений из опасения анархии, а, напротив, всячески их вызывали: первое, что они обыкновенно делали, это было открытие народного клуба там, где они не находили его на лицо,—сами будучи не на шутку революционерами, они быстро распознавали в массе истинных революционеров и соединялись с ними для раздувания революции, анархии, для внедрения чорта в тело масс и для революционной организации этой народной анархии. Эта революционная организация была единственной администрацией и единственной исполнительной силой, которой пользовались чрезвычайные комиссары для революционизирования и терроризирования страны. В этом заключался действительный секрет мощи этих революционных гигантов, перед которыми якобинцы-пигмеи наших дней благоговеют, не в силах будучи с ними сравняться (II, 189—190).

А между тем, если бы буржуазные республиканцы 1870 г. посмели прибегнуть к отчаянным средствам, которые подсказывались отчаянным положением страны, если бы они явно стали на революционный путь, они, по мнению Бакунина, при-

влекли бы на свою сторону все народы. «Они,—писал он до 4 сентября про буржуазных республиканцев, не решавшихся низвергнуть Империю под предлогом патриотизма,—они явно предают Францию внешнему врагу, потому что своим патриотическим воздержанием они лишили ее колоссальной моральной поддержки,—вначале только моральной, но несколько позже весьма материальной. Если бы у них хватило мужества провозгласить в Париже республику, симпатии всех народов, итальянского, испанского, бельгийского, английского и даже немецкого [1]), немедленно склонились бы на сторону Франции. Все, не исключая немцев, массы немецких рабочих, приняли бы ее сторону против прусского нашествия. А такая моральная поддержка иностранных наций что-нибудь да значит. Это прекрасно сознавали якобинцы 1793 г. и не сомневались, что эта поддержка составляет, по меньшей мере, половину их силы. Революция немедленно охватила бы Италию, Испанию, Бельгию, Германию [1]), и прусский король, в еще большей степени беспокоемый с тылу немецкой революцией, чем французской армией, очутился бы в действительно плачевном положении. Но у незаконных детей Дантона не хватило смелости, и все народы, оттолкнутые такой глупостью, трусостью и слабостью, испытывают по отношению к французской нации чувство жалости, смешанной с презрением» (II, 152—153).

Обычные регулярные методы, в частности, регулярная армия, не могут спасти Францию; спасти ее может только широкое народное движение, общенародное восстание. «Все серьезные и искренние люди, желающие спасения Франции, пришли к тому убеждению, что Франция может быть спасена только с помощью стихийного восстания, совершающегося помимо всякого воздействия и опеки со стороны администрации, правительства и государства, какую бы форму это государство и это правительство ни имели». На буржуазию в этом отношении рассчитывать не приходится, ждать избавления можно только от народа. «Единственно что может спасти Францию посреди

[1]) Курсив Бакунина.

страшной, смертельной опасности, внешней и внутренней, которая в настоящее время ей угрожает, это—стихийное, могучее, страстно энергическое, анархическое, разрушительное и дикое восстание народных масс на всей территории Франции» [1]). Буржуазные республиканцы, боявшиеся такого движения и сдерживавшие его, погубили Францию, и если немедленно не вспыхнет анархическое возмущение, она окончательно погибнет (II, 152—153, 165, 200, 215).

Французское правительство, желавшее опираться только на регулярную армию вместо того, чтобы обратиться к живым силам народа, привело страну на край пропасти. «Несмотря на явный перевес неприятеля над обеими французскими армиями, имелось бы верное средство остановить врага и не позволить ему даже приблизиться к стенам Парижа. Если бы было приведено в исполнение то, что парижские газеты говорили в первый момент отчаяния; если бы, сейчас же по получении в Париже известий о французских поражениях, вместо того, чтобы вводить в Париже и во всех восточных департаментах осадное положение, население этих департаментов призвано было поголовно взяться за оружие; если бы обе армии превращены были не в единственное средство спасения, а в две точки опоры для колоссальной, партизанской, охотничьей, а в случае нужды и разбойничьей войны; если бы вооружили всех крестьян, всех рабочих, давши им косы за отсутствием ружей; если бы обе армии, отбросив в сторону всякое военное чванство, установили для взаимной поддержки братскую связь с бесчисленными отрядами вольных стрелков, которые поднялись бы на призыв Парижа,—тогда, даже без поддержки остальной Франции, Париж был бы спасен или, по крайней мере, неприятель был бы остановлен на срок достаточно долгий для того, чтобы дать революционному правительству возможность организовать могучие силы» (II, 164).

Этого в свое время сделано не было, и немцы могли беспрепятственно развернуться и разгромить регулярные войска

[1]) Курсив Бакунина.

Франции. После этого, по словам Бакунина, стало ясно, что Франция может быть спасена только непосредственным выступлением народа, свободно организующегося снизу вверх для «разрушительной войны, для дикой войны на ножах». Такая война может рассчитывать, по мнению Бакунина, на верный успех. «Когда нация, состоящая из тридцати восьми миллионов человек,—говорит он,—встает для самозащиты с твердым решением скорее все разрушить и дать себя уничтожить вместе со своим добром, чем пойти под ярмо, нет той армии в мире, как бы мудро она ни была организована и каким бы необыкновенным и новым вооружением она ни была снабжена, которая могла бы такую страну покорить».

Весь вопрос в том, способен ли французский народ на такое выступление. И Бакунин был вначале уверен, что способен. Во главе такого движения должен был, по его мнению, стать рабочий класс, как более сознательная и организованная сила, и попытаться увлечь за собою крестьянскую массу, без активной поддержки которой движение было бы обречено на неудачу. Возможно ли это? Бакунин думал, что да.

Буржуазные республиканцы из школы Гамбетты проповедовали об'единение пролетариата с буржуазией в общем патриотическом порыве. Бакунин считает такое слияние нежелательным и ни к чему не ведущим. Но зато он с тем большим жаром высказывался за тесное сплочение в общем деле городского простонародья с деревенским, рабочих с крестьянами. Для того, чтобы крестьяне пошли за рабочими, последние должны своими действиями рассеять те предрассудки, которые веками воспитывались в крестьянстве, при услужливом содействии чиновников, помещиков и духовенства, против горожан вообще и против рабочих в частности. Рабочие должны убедить крестьян в том, что они и не думают навязывать им какие-либо формы жизни, для крестьян нежелательные, в частности, не намерены насильственно навязывать им революцию. Вместо того, чтобы навязывать им ее, они должны побуждать крестьян к самостоятельному выступлению в своих собственных интересах и доказывать это не словами, а актами. «Для этого,—говорит Бакунин,—существует одно только сред-

ство, а именно говорить крестьянам и энергично толкать их в сторону их собственных инстинктов [1]). Они любят землю, пусть заберут всю землю и выгонят оттуда всех собственников, обрабатывающих ее чужим трудом. У них нет никакой охоты платить гипотеки и налоги. Пусть не платят их. Пусть те из них, которые не хотят платить своих частных долгов, не принуждаются к их платежу. Наконец, они терпеть не могут рекрутчины, пусть их не заставляют итти в солдаты» [2]).

Но кто же в таком случае станет сражаться с пруссаками?— спрашивает Бакунин и отвечает: «Не беспокойтесь! Когда крестьяне живо почувствуют, когда они, так сказать, осязательно ощутят все выгоды революции, они для ее защиты дадут больше денег и людей, чем в состоянии была бы выжать из них регулярная, даже усиленная деятельность государства. Крестьяне сделают с пруссаками то, что сделали с ними в 1792 г.».

Но это будет гражданская война? А в таком случае разве внутренние раздоры не ослабят силы сопротивления Франции и не выдадут ее головой пруссакам?

Ничуть не бывало,—уверенно отвечает Бакунин. «История доказывает, что никогда нации не чувствовали себя такими сильными во-вне, как тогда, когда они чувствовали себя глубоко взволнованными и взбудораженными внутри, и что, напротив, никогда они не были так слабы, как тогда, когда казались об'единенными под какой-либо властью или в каком-либо стройном порядке. В сущности, нет ничего более естественного, ибо борьба—это жизнь, а жизнь—это сила. Чтобы убедиться в этом, вам (французам) достаточно сравнить две или даже четыре эпохи вашей истории: во-первых, Францию, вышедшую из Фронды и развитую, закаленную борьбою Фрон-

---

[1]) Курсив Бакунина.

[2]) В „Кнуто-Германской Империи" Бакунин подробно развивает программу действий, необходимых, по его мнению, для увлечения деревни за передовыми элементами города, но мы не будем здесь останавливаться на рекомендуемой им „пропаганде фактами".

ды в молодые годы Людовика XIV, с Францией под его старость, с монархией, прочно установленной, об'единенной, замиренной великим королем,—при чем первая блистала победами, а вторая через сплошной ряд поражений шла к крушению. Точно так же сравните Францию 1792 г. с нынешней Францией. В 1792 г. и 1793 г. Франция в буквальном смысле была раздираема гражданской войной; движение, борьба, борьба на жизнь и на смерть представляла общее явление на всех пунктах республики. И тем не менее Франция победоносно отразила нашествие почти всех европейских стран. В 1870 г. Франция, об'единенная и примиренная с Империей, разбита германскими армиями и оказывается настолько деморализованной, что приходится опасаться за ее существование» («Письмо к французу», II, 231—248).

Как известно, призывы Бакунина не возымели действия, а ожидания его не осуществились. Французский пролетариат не нашел в себе достаточно сил для того, чтобы захватить руководство национальной обороной в свои руки, а тем более, для того, чтобы, по совету Бакунина, «возжечь революционный пожар во всей Европе» (II, 234). И Бакунин принужден был покинуть Францию, куда он «понес свои старые кости и где намеревался сыграть свою последнюю игру» (Письмо к Адольфу Фохту от 6 сентября 1870 г.), с глубоким отчаянием в душе. Разочарование его было так велико, что он уже впоследствии не верил в успех парижской Коммуны и, восторгаясь героизмом и решительностью парижан, готов был все же удерживать своих друзей от необдуманного участия в восстании коммунаров. Бисмарк, который, на взгляд Бакунина, символизировал насильническую политику германского империализма, одержал победу, война привела к установлению германской гегемонии в Европе, и Бакунину оставалось только писать «патологические эскизы» современной Франции и современной Европы.

V.

Но значит ли это, что, по мнению Бакунина, царствию германского империализма или, как выражался Бакунин, немец-

кого пангерманизма не будет конца? Отнюдь нет. Насколько можно сделать определенный вывод из отрывочных замечаний, рассеянных по этому поводу в различных его сочинениях, Бакунин полагал, что решительный удар пангерманизму будет нанесен славянством, которое на протяжении всей своей истории всегда служило главным об'ектом культуртрегерского воздействия со стороны германцев. Правда, Бакунин вряд ли предвидел тогда, в какую форму выльются отношения Франции и России, ибо Россия была в то время верной союзницей Пруссии и помогла ей разгромить Францию [1]). Еще меньше мог Бакунин предвидеть ту роль, которую суждено сыграть в грядущем конфликте Англии, хотя, как мы увидим ниже, у него встречаются в этом отношении отдельные намеки, показывающие, что он смутно предугадывал неизбежное столкновение царицы морей с новой мировой державой, также поставившей себе задачей приобретение преобладающего влияния на водах. Во всяком случае взгляды, которые намечены по этим вопросам в сочинениях Бакунина, свидетельствуют о том, что, при всей своей склонности к утопиям и построению воздушных замков, Бакунин отличался трезвым пониманием реальных политических отношений, а во многих отношениях и большой прозорливостью.

Славянская жилка всегда сильно билась в Бакунине. Он, конечно, не был панславистом в том смысле, какой это слово получило в обычном употреблении, и не только не мечтал об об'единении всех славянских племен под скипетром державы Российской, но, напротив, постоянно и решительно боролся с этой тенденцией. Бакунин мечтал о вольной всеславянской федерации, построенной на принципах полной свободы, а впоследствии и анархии. Но это не мешало тому, что по отношению к немцам он чувствовал себя как славянин, а его непримиримая вражда к германской нации, как мы видели, в значительной, если не в главной степени об'яснялась ее историче-

---

[1]) Маркс, впрочем, предвидел уже в то время, что результатом франко-прусской войны будет союз между Россией и Францией, направленный против Германии.

скою ролью в деле завоевания и германизации славянских народов. И в письме от 1862 г. он чувствует, как славянин, когда пишет: «Германия—наш естественный враг, а австрийское королевство есть отвратительное исчадие немецкой жизни». Все политическое могущество Пруссии основано на разрушении Польши: «это могущество в действительности начинается со времени раздела Речи Посполитой и завоевания Силезии, провинции, некогда чисто польской, да и в настоящее время еще польской в весьма значительной части. Не мешает помнить об этом происхождении прусского могущества, которое, подобно року, тяготеет и всегда будет тяготеть над ним, а также над германским могуществом, поскольку оно будет прусским» (IV, 428—483). Да и вообще вся Пруссия, часть Саксонского королевства и главная часть Австрийской империи образовались благодаря завоеванию славянской и итальянской рас немецкой (V, 247).

Но менее всего Бакунин ждал освобождения славян от тогдашней официальной российской государственности. Напротив, он (подобно Герцену) признавал ее лишь «филиальным отделением Германской империи» (III, 16) и старался предостеречь славян от надежд на нее. Она, по словам Бакунина, представляет «не что иное, как... враждебную славянам немецко-татарскую централизацию». Именно раздел Польши теснейшим образом связал и соподчинил русскую и прусскую политику. Пруссия и Россия «не могут воевать друг с другом, не предоставив свободы доставшимся на их долю польским областям, что одинаково невозможно для них обеих». Но не следует думать, что здесь имеется какая-то особая взаимная симпатия. «Не следует воображать, что русские, даже из официальных кругов, любят пруссаков, а последние обожают русских. Напротив, они друг друга терпеть не могут». Но они связаны общей политикой по отношению к Польше, и симпатия их имеет чисто дипломатический характер.

Правда, на горизонте этой безоблачной дружбы Бакунин усматривает черную точку: это вопрос о Прибалтийских провинциях. Эти провинции, по мнению Бакунина, ни русские, ни немецкие: они—латышские или финские, при чем на его

взгляд лучшим исходом для них было бы вступление их вместе с Финляндией на федеративных началах в Скандинавскую федерацию, обнимающую Швецию, Норвегию, Данию и датскую часть Шлезвига. «Это было бы справедливо, это было бы естественно, и этих двух оснований достаточно для того, чтобы такое решение не нравилось немцам. Оно положило бы, наконец, спасительную границу их честолюбивым морским замыслам» (курсив мой). Но немцам эти провинции как раз нужны для упрочения их господства на Балтийском море, и Бакунин убежден, что в глубине души Бисмарк мечтает рано или поздно овладеть ими так или иначе.

Но пока этот вопрос еще не в силах оторвать Пруссию от России, ибо они слишком нуждаются одна в другой. «Пруссия, которая отныне не сможет иметь в Европе ни одного союзника кроме России [1]), так как все остальные государства, не исключая и Англии, чувствуя в ее честолюбии, которое вскоре не будет знать границ, угрозу для себя, обращаются или рано или поздно обратятся против нее,—итак, Пруссия поостережется поднимать в настоящее время такой вопрос, который способен был бы поссорить ее с ее единственным другом, с Россией». Пруссия будет нуждаться, если не в помощи, то, по крайней мере, в нейтралитете России до тех пор, пока ей не удастся совершенно сломить, по меньшей мере, лет на 20 могущество Франции, разрушить Австрийскую империю и поглотить немецкую Швейцарию, часть Бельгии, Голландию и всю Данию, так как обладание обеими последними странами ей необходимо для создания и упрочения своей морской мощи. Все это будет необходимым последствием ее победы над Францией.

При самых благоприятных условиях на осуществление этой программы потребуются годы, и в продолжение всего этого

[1]) В то время трудно было предвидеть союз Пруссии с Австрией, которая после войны 1866 г. относилась к своей соседке крайне враждебно.

времени Пруссия более, чем когда-либо, будет нуждаться в содействии России. «Ибо следует предположить, что о с т а л ь н а я Е в р о п а, при всей обнаруживаемой ею низости и глупости, в конце концов в с е - т а к и п р о с н е т с я, когда почувствует нож у своего горла, и не даст без сопротивления и боя приготовить себя под прусско-германским соусом. Одна Пруссия, даже торжествующая, даже раздавившая Францию, будет слишком слаба для борьбы со всеми об'единенными государствами Европы. Е с л и и Р о с с и я о б р а т и т с я п р о т и в н е е, о н а п о г и б л а» (II, 392—396).

Неизбежно ли это столкновение России с Германией? Повидимому, Бакунин считал его неотвратимым, хотя ему хотелось бы, чтобы во главе общеславянского движения против насильственно навязываемой славянами немецкой культуры стала не Россия историческая, а Россия, предносившаяся умственному взору Бакунина, мечтавшего о красном стяге вольной славянской федерации, организованной на безгосударственно-федеративных началах. Так или иначе, но, по мнению Бакунина, осуществление панславянского идеала исторически наталкивалось на три препятствия: на соперничество двух величайших германских государств, Пруссии и Австрии, на могущество Франции, ревниво следившей за усилением своей зарейнской соседки, и, наконец, на угрожающую силу Всероссийской Империи, выступавшей в роли покровительницы славянских народов и защитницы их от нашествия немецкой цивилизации.

Первые два препятствия, если не целиком, то в значительной части, устранены двумя войнами, из которых Пруссия вышла победительницей. Остается Россия, с которой германскому империализму придется рано или поздно посчитаться. Но когда? В этом весь вопрос.

Здесь в германских сферах намечаются, по мнению Бакунина, две тенденции. Внешне они как бы непримиримо враждебны, но по существу они, как утверждает Бакунин, представляют две стороны одной и той же медали. Одна из них воплощается в Бисмарке, другая—risum teneatis, amici!—в Карле Марксе. Тот и другой одинаково панслависты, тот и другой одинаково презирают славян и желают насильственно

их германизировать, тот и другой одинаково ненавидят Россию, как главную помеху на пути к реализации пангерманского идеала. Но в то время, как Бисмарк старается временно сохранить с официальной Россией дружеские отношения и использовать союз с нею в целях усиления Пруссии, Маркс, под предлогом защиты демократии от опасности, угрожающей ей с востока, проповедует против Российской Империи крестовый поход всей Европы.

«В отличие от Маркса, Бисмарк остерегается оскорблять и провоцировать царя. В продолжение некоторого времени он будет еще в нем нуждаться, а потому не только не станет его оскорблять, но напротив льстит ему и величает себя его другом. Но в политике дружба не значит ровно ничего, а Бисмарк знает не хуже Маркса, что час великой борьбы между пангерманизмом, представляемым Пруссией или всею опрусаченной Германией, и панславизмом, олицетворяющимся в царе, рано или поздно пробьет».

Но для этого нужно прежде всего раз навсегда разделаться с Францией. Ведь Франция, хоть и побеждена и тяжело изранена, все-таки окончательно не убита. Она никогда не простит Германии нанесенной ей обиды и рано или поздно возьмет р е в а н ш [1]). Последний может вылиться в двоякую форму: или Франция возьмет на себя инициативу социальной революции, которая приведет к одновременному крушению обоих государств—и Франции, и Германии (как известно, эта надежда Бакунина не осуществилась), или же произойдет «борьба на жизнь и на смерть между обоими государствами, поединок между Республикой и Империей».

Бисмарк прекрасно это понимает, и вот почему он нуждается еще в помощи России и пока направляет все свои вооружения почти исключительно против Франции. «Но, как я уже сказал, в его уме, как и в голове Маркса, война на жизнь и на смерть между германским императором и царем, разразится ли она раньше или позже, есть вещь, неизбежность коей сознается и осуществление коей решено». Но предварительно Бис-

[1]) Курсив мой.

марк, как политик более тонкий, чем Маркс, хочет окончательно расправиться с Францией, чтобы иметь свободными руки для войны с Россией, ибо «он прекрасно понимает, что если Германия, об'единенная в его руках, должна будет одновременно воевать и с Россией, и с Францией, она легко сможет потерпеть поражение» [1]). И больше всего Бисмарк боится, чтобы русское правительство не разгадало его замыслов и не вздумало обратиться против него, когда он задумает напасть на Францию (что и случилось в 1875 г., т.-е. очень скоро после того, как были написаны Бакуниным эти строки).

Вот почему Бисмарк до поры до времени прикидывается другом России и заигрывает с нею, суля ей, в награду за нейтралитет и за дружбу, территориальное приращение на счет Турции или Австрии. В действительности, поскольку от него это будет зависеть, он не даст ей ничего или как можно меньше. Он уже по тому одному не будет способствовать ее усилению, что предвидит в будущем неизбежное столкновение между нею и своим отечеством. В конце концов, ему придется примириться с некоторыми ее приобретениями, но он утешает себя тою мыслью, что, во-первых, приобретения Германии за это время будут еще обширнее, а, во-вторых, ввиду превосходства немецкого управления и администрации, в конечном счете могущество Германии возрастет быстрее могущества России, так что в решительный момент, когда дело дойдет до конфликта, и Россия окажется единственным противником, Германии нетрудно будет ее разбить и раздавить.

Другой политики у Бисмарка, по словам Бакунина, и быть не может: он великолепно учел все основные факторы успеха и действует, строго сообразуясь с реальным положением вещей. В сравнении с ним Маркс, проповедующий войну с Россией без соображения с условиями места и времени, не является реальным политиком. Он слишком предвосхищает события. «Политика Бисмарка,—формулирует Бакунин свою

[1]) Курсив мой.

мысль,—есть политика настоящего; политика Маркса... это политика будущего». (Отрывок из «Кнуто-Германской Империи», т. IV, стр. 465—472) [1]).

Мы видим, таким образом, что наблюдения над франко-прусской войной и связанными с нею политическими явлениями привели Бакунина к мысли, что германский империализм, в процессе своего неудержимого роста и расширения, благодаря своему безостановочному Drang nach Osten и стремлению к подчинению славянских народов, неизбежно натолкнется на Россию, война с которой, по убеждению Бакунина, уже тогда, т.-е. в момент тесной дружбы обеих империй, была предрешена в умах немецких правящих сфер. Кроме того, Бакунин допускал, что в этом конфликте Германия будет иметь против себя и Францию, а, может быть, и Англию (вспомним, что он говорит о стремлении германского империализма к захвату Голландии и Бельгии). Правда, последнее предположение выражено у Бакунина в слишком неопределенной форме. Но ведь нельзя же требовать от публицистов и политиков дара пророческой прозорливости, предусматривающей гряду-

---

[1]) Правда, их разделяет вопрос об образе правления: Бисмарк—монархист и аристократ до мозга костей, Маркс же—демократ, республиканец и социалист. Но роднит и объединяет их присущий обоим культ государства и пангерманский идеал (там же и passim).

Дальше Бакунин вдается в критику государственности и социал-демократизма с анархической точки зрения; но в данном случае нас это не интересует. Одно обстоятельство мы, впрочем, здесь отметим. Стремясь свалить в одну кучу тенденции Маркса и Бисмарка (вероятно, больше по соображениям полемическим, чем объективным), Бакунин каждый раз наталкивается на один существенный пункт, грозящий в сильнейшей степени подорвать его аргументацию: это вопрос об отношении к Польше. Бакунин неоднократно доказывал, что порабощение польских провинций составляет основу прусского могущества, а освобождение Польши решительно противоречит идеалам пангерманизма. Между тем, Маркс, которого Бакунин старается выдать за пангерманиста, всегда стоял за восстановление Польши. Дойдя до этого пункта, Бакунин обыкновенно обещает читателю впоследствии об'яснить это важное противоречие, но ему так и не пришлось выполнить свое обещание. Видимо, он чувствовал в данном пункте непоправимую слабость своей позиции.

щее до мельчайших деталей. Как бы ни относиться к оценкам и даже к исходным пунктам Бакунина, нельзя все же отрицать, что многое было им подмечено верно, хотя, по свойственной ему манере, формулировано в слишком преувеличенной, резкой и односторонней форме.

Основным недостатком Бакунина в анализе этих вопросов являются применяемые им методологические приемы. Бакунин сплошь и рядом не исходит из анализа реальных интересов и естественной эволюции общественных классов и групп, а оперирует чисто абстрактными понятиями, вроде национального духа, расовых идеалов и т. п. Но это вопрос совершенно особого порядка, вопрос, над которым не место здесь останавливаться.

Последние годы жизни М. А. Бакунина[1]).

(К столетию со дня рождения.)

Закат жизни великого агитатора глубоко трагичен. И эта трагичность выражается не во внешнем поражении,—таковое суждено на первой стадии большинству новаторских идеалов. —а во внутреннем крушении. Идеал Бакунина не выдержал проверки на практике, и Бакунин сам усумнился в его верности. Он утратил свои надежды, он перестал верить в успех своих начинаний и осудил человечество за его дряблость и спячку. В социально-политической концепции Бакунина доминировали две идеи: первая, что народ, т.-е. пролетариат и крестьянство уже готовы к социальной революции в силу своего бедственного положения—и готовы не только психологически, но и практически, в смысле активности и способности осуществить свой идеал; вторая, что ближайшая революция будет не просто политической, но и социальной. Ему казалось кроме того, что та историческая эпоха, когда он получил возможность приступить к осуществлению своей программы, представляет особенно благоприятные условия для реализации социально-революционного идеала. Действительность жестоко обманула его ожидания и нанесла страшный, непоправимый удар его радужным чаяниям. Бакунин получил смертельную душевную рану. С этого момента раненый лев удаляется в свою берлогу, чтобы там начать скорбный период медленного умирания. Радикальный пересмотр своего миросозерцания теперь был для старого борца психологически невозможен; слишком

[1]) Из подготовляемой к печати книги „М. А. Бакунин.—Его жизнь и деятельность".

тесно слились его воззрения с самым его существом, слишком прочно вошли они в его кровь и плоть. Да и по всему складу своего темперамента, характера и стремлений Бакунин, выражавший «период бури и натиска» капиталистического общества, период, в течение которого сложилась его бунтарская система, органически не способен был к усвоению иной системы воззрений. Он предпочитал смерть тому, что ему казалось примирением с действительностью, подчинением об'ективным законам истории. В этом заключалась и трагичность, и известная красота последних содраганий побежденного, но неукрощенного бойца. Трагедия могучей личности невольно волнует и трогает даже людей, принципиально отвергающих такой бунт против законов истории.

I.

Бакунин во время франко-прусской войны.—Попытки восстания в Лионе и Марселе.—Коммуна.—Славянская секция Интернационала.—Борьба с лавристами.—Исключение Бакунина из Интернационала.—Заявление его об отказе от общественной деятельности.—Разочарование.

Поселившись в Локарно [1]), Бакунин на-ряду с русскими делами не переставал заниматься пропагандою идей Интернационала, точнее, Альянса, поддерживая оживленные сношения с итальянцами, испанцами, французами и юрцами. Тем временем разразилась война между Францией и Германией. Бакунин с глубоким волнением следил за всеми перипетиями войны, которая, по его мнению, могла повлечь за собою социальную революцию. «Ты только русский,—писал он Огареву 11 августа 1870 г.,—а я интернационал, вследствие чего происшествия возбудили во мне настоящую горячку. В продолжение трех дней я написал ровно 23 больших письма, это маленькое—двадцать четвертое. У меня выработался целый план; О(зер)ов передаст его тебе или, лучше, он прочтет тебе письмо, написанное мною к одному французу» [2]) Это и

[1]) С октября 1869 года.

[2]) „Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву". Женева 1895 г., стр. 300.

была первая часть знаменитых «Писем к французу» о современном кризисе, адресованных в мысли Бакунина Гаспару Блану. Здесь он старался доказать, говоря его словами, сказанными Огареву, что «если из этой войны не выйдет непосредственно социальная революция во Франции, социализм надолго погибнет в целой Европе» (31 августа). А 19 сентября 1870 года, приступив к практическому осуществлению своего плана, он писал Огареву уже из Лиона: «Я иду на пан или пропал. Надеюсь на близкое торжество» [1]).

Бакунин с ужасом взирал на победы немецкого оружия: по его мнению, разгром Франции военно-феодальною Германиею равносилен был торжеству контр-революции, которая должна была на десятилетия, если не на столетия, отсрочить торжество народного дела. Противодействовать такому печальному исходу можно было, только обратившись к французским народным массам и призвав их восстать не только против иностранных завоевателей, но и против внутренних тиранов. В письме к лионцу Альберу Ришару [2]) он заклинает своих французских товарищей безотлагательно поднять массы против внешних и внутренних врагов, не дожидаясь сигнала из Парижа, обманутого и парализованного угрожающею ему

---

[1]) Ib., 305.—„План", о котором пишет Огареву Бакунин, состоял, повидимому, в возбуждении одновременно революционного восстания во Франции, Испании, Италии и Швейцарии,—восстания, которое должно было носить социально-революционный (анархический) характер и во главе которого должны были стать члены бакунинского тайного „Альянса социальных революционеров". Из 23 писем, упоминаемых Бакуниным, известно только одно небольшое письмо к Альберту Ришару от 10 августа; здесь говорится о письмах, посланных Гаспару Блану (в Лион), Джемсу Гильому (швейцарская Юра), Гамбуцци (итальянский интернационалист и друг Бакунина, впоследствии женившийся на его вдове), Сентиньону (испанский альянсист). См. M. Nettlau—Bakunin und die Internationale in Spanien 1868—1873 в „Archiv für die Geschichte des Socialismus und der Arbeiterbewegung", Leipzig 1913, 2 Heft, стр. 274.

[2]) Этот А. Ришар был в то время видным французским представителем бакунинского Альянса. Впоследствии он, вместе с другим бывшим бакунистом Гаспаром Бланом (из Лиона, тем самым, которому

опасностью. «Если через 10 дней во Франции не будет народного восстания (писано 23 августа), Франция погибла. О! если бы я был молод, я не писал бы писем, а был бы среди вас».

Бакунин возмущался соображениями о том, будто французский пролетариат индифферентно относится к вторжению немцев. «О!—восклицал он,—если бы Франция подверглась нашествию пролетарской армии, состоящей из немцев, англичан, бельгийцев, испанцев, итальянцев, высоко поднявших знамя революционного социализма и возвестивших миру окончательное освобождение труда, то я первый готов был бы крикнуть французским рабочим: «Раскройте им свои об'ятия, это ваши братья, и об'единитесь с ними для того, чтобы смести с лица земли разлагающиеся останки буржуазного мира!» Но нашествие, позорящее ныне Францию, это нашествие аристократическое, монархическое и военное... Оставаясь пассивными перед лицом такого нашествия, французские рабочие предали бы не только свою собственную свободу, но и дело всемирного пролетариата, священное дело революционного социализма» [1]).

Общий смысл всех писем и посланий Бакунина к своим французским единомышленникам заключался в том, что спасти Францию можно только путем анархии. Он решительно отрицал, чтобы революционная агитация или внутренние потрясения могли парализовать способность нации к сопротивлению внешнему врагу. «История показывает нам, что никогда нации не оказывались столь могущественными во-вне, как тогда, когда они чувствовали себя глубоко взволнованными и потрясенными внутри, и что, напротив, никогда они не были так слабы, как тогда, когда бывали об'единены под какой-нибудь властью и в каком-нибудь порядке. И это са-

---

были адресованы „Письма к французу" о современном кризисе), сделался ренегатом, попытавшись после Коммуны начать среди французских рабочих черносотенную демагогию в бонапартистском духе. На старости лет вернулся к социализму и работал среди гедеманистов и жоресистов, но остался ярым противником марксизма и гэдистов.

[1]) „Oeuvres". II, стр. 257—258 („Lettre à un Français", в первоначальном виде).

вершенно естественно: борьба это жизнь, а жизнь это сила» [1]). Члены Конвента не боялись народной анархии и народных движений, а сами всемерно вызывали их, стараясь «революционно оргашизовать эту народную анархию» [2]). Среди внешних и внутренних смертельных опасностей, угрожающих Франции, спасти ее может только «стихийное, могучее, страстно-энергическое, анархическое, разрушительное и дикое восстание народных масс на всей территории Франции [3]). Если восстанет народ, победа несомненна. «Разнуздайте, как в деревнях, так и в городах, эту народную анархию, расширьте ее так, чтобы она катилась вперед подобно яростной лавине, пожирая и уничтожая все: врагов и пруссаков. Это средство героическое и варварское, я знаю. Но это последнее и теперь единственно возможное. Вне его нет спасения для Франции. Так как все регулярные силы ее разложились, ей остается только отчаянная и дикая энергия ее детей, которые должны выбирать между порабощением буржуазною цивилизацией или свободою путем пролетарского варварства» [4]).

Будучи человеком не только слова, но и дела, Бакунин пожелал принять непосредственное участие в попытках возбудить народное движение во Франции. 9 сентября 1870 г. он оставил Локарно и через Берн направился в Лион, куда и прибыл 15-го. Образован был «Центральный комитет спасения

---

[1]) Ib., 114—115, 247.—Аналогичную мысль высказывает и Прудон в следующих словах: „Государство проявляет во-вне лишь ту силу, которую оно извлекает извнутри: если внутренняя жизнь недостаточна, она напрасно будет стараться действовать во-вне" (Confessions, стр. 95).

[2]) Ib., 127.

[3]) Ib., 125.

[4]) Ib., 233—234, 242, 251.—Дикая энергия бакунинских писаний исчезла в той литературной обработке, которой его „Письма к французу" подверглись в руках европейца Гильома. Бакунин протестовал против прилизывания своих писаний и называл эту операцию „оскоплением", что очень задело Гильома. Последний в томе II „Oeuvres" перепечатал брошюру как в том виде, в каком она была опубликована в 1870 г., так и в том, в каком ее написал сам Бакунин. Нетрудно догадаться, что последние две цитаты взяты нами из оригинальной рукописи Бакунина.

Франции», в совещаниях которого Бакунин принял деятельное участие. Началась серия народных митингов, на которых постановлялись крайние решения. 26 сентября расклеенная на стенах Лиона красная афиша, подписанная делегатами Лиона, Сент-Этьена и Марселя, а также Бакуниным, который не поколебался присоединить свое имя к именам товарищей, возвестила программу подготовлявшегося народного движения. Вот текст этого замечательного документа:

«Французская республика».

«Революционная федерация коммун».

«Плачевное положение, в котором находится страна; бессилие официальных властей и индифферентизм привилегированных классов привели французскую нацию на край гибели.

«Если революционно-организованный народ не поспешит действовать, то его будущее погибло, революция погибла, все погибло. Взвесив размеры опасности и принимая во внимание, что нельзя ни на минуту откладывать отчаянного выступления народа, делегаты федерированных комитетов Спасения Франции совместно с Центральным комитетом предлагают немедленно принять следующее решение:

«Статья 1.—Административная и правительственная государственная машина, ставшая бессильной, отменяется.

«Французский народ возвращает себе полноту прав.

«Ст. 2.—Все уголовные и гражданские суды закрываются и заменяются народным правосудием.

«Ст. 3.—Уплата налогов и ипотек прекращаются. Налоги заменяются взносами федерированных коммун, взимаемыми с богатых классов соразмерно потребностям Спасения Франции.

«Ст. 4.—Распавшееся государство не может впредь вмешиваться в платеж частных налогов.

«Ст. 5.—Все существующие муниципальные организации распускаются и заменяются во всех федерированных коммунах комитетами Спасения Франции, которые будут осуществлять все виды власти под непосредственным контролем народа.

«Ст. 6.—Каждый комитет губернского города пошлет двух делегатов, которые все вместе составят революционный Конвент Спасения Франции.

«Ст. 7.—Этот Конвент немедленно соберется в Ратуше Лиона, как второго города Франции и более всех других способного энергически озаботиться защитою страны.

«Этот конвент, опираясь на весь народ, спасет Францию.

«К оружию!!!»

28 сентября вспыхнуло в Лионе народное движение, отдавшее в руки революционеров городскую Ратушу. Но измена генерала Клюзере и трусливое поведение некоторых участников движения, особенно бакуниста Альбера Ришара, дало возможность буржуазной национальной гвардии одержать легкую победу.

Тщетно Бакунин и некоторые его друзья советовали принять решительные меры, арестовать представителей власти и т. д.; революционный комитет принужден был покинуть Ратушу, а сам Бакунин был захвачен национальными гвардейцами, и только Озеров, подоспевший на помощь с отрядом вольных стрелков, успел освободить старого революционера. Бакунин провел ночь у друзей, а на следующий день, узнав, что прокурор республики, Андрие [1]), выпустил приказ об его аресте, уехал в Марсель. Уезжая из Лиона, Бакунин обратился со следующим письмом к Паликсу, у которого жил там на квартире:

«Мой дорогой Паликс! Я не хочу уехать из Лиона, не сказав тебе последнего прости. Осторожность мешает мне притти к тебе, чтобы пожать тебе руку в последний раз. Мне здесь больше нечего делать. Я приехал в Лион, чтобы сражаться или умереть вместе с вами. Я приехал, потому что глубоко убежден, что судьба Франции в этот великий час, когда дело идет о ее бытии или небытии, снова стала делом всего человече-

[1]) Это тот самый Андрие, который во время Второй Империи разыгрывал роль революционера и даже интернационалиста, а затем, в начале 80-х годов, сделался префектом полиции в Париже, где завел самую гнусную провокацию, издавая через своего агента анархическую газету, устраивая динамитные взрывы и пр.

ства, и что окончательное поражение Франции, ее падение, ее порабощение прусскими штыками составляют величайшее несчастье, которое, с точки зрения свободы, может постигнуть всю Европу. Я принял участие во вчерашнем движении и подписал свое имя под резолюциями Комитета Спасения Франции, так как для меня очевидно, что после фактического разрушения всей административной и правительственной машины только непосредственное революционное действие народа может спасти Францию. Все эти обломки старой администрации страны, эти муниципалитеты, состоящие большей частью из буржуа или рабочих, предавшихся буржуазии, люди заскорузлой рутины, лишенные ума, энергии и добросовестности; все эти прокуроры республики, а особенно эти префекты, чрезвычайные комиссары, облеченные неограниченною военною и гражданскою властью, т.-е. полною диктатурой, врученной им баснословной и роковой властью того обломка временного правительства, которое заседает в Туре,—все это способно лишь парализовать последние усилия Франции и выдать ее головой пруссакам. Вчерашнее движение, если бы оно сумело удержать свою победу,—а оно удержало бы ее, если бы генерал Клюзере не предал дело народа,—это движение, заменив наполовину реакционный, а наполовину неспособный лионский муниципалитет революционным комитетом, непосредственно вышедшим из народной воли, могло бы спасти Лион, а вместе с Лионом и Францию. Может быть, время для этого еще не ушло. Я не сомневаюсь, что если бы лионский народ этого действительно захотел, он мог бы навязать свою волю всем этим импровизированным властям, которые выдвинулись на несчастье Франции, но я боюсь, что лионский народ сообразит это лишь тогда, когда уже слишком поздно будет спасать Лион, и когда Лион очутится во власти пруссаков, а это будет неминуемо, если положение вещей не изменится в течение 24 часов: тогда Франция погибнет. Останется ожидать спасения, не говоря уже, ее существования как великой, свободной и независимой нации, но спасения ее достоинства и чести, лишь от демократического города Средиземного Моря—Марселя. Марсель, я уверен, не попадет во власть пруссаков, но он не сможет спа-

сти Францию. Дорогой друг, я покидаю Лион с глубокой грустью и с мрачными предчувствиями. Я начинаю думать теперь, что Франция погибла. Она сделается вассальным княжеством Германии, и ее голос, некогда столь мощный, голос, возвещавший свободу всему миру, не будет пользоваться никаким влиянием в советах Европы. Место ее живого и реального социализма займет доктринерский социализм немцев, которые будут говорить только то, что позволят им сказать прусские штыки, вернувшиеся домой после победы. Бюрократический и военный разум Пруссии в союзе с кнутом петербургского (правительства) водворят спокойствие и общественный порядок на всем континенте Европы, по крайней мере, на 50 лет. Прощай свобода, прощай социализм, справедливость для народа и торжество человечности! Все это могло бы выйти из современного разгрома Франции, и все это вышло бы из него, если бы французский народ, если бы лионский народ этого захотел. Но не будем больше говорить об этом. Совесть моя подсказывает мне, что я исполнил свой долг до конца. Мои лионские друзья также знают это, а до остального мне дела нет» [1]).

Неудача лионского движения нанесла первый серьезный удар революционному оптимизму Баку-

---

[1]) Дальше идет личная просьба к Паллику раздобыть записную книжку и кошелек Бакунина, отобранные у него при его аресте национальными гвардейцами. Кончается письмо словами: „Мне остается лишь обнять тебя и вместе с тобою пожелать всего хорошего этой бедной Франции, оставленной ее собственным народом". Письмо по ошибке помечено 28 сентября, но ясно, что оно написано 29-го, так как о движении 28 сентября Бакунин говорит как о „вчерашнем".

Этот замечательный документ был давно известен всем, занимавшимся историей Интернационала, но в неправильной редакции. Он был написан на шести листках; первые четыре листка были впервые опубликованы Оскаром Тестю в его книге „L'Internationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe", т. II, стр. 280, со многими грубыми ошибками; Макс Неттлау перепечатал его целиком, тоже с несколькими ошибками, в своей биографии Бакунина. В „Кнуто-Германской Империи" („Oeuvres", т. II, стр. 271, а также в русском переводе этой брошюры), равно как в статье Ралли („Мин. Годы", 1908 г. № 10, стр. 166—167) оно

нина. Восстание Коммуны возбудило в нем новые, хотя и весьма слабые надежды, но разгром Парижа окончательно убедил его в том, что на непосредственную социальную революцию (а на меньшем он не хотел помириться) надежд нет. С этого момента и начинается, собственно говоря, душевный кризис Бакунина.

Реакционная французская печать осыпала клеветами Бакунина за то, что этот чужеземец поспешил на помощь французскому народу (впрочем, та же участь постигла и Гарибальди, предложившего свою славную шпагу Франции). К сожалению, и в социал-демократической печати послышались насмешки, которых его попытка, по правде сказать, не заслуживала [1]). Конечно, люди, не разделяющие анархических воззрений Бакунина и его единомышленников, могут и должны критически отнестись к его неосновательным надеждам и к провозглашению «отмены государства» на бумаге. Но независимо от этих недостатков, его тогдашнее выступление было мужественной попыткой поднять уснувшую энергию французского пролетариата и направить ее, одновременно с отражением чужеземного нашествия, на борьбу против капиталистического строя. Приблизительно то же через полгода попыталась сделать Коммуна, которую, как известно, Маркс горячо приветствовал. Для нас важно лишь подчеркнуть, что

также напечатано неверно и с пропусками. И только в четвертом томе сочинений Бакунина, вышедшем под редакцией Гильома в 1910 году („Oeuvres", т. IV, стр. 76—80), оно впервые появилось полностью и в правильном виде, перепечатанное с черновика, который был найден в бумагах Бакунина. Мы и приводим его оттуда.

[1]) Напр., в Volkstaat'e от 12 окт. 1870 г., в известной брошюре, вышедшей в 1873 г. „L'Alliance de la democratie socialiste", стр. 21, говорится: „Наступил критический момент, которого ждали столько лет, когда Бакунин получил наконец возможность совершить самый революционный акт, какого не видывал мир: он декретировал отмену государства. Но государство в виде двух рот буржуазных национальных гвардейцев вошло в дверь, оставленную без охраны, очистило зал (Ратуши) и заставило Бакунина быстро возвратиться в Женеву". Здесь кстати несколько фактических ошибок. Ср. Гильом, „L'Internationale", т. II, 101 и сл.

Бакунин, как истинный гражданин вселенной, спешил со своей помощью туда, куда, как ему казалось, призывают его интересы всемирной революции. Так он действовал в 1848—49 г.г. в Германии, так он пытался действовать во Франции [1]).

Из Лиона Бакунин отправился в Марсель, где скрывался некоторое время в окрестностях. Он рассчитывал на народное движение в Марселе и, видимо, не окончательно потерял еще надежду на возможность новой вспышки в Лионе. Здесь он написал письмо к Эскиросу, старому республиканцу, занявшему пост главного администратора Усть-Ронского департамента. В этом письме он, между прочим, писал: «Если победит Пруссия, то с европейским человечеством будет покончено, по крайней мере, на 50 лет, а нам, старикам, останется только умереть. Увы! я должен буду признать, что мой покойный друг Ал. Герцен был прав после плачевных июньских дней 1848 года, дней, в которые буржуазия Парижа и Франции воздвигла трон Луи-Бонапарта на обломках надежд и всех законных стремлений пролетариата,—когда он провозгласил, что Западная Европа отныне умерла, и что для возрождения, для продолжения истории остается только два источника: с одной стороны—Америка, а с другой—восточное варварство». Тогда Бакунин спорил с Герценом: «Я допускал его правоту по отношению к вашей буржуазной цивилизации, но возражал ему, что в Западной Европе под буржуазией имеется варварский мир sui generis: городской пролетариат и крестьянство». Герцен был убит своим скептицизмом, подорвавшим его душевные силы [2]). «Я же, напротив, был полон веры; я был социалистом-революционером не только в теории, но и на практике. Я верил в осуществление социалистической теории, и именно благодаря этому я его пережил. Я был и

---

[1]) Впоследствии, 13 августа 1871 года, Бакунин был заочно приговорен военным судом за участие в лионском восстании к ссылке с содержанием в крепости.

[2]) Ср. письмо Бакунина к Огареву от 22 февраля 1870 г., где он пишет: „Для них (для семьи покойного Герцена) скептицизм – мудрость. В этой мудрости умер наш друг Герцен“ („Письма“, 264).

остаюсь социалистом не только потому, что социализм это действительная свобода, действительное равенство, действительное братство, человеческая и всемирная правда, но и по соображениям социальной физиологии. Я социалист потому, что я пришел к тому убеждению, что все классы, бывшие до сих пор, если так можно выразиться, главными живыми и действующими лицами исторической трагедии, умерли... Что же остается? Крестьянство и городской пролетариат. Только они могут спасти Европу от прусского милитаризма и бюрократизма, этих двух союзников и двоюродных братьев всероссийского кнута». На первый взгляд и крестьянство, и пролетариат мертвы. Но нет! Бакунин с этим не соглашается. В Лионе и Марселе «я видел, я чувствовал, что народ не умер... Ему недостает лишь организации и надлежащего руководства... той организации, того руководства, которые развиваются снизу и служат прямым выражением народной жизни и действия» [1]).

Но Марсель и Лион не шевелились, а посланный Бакуниным в Лион товарищ его, поляк В. Ланкевич, был арестован, при чем у него найден был словарь, содержащий имена всех лионских друзей (вечное несчастье Бакунина). Последовали многочисленные аресты, и Бакунин потерял последнюю надежду на возможность в скором времени нового движения: 23 октября, накануне отъезда из Марселя, он написал испанскому альянсисту, Сентиньону, прибывшему из Испании для принятия участия во французской революции, письмо, которое показывало, что его революционному оптимизму нанесен последний удар: «Я должен покинуть это место, потому что мне здесь решительно нечего делать, и я сомневаюсь, чтобы ты нашел что-нибудь хорошее в Лионе. Друг мой, я окончательно потерял веру в революцию во Франции. Эта страна совершенно перестала быть революционной.

---

[1]) „Lettre à Esquiros“ (20 окт. 1870 г.). „Oeuvres“ т. IV, стр. 233 и сл. Ср. т. V, стр. 251—2, где Бакунин говорит, что если бы не пролетариат, то в судьбах Европы можно было б отчаяться. Он подаст сигнал России; но если он будет медлить, то начнет русское крестьянство.

Сам народ сделался здесь доктринером, резонером, буржуа на манер буржуазии. Социальная революция могла бы ее спасти, и она одна была бы способна ее спасти. Но так как она неспособна совершить эту революцию, она сильно рискует быть окончательно завоеванной пруссаками. Каково же может быть наше положение и наша деятельность между буржуа, которые по глупости или злостно считают нас пруссаками и преследуют нас как таковых, и наступающими пруссаками, которые, отличаясь большею проницательностью, чем французские буржуа, преследуют нас как социалистов-революционеров? Это положение невозможное, и я заявляю тебе, что с меня довольно... Я покидаю эту страну с чувством глубокой безнадежности в сердце. Как бы я ни старался убедить себя в противном, но я твердо уверен, что Франция погибла, преданная пруссакам бездарностью, низостью и жадностью буржуа. Милитаризм и бюрократизм, юнкерская наглость и протестантский иезуитизм пруссаков в трогательном союзе с всероссийским кнутом станут господствовать на европейском континенте, бог знает, в продолжение скольких десятилетий. Прощай, все наши мечты о близком освобождении! Теперь начнется убийственная и страшная реакция» [1]).

На следующий день, 24 октября, Бакунин на пароходе уехал в Геную, перед чем остриг свои длинные волосы, сбрил бороду и прикрыл глаза синими очками. Поглядев на себя в зеркало, он с неудовольствием заметил: «Эти иезуиты заставляют меня перенять их тип!». 27 октября он прибыл в Локарно и засел за новую работу. Это и должна была быть «Социальная революция или военная диктатура», задуманная как продолжение «Писем к французу». Это произведение, которое

[1]) Это письмо, найденное впоследствии среди бумаг Н. Жуковского, напечатано у Гитьома (op. cit., II, 112). Из него между прочим явствует, что Бакунин собирался направиться в Барселону, где в то время начал широко развиваться его Альянс (начало которому было положено его другом, итальянским депутатом Фанелли, совершившим туда по поручению Бакунина поездку в начале 1869 года). Но в Испанию Бакунин так и не поехал (см. цитированную статью Неттлау об Испании, стр. 271).

Бакунин считал своим «завещанием», писалось урывками и так и осталось незаконченным: в 1871 году был напечатан первый его выпуск под названием «Кнуто-германская империя и социальная революция» [1]), а различные составные части его впоследствии заняли большую часть II, III и IV томов в собрании его сочинений. В этом произведении полнее и систематичнее, чем в других местах,—если можно говорить о систематичности по отношению к писаниям Бакунина, каждый раз прерываемым для нужд практической агитации,—изложены его взгляды на эволюцию человечества, на философию, религию, государство и анархию. Грустно подумать, что опубликование и обработка этой работы, которую Бакунин предпринял почти накануне своей смерти и в которой хотел изложить результаты своих размышлений и долголетнего опыта, должны были приостановиться из-за невозможности найти средства для издания второго выпуска.

Относящийся к этому времени (к первой трети 1871 года) дневник Бакунина полон указаний на крайне бедственное материальное положение. Братья упорно не помогали ему, и бывали дни, когда в кошельке его было не больше 5 сантимов, и когда больной старик сидел без чая. Около этого времени жена его писала одному знакомому: «М. Б. находится в крайне подавленном состоянии; он говорит: «Что делать? Я слишком стар, чтобы начать зарабатывать свой хлеб, и мне недолго уже осталось жить». Материальный вопрос настолько его подавляет, что он теряет всю энергию и убивает себя морально; и все это после того, как он отдал всю свою жизнь делу свободы и человечества, забывая о самом себе! Братья его все время оставались безучастными и бездеятельными—до преступления; М. Б. думает заставить своих братьев выделить ему его часть наследства» [2]). Таковы были 25.000 франков, ежегодно получаемых Бакуниным от «панславистической партии», как думал Маркс!

---

[1]) Есть русский перевод (кстати, крайне плохой).

[2]) Это письмо приводится Гильомом (II, 132) из неизданной рукописи Неттлау. Мы перевели его с французского; не знаем, на каком языке оно было написано.

Провозглашение Коммуны в Париже как бы противоречило пессимистическим пророчествам Бакунина (инсуррекционное движение в Марселе, вспыхнувшее 31 октября 1870 года, через неделю после от'езда Бакунина, и быстро подавленное, равно как новая неудачная попытка в Лионе 4 ноября, могла только укрепить его пессимизм). Замечательно, что Бакунин уже не верил в победу Коммуны,—настолько события последнего года повлияли на его настроение. В письме к Озерову от 5 апреля 1871 года он говорил: «По всем вероятностям, парижане погибнут, но погибнут не даром, сделав дело; пусть положат с собой, по крайней мере, пол-Парижа. Провинциальные города: Лион, Марсель и другие, к несчастью, попрежнему плохи, судя, по крайней мере, по всем известиям, до меня дошедшим. Очень беспокоят меня также старые якобинцы: Делеклюзы, Флурансы, Пиаты (т.-е. Пиа) и даже Бланки, сделавшиеся членами Коммуны. Боюсь, что они потянут и перетянут ее на старую головорезную и карманощадительную колею. Тогда все пропало. Une et indivisible все погубит и прежде всего погубит себя. Все достоинство этой революции состоит именно в том, что она революция рабочих. Вот что делает организация [1]). Наши друзья во время осады успели и умели организоваться и таким образом создали громадную силу, а наши лионские и марсельские остались не при чем. В Париже сосредоточилось слишком много способных и энергичных людей, так много, что боюсь, чтобы они не стали мешать друг другу. Зато в провинции нет никого. Если еще будет время, надо будет напирать, чтобы из Парижа попало как можно более истинно революционных делегатов в провинцию. Как это Cluseret попал в комитет? Неужели это правда? Да ведь это просто насилие, если только правда. Что за дьявольски трудное положение! С одной стороны, стачка, полицей-

[1]) Курсив мой. Несмотря на всю свою склонность к вспышкоускательству, Бакунин придавал решающее значение организации (но в данной статье не место останавливаться на этом вопросе).

ская, пруссаков с фр. реакцией, с другой—глупость провинции. Только самые отчаянные меры и готовность все рушить с собою может спасти дело»[1]).

Тогда же он писал Огареву: «Чем бы ни кончилось, а надо сказать, что молодцы. В Париже нашлось именно то, чего мы тщетно искали в Лионе и Марселе: организация и люди, решившиеся итти до конца. Вероятно, они будут побеждены [2]). Но, вероятно, то, что для Франции отныне не будет другого существования, кроме социальной революции. L'Etat français погибло навеки» [3]). 9 апреля 1871 года он пишет ему же: «Я сам было запорол горячку, но перестал. Вижу слишком ясно, что дело проиграно. Французы, даже работники, не проняты еще достаточно, а кажется, урок был ужасный. Но как было его мало! Надо более бед, сильнейших потрясений. Обстоятельства сложились так, что в них недостатка не будет, и тогда, может быть, дьявол проснется. Но пока он действительно не проснулся, нам там делать нечего. В чужом пиру похмелье было бы плохое, чрезвычайно неприятное, тем более, что совершенно бесполезное. Наше дело готовиться, организоваться, распространяться, чтобы быть готовыми ко дню пробуждения дьявола. А до тех пор тратить свои бедные средства и своих немногих людей, наше единственное сокровище,—было бы преступно и глупо. Таково мое окончательное мнение. Я стараюсь и ты старайся всеми силами удержать нашего друга, наших друзей (Озерова и Росса, а также наших горных друзей» [4]).

Но несмотря на овладевшее им и до тех пор несвойственное ему чувство пессимизма, были, повидимому, моменты, когда Бакунин начал снова колебаться. 25 апреля он выехал из Локарно и приехал в Юру, чтобы быть поближе к французской границе. Здесь он и его друзья придумывали разные пла-

---

[1]) „Письма", 316.
[2]) Курсив мой.
[3]) „Письма", 317—318.
[4]) Т.-е. юрцев. „Письма", стр. 318—319.

ны помощи французским инсургентам [1]); ожидали новых вспышек революционного движения в провинции, и в частности в Лионе, где 30 апреля действительно была сделана слабая попытка. Но провинция оставалась безгласна, и Бакунин должен был 1 июня уехать обратно в Локарно, не приняв непосредственного участия в событиях. Но, несмотря на понесенное ею поражение, Коммуна доставила глубокое удовлетворение Бакунину, который увидел в ней первую попытку практического применения его анархических идей. «Революционный социализм,—писал он,—воспринятый латинскими народами в Европе [2]), проявил себя впервые в блестящей и практической попытке, которая носит великое имя Парижской Коммуны. Все величие этого исторического факта заключается именно в том, что отрицание г о с у д а р с т в а впервые фактически проявилось в той самой Франции, которая до сих пор была страной исключительно политической централизации, именно в этом самом Париже, который в истории сыграл роль создателя великого единства всей Франции и который теперь принял на себя же инициативу диаметрально противоположной работы... Он провозглашает начало новой эры, эры окончательного и полного освобождения рабочих масс, эры реальной солидарности рабочих всего мира вне всяких границ государств; он окончательно порывает с патриотизмом, и основывает на своих развалинах религию человечества; Париж провозглашает гуманность и противопоставляет религиозным фикциям великую действительность социальной жизни; он замещает веру наукой, ложь и нелепости религиозной,

[1]) Между прочим, по мысли некоторых французских эмигрантов, бежавших после беспорядков в Лионе и других городах, задумано было сформировать в Женеве или в ее окрестностях легион из нескольких сот волонтеров разных наций; на это нужны были деньги, но парижская Коммуна отказалась их дать под тем предлогом, что она обязана отчетностью по всем произведенным ею расходам, а потому тайных выдач не может производить. Так, по крайней мере, сообщает Гильом (op. cit., II, 152).

[2]) Прим. Бакунина: „Он признан и навсегда остается анти-политическим инстинктом славянских народов".

политической и юридической нравственности принципами свободы, справедливости, равенства и братства, этих вечных основ человеческой нравственности». И Бакунин предсказывает: «Настанет день будущей международной революции; в этот день воскреснет великий Париж» [1]).

К общему хору клеветников на Интернационал и Коммуну счел нужным присоединить свой голос и ветеран итальянского патриотического движения Маццини, чувствовавший, что работа социалистов угрожает подкопать самые основы его буржуазно-республиканского миросозерцания и его влияние на итальянских рабочих. Тогда Бакунин написал свой известный «Ответ интернационалиста Маццини», появившийся в августе 1871 года на итальянском и французском языках. За этим последовала брошюра «Политическая теология Маццини и Интернационал», первый выпуск которой напечатан был в том же 1871 году [2]). Эти произведения усилили влияние Бакунина на итальянских революционеров и дали сильный толчок образованию многочисленных интернационалистических секций, окрашенных, впрочем, духом бакунинского анархизма и бунтарства.

Тем временем внутренняя борьба в Интернационале между марксистами и бакунистами не прекращалась и принимала все более острый характер. В августе 1870 года Бакунин был исключен вместе с тремя единомышленниками [3]) из женевской секции. Старая женевская секция Альянса об'явила себя распущенной и вместе с несколькими эмигрантами-коммунарами основала новую секцию «социально-революционной пропаганды и действия», но Генеральный Совет не допустил ее в ряды Интернационала. Враждебные Генеральному Совету романские секции об'единились 12 ноября 1871 года

---

[1]) Бакунин. „Парижская Коммуна и понятие о государственности", Женева 1892, стр 5—7.

[2]) „La théologie politique de Mazzini et l'Internationale". Première partie. Neuchâtel, 1871. Перепечатана будет в седьмом томе сочинений Бакунина.

[3]) Перроном (женевец), Н. Жуковским и Сутерландом (сын второй жены Огарева, англичанки).

на с'езде в Сонвилье в Юрскую федерацию, сделавшуюся центром бакунистской агитации против Генерального Совета, и выпустили циркуляр к секциям Интернационала, призывавший их к борьбе с «авторитарными замашками» Генерального Совета и к отстаиванию своей неограниченной автономии. Бакунин с восторгом встретил сонвильерский циркуляр и старался всячески распространять его среди итальянских интернационалистов. Считая Бакунина главным виновником всех раздоров и, очевидно, полагая, что без вмешательства его крупной индивидуальности разрозненные секции бунтарского направления никогда не могли бы сплотиться в об'единенную силу [1]), Генеральный Совет выпустил в 1872 году направленную против Бакунина брошюру «Мнимый раскол в Интернационале». Бакунин, возмущенный нападками на свою личность, писал по поводу этой брошюры своим друзьям: «Дамоклов меч, которым нам так долго грозили, опустился, наконец, на наши головы. Но, по правде сказать, это не меч, а обычное оружие г. Маркса—ушат помоев».

Весною 1872 года жена Бакунина с детьми уехала в Россию, а сам он перебрался в Цюрих, где и провел лето и осень.

---

[1]) Эта же мысль выражена в следующих словах у Иекка („Интернационал", 1906, изд. „Знания", стр. 161): „Конечно, сами по себе эти отдаленные, затерявшиеся в горах, швейцарские городки никогда не додумались бы до таких честолюбивых планов; будь они предоставлены самим себе, они бы ссорились между собою, как и это было в других секциях, но они никогда не могли бы разрушить организацию Интернационала, да и желания такого у них не являлось бы. Если же они задались подобной геростратовской целью и преследовали ее с упорством и ожесточением, так это было делом могучей воли, которая, точно тайная сила, околдовывала и наэлектризовывала их, делом чудовищного гения разрушения,—это было делом Бакунина".

Почему отдельной личности оказалось под силу разрушение организации Интернационала, на какое неспособны были швейцарские секции, это составляет секрет Иекка. Странная философия истории для марксиста! Подобно тому, как анархисты приписывают все злоключения Интернационала „интригам" Маркса, Иекк готов взвалить всю ответственность на злую волю Бакунина. Это упрощенное отношение к вопросу избавляет тех и других от серьезного историко-социального анализа.

Находясь ближе к Юре, он мог теперь принять более деятельное участие в делах Юрской федерации, от которых в предшествующее время был несколько далек. Но, главным образом, он занялся в Цюрихе организацией славянской секции Интернационала, принявшей анархическую программу и примкнувшей к Юрской федерации. Здесь участвовали, главным образом, русские, как Эльсниц, Владимир Гольштейн, З. Ралли, Росс, Лермонтов [1]) и несколько сербов; был также один чех и один кроат. Организуя «Славянский Завес», Бакунин ставил себе целью привлечь славянских рабочих в ряды Интернационала. Практических последствий эта затея не имела, и через год славянская секция распалась вследствие внутренних дрязг между русскими сторонниками Бакунина.

В Цюрихе в рассматриваемое время сосредоточилось несколько сот русской молодежи, преимущественно студентов и студенток. Громадное большинство этой молодежи высказалось за анархические теории и примкнуло к Бакунину. Начались ожесточенные распри между бакунистами и лавристами, последователями эмигранта Лаврова, который выдвигал на первый план пропаганду социалистических идей в народе и постепенную подготовку трудящихся масс к социальной революции. Бакунисты же отстаивали боевые и бунтовские методы революционной деятельности. Из среды этой молодежи вышло впоследствии много энергичных деятелей русского революционного движения, и в значительной мере через их посредство идеи Бакунина получили широкое распространение в России, где долгое время пользовались преобладающим влиянием. Цюрихские бакунисты основали там русскую типографию, которая напечатала несколько анархических книг и брошюр, в том числе «Историческое развитие Интернационала» (сборник статей из бельгийских и швейцарских газет, с приложением главы об

[1]) Впоследствии Росс и Лермонтов были арестованы в России. Лермонтов умер в тюрьме, а Сажин (Росс) был приговорен по „Большому Процессу“ (1877—1878) к каторжным работам.

Альянсе, написанной Бакуниным, его речей на Бернском конгрессе «Лиги Мира и Свободы» в 1868 году, и пр.), «Государственность и анархия» Бакунина, «Анархия по Прудону», написанная Гильомом и напечатанная в Лондоне, куда типография была перенесена в 1874 году.

Тем временем состоялся Гаагский конгресс, на котором Бакунин был исключен. Тогда русские эмигранты, сторонники Бакунина, опубликовали 4 октября 1872 года протест против этого исключения и особенно против его мотивов:

«С негодованием прочли мы в № 37 вашей газеты (брюссельской Liberté) текст невероятного доклада, представленного Гаагскому Конгрессу следственной комиссией об Альянсе.

«В этом докладе, внушенном, очевидно, ненавистью и желанием отделаться во что бы то ни стало от неудобного противника, решились бросить нашему соотечественнику и другу Михаилу Бакунину обвинение в мошенничестве и шантаже [1]). Большинство этого конгресса сделалось соучастником

---

[1]) Как известно, Гаагский конгресс назначил следственную комиссию по делам Альянса. Последняя признала, что Бакунин стремился основать и, вероятно, основал тайное общество под названием Альянса, устав которого противоречил статутам Интернационала с точки зрения социальной и политической, и что он употребил нечестные приемы (manoeuvres frauduleuses), направленные к „полному или частичному присвоению чужого имущества, что составляет мошенничество", а сверх того, с целью уклониться от исполнения принятых на себя обязательств, он или его агенты прибегли к угрозам. Здесь речь шла об известных инцидентах, связанных с переводом первого тома „Капитала". Любавин, тогда студент в Германии, а впоследствии профессор в России, устроил для Бакунина у издателя Полякова перевод упомянутой книги. Бакунин, получивши аванс в размере 300 руб. (из общей суммы выговоренного гонорара в 1.200 руб.), успел перевести лишь начало первой главы, когда явился Нечаев, убедивший его оставить эту работу, чтобы посвятить все свои силы исключительно „русскому делу", и обещавший уладить вопрос об авансе. Без ведома Бакунина Нечаев послал Любавину на бланке революционного комитета письмо с требованием не добиваться от Бакунина возврата аванса под угрозой смерти. Этот-то документ, доставленный Марксу Любавиным через Николая —она, и послужил основанием для пред'явления Бакунину вышеуказанного обвинения. Здесь не место входить в подробное рассмотрение во-

величайшей низости, постановив исключить человека, вся жизнь которого была посвящена на служение великому делу пролетариата, и который искупил это преступление восемью годами заключения в разных немецких и русских крепостях и четырехлетней ссылкой в Сибирь.

«После своего побега из Сибири в 1861 году он был встречен клеветою марксистов, которые с этого момента не переставали поносить его в немецких социал-демократических газетах. Вы, без сомнения, читали нелепые, смехотворные росказни, которые за последние три года распространяются против него в Volkstaat. А теперь незавидную честь послужить орудием низменной мести приберегли для международного конгресса рабочих, задолго подготовленного в этих целях самим г. Марксом.

«Мы не считаем ни нужным, ни удобным оспаривать здесь мнимые факты, на которых признано было возможным обосновать странное обвинение, выдвинутое против нашего соотечественника и друга. Эти факты прекрасно нам известны, известны в мельчайших деталях, и мы сочтем своим долгом восстановить их в истинном свете, как только мы получим возможность это сделать. В данный момент этого не допускает несчастное положение другого соотечественника, который не есть наш друг, но которого преследование русского правительства делает для нас священным (т.-е. Нечаева).

«Г. Маркс, ловкость которого мы, впрочем, не думаем оспаривать, в данном случае ошибся в расчете. Честные сердца во всех странах несомненно почувствуют только негодование и отвращение при виде такой грубой интриги и такого явного нарушения самых простых требований справедливости. Что

проса о том, насколько Бакунин был ответственен за дикий образ действий Нечаева. Для нас несомненно лишь одно, что, при всем легкомыслии Бакунина в денежных делах, он был слишком умен для того, чтобы прибегнуть к такого рода способу уплаты аванса. Нечаев и в этом случае сыграл со старым революционером скверную шутку.

За исключение Бакунина из Интернационала из 42 голосующих подано было 27 голосов, против—7, 8 воздержалось; за исключение Гильома (только за участие в Альянсе) 25—да, 9—нет, 9 воздержалось.

касается России, то можем уверить г. Маркса в том, что его старания будут там напрасны. Бакунин там слишком уважаем и известен, чтобы клевета могла достигнуть его. В лучшем случае она встретит благоприятный прием в полицейской печати или в рядах того пресловутого русского Интернационала (намек на секцию Утина), которым г. Маркс может хвастать, но который тем не менее совершенно неизвестен в нашей стране. Мы великодушно уступаем ему этот успех»...

Подписали: Николай Огарев.—Варфоломей Зайцев.—Владимир Озеров.—Арман Росс.—Владимир Гольштейн.—Замфир Ралли.—Александр Эльсниц.—Валерьян Смирнов.

Известно, что большинство национальных федераций не согласилось с постановлениями Гаагского конгресса и об'единилось в новый, анти-авторитарный Интернационал [1]). Предварительный с'езд нового Интернационала состоялся в Сент-Имье, сейчас же после Гаагского конгресса, а 1 сентября 1873 года в Женеве открылся с'езд бакунистов, на котором были представлены федерации бельгийская, голландская, английская, испанская, итальянская, французская и юрская, и который назвал себя шестым общим конгрессом Международной Ассоциации Рабочих. Этот с'езд принял резолюции в бакунинском духе и высказался за уничтожение Генерального Совета и за полную автономию секций.

Бакунин, который с октября 1872 года снова поселился в Локарно, в начале сентября приехал в Берн к своему другу, доктору Адольфу Фогту. Во время пребывания его в Берне у него произошел окончательный разрыв с группой русских анархистов, состоявшей из Гольштейна, Эльсница и Ралли. Последние основали свою типографию и выпустили в сентябре 1873 года брошюру: «К русским революционерам. Революционная коммуна русских анархистов», в которой была опубликована составленная Бакуниным программа тайного революционного русского братства, куда они сами прежде входили.

[1]) См. нашу статью „Интернационал после Гаагского конгресса" в „Голосе Минувшего" за 1913 г., №№ 11 и 12 (в расширенном виде вошла во 2-ую часть моей книги „Первый Интернационал", 3-е изд. Госиздат, 1923).

Опубликование этой программы Бакунин и Росс сочли настоящей изменой.

Все эти дрязги, сыпавшиеся на него обвинения, исключение из Интернационала (он делал вид, что игнорирует его, но в действительности оно не могло его больно не задеть), разочарование в близости революции, наконец, старость и болезненное состояние, дававшее себя чувствовать,—все это побудило Бакунина отказаться от общественной деятельности, для того, чтобы провести спокойно остаток своих дней в кругу семьи и близких друзей. Воспользовавшись появлением в Journal de Genève двух статей, упоминавших его имя, Бакунин обратился в эту газету с письмом, в котором извещал о своем решении уйти в частную жизнь. Вот это письмо, напечатанное в № женевской газеты от 25 сентября 1873 года:

«Не в моих привычках отвечать на газетные нападки и клеветы. Мне пришлось бы много возиться, если б я захотел оспаривать весь вздор, который, начиная особенно с 1869 года, распространяется на мой счет.

«Среди самых ярких моих клеветников, на-ряду с агентами русского правительства, я ставлю естественно г. Маркса, главу немецких коммунистов, который, без сомнения, по причине своего тройного характера—коммуниста, немца и еврея[1])—возненавидел меня, и который, хотя и заявляет, что столь же сильно ненавидит русское правительство, никогда не упускал случая, по крайней мере, по отношению ко мне, действовать в полной гармонии с ним. Чтобы очернить меня в глазах публики, г. Маркс не только прибегал к органам слишком угодливой прессы, но и пользовался интимной перепиской с комитетами, конференциями и даже конгрессами Интернационала, не поколебавшись обратить эту прекрасную и великую Ассоциацию, основанию которой он способствовал, в орудие своей личной мести.

[1]) Как известно, в полемике со своими противниками из марксистского лагеря Бакунин и некоторые его сподвижники, как, напр., Гильом, не удержались от антисемитических выходок, при чем увлекались в этом отношении до того, что и Вильгельма Либкнехта зачислили в евреи.

«Вот и сейчас мне сообщают о выходе брошюры под заглавием: «Интернационал и Альянс» [1]). Как говорят, это доклад следственной комиссии, назначенной Гаагским конгрессом.

«Кто не знает теперь, что этот конгресс был просто марксистской подделкой, и что эта комиссия, в которой заседали два шпиона (Дантрег [2]) и Ван Эддегем), приняла резолюции, мотивировать которые она сама признала себя неспособной, требуя от конгресса вотума доверия; единственный честный член комиссии решительно протестовал против этих одновременно возмутительных и смехотворных заключений в докладе меньшинства.

«Недовольный неумелостью своих агентов, г. Маркс взял на себя труд самому составить новый доклад, который он публикует теперь за своей подписью (?) и за подписью нескольких своих приближенных (?).

«Эта новая брошюра, как мне говорят, представляет форменный жандармский донос на общество, известное под названием Альянса. Увлеченный своей бешеной ненавистью, г. Маркс не побоялся заушить самого себя и выступить публично в роли полицейского доносчика и клеветника. Это его дело, и раз это ремесло ему нравится, пусть им занимается. И не для ответа ему я сделаю исключение из усвоенного мною правила молчания.

«Однако на этот раз я считаю нужным сделать это исключение для опровержения лжи или, говоря более парламентским языком, ошибок, вкравшихся в столбцы вашей газеты.

«В № Вашей газеты от 14 сентября, которого я не мог достать, вы, как мне сообщают, перепечатали корреспонденцию какого-то парижского листка, Liberté или Journal des Débats, в котором какой-то аноним развязно утверждает, что он слышал, как я признавал или даже хвастался тем, что был причиною всех революционных потрясений в Испании.

---

[1]) Речь идет о брошюре „Alliance de la démocratie socialiste".

[2]) Дантрег не был членом комиссии, но был членом Гаагского конгресса и... шпионом.

Это просто-на-просто глупо. С таким же основанием можно было бы сказать, что я вызвал все бури, которые в течение этого года опустошали океан и землю.

«Систематически клевеща на меня, эти господа в конце концов меня обожествят.

«Должен ли я уверять вас, что я никогда ничего подобного не говорил? Я даже уверен, что никогда не встречал этого господина, и приглашаю его назвать себя и указать день и место, где мы встречались.

«Но вы сами, господа, в № вашей газеты от 19-го приписываете мне произведения, к опубликованию которых я непричастен [1]). Поэтому я позволю себе обратиться к вам с просьбой, которую ваше чувство справедливости не позволит вам отклонить. В другой раз, когда вы вздумаете предоставить мне честь ваших нападок, обвиняйте меня только за те сочинения, которые подписаны моим именем.

«Сказать вам правду? Все это возбудило во мне глубокое отвращение к общественной деятельности. Она мне надоела, и, проведя всю свою жизнь в борьбе, я от нее устал. Мне уже перевалило за 60; и усилившаяся с возрастом болезнь сердца делает мое существование все более тяжелым. Пусть возьмутся за работу другие, более молодые; я же не чувствую в себе уже нужных сил, а, быть может, и нужной веры, чтобы продолжать катить Сизифов камень против повсюду торжествующей реакции.

«Поэтому я ухожу с арены и прошу у моих дорогих современников только одного—забвения.

«Отныне я не нарушу ничьего покоя; пусть же и меня оставят в покое.

«Был ли я слишком высокого мнения о вашей справедливости, господа, выражая надежду, что вы не откажетесь напечатать это письмо?».

Через несколько дней Бакунин обратился с прощальным письмом к своим швейцарским сотоварищам, в котором

[1]) Если речь действительно идет о „Постановке революционного вопроса", то ведь эта брошюра принадлежала именно Бакунину.

заявлял о выходе своем в отставку из состава Юрской федерации и из Интернационала и говорил:

«Не думайте, что на это я решился, главным образом, вследствие личных неприятностей, постигших меня за последние годы. Я не говорю, чтобы я был абсолютно к ним нечувствителен [1]); но я нашел бы в себе достаточно сил для противодействия им, если бы думал, что мое дальнейшее участие в вашей работе могло бы быть хоть сколько-нибудь полезно для торжества пролетарского дела. Но в том-то и дело, что я этого не думаю.

«По своему происхождению и личному положению, но, конечно, не по своим симпатиям и стремлениям, я никто иной, как буржуа, и, как таковой, я могу среди вас заниматься только пропагандой. Так вот, я убежден, что время длинных теоретических речей, печатных или устных, прошло. За последние 9 лет в недрах Интернационала было развито больше идей, чем их требовалось бы для спасения мира, если бы одни идеи могли его спасти, и пусть-ка кто-нибудь придумает еще какую-нибудь новую.

«Теперь настала пора не идей, а фактов и актов. В настоящее время прежде всего нужна организация сил пролетариата [2]). Но эта организация должна быть делом самого пролетариата. Если б я был молод, я бы вошел в рабочую среду и, разделяя трудовую жизнь моих собратий [3]), я вместе с ними принял бы также участие в великом труде этой необходимой организации. Но ни мой возраст, ни состояние моего здоровья не позволяют мне сделать это. Напротив, они диктуют мне уединение и покой. Каждое усилие, каждая лишняя поездка становится для меня очень серьезным делом. Морально я чувствую себя еще достаточно сильным, но физически я сейчас же устаю и не чувствую в себе

---

[1]) Курсив мой. Ясно, что аттаки марксистов больно его задевали, как мы выше и указывали.

[2]) Курсив мой.

[3]) Так и делали его последователи в России в эпоху „хождения в народ“.

уже нужных сил для борьбы. Поэтому в лагере пролетариата я буду уже не помощником, а помехой.

«Вы видите, дорогие товарищи, что все заставляет меня уйти в отставку. Живя далеко от вас и далеко от всего света, какую пользу смогу я принести Интернационалу вообще, Юрской федерации в частности? Ваша великая и прекрасная Ассоциация отныне всецело боевая и всецело практическая, не должна терпеть в своей среде ни синекур, ни почетных мест.

«Итак, дорогие товарищи, я ухожу с чувством глубокой признательности к вам и симпатии к вашему великому святому делу,—делу человечества. Я буду с братской тревогой следить за всеми вашими шагами и с наслаждением буду приветствовать всякий ваш новый успех.

«До смерти я буду ваш.

«Но на прощанье позвольте дать вам последний братский совет. Друзья мои, международная реакция, центр которой теперь находится не в бедной Франции, шутовски посвященной Святому Сердцу, но в Германии, в Берлине, и которая в такой же степени представляется социализмом г. Маркса, как и дипломатией г. Бисмарка; эта реакция, ставящая себе конечной целью пангерманизацию Европы, грозит теперь все поглотить и все извратить. Она об'явила беспощадную войну Интернационалу, ныне представленному исключительно автономными и свободными федерациями. Хотя вы входите в состав еще свободной Республики, но вы обязаны, подобно пролетариям всех других стран, бороться с ней, так как она становится между нами и вашей конечной целью, освобождением пролетариата всего мира.

«Борьба, которую вам придется выдержать, будет ужасна. Но не падайте духом и знайте, что, несмотря на колоссальную материальную силу ваших противников, конечное торжество обеспечено вам, если только вы станете строго соблюдать следующие два условия: 1) Держитесь твердо принципа великой и широкой народной свободы, без которой само равенство и сама солидарность были бы простым обманом; 2) Организуйте

все более международную практическую боевую солидарность рабочих всех ремесл и всех стран, и помните, что, будучи бесконечно слабыми, как отдельные лица, местности или страны, вы обретете в этом всемирном коллективе колоссальную, непреодолимую силу».

Когда появились эти письма Бакунина, ближайшие его друзья сочли их простой военной хитростью; они думали, что Бакунин, выдавая себя за уставшего революционера, жаждущего покоя, выполняет план, условленный между ним и Кафиеро [1]) для того, чтобы с большею безопасностью предаться итальянским революционным конспирациям. Но скоро оказалось, что Бакунин выразил свое искреннее настроение, и что он действительно собирался удалиться на покой.

II.

Жизнь в Локарно.—Инцидент с „Бароната“ и разрыв с молодыми последователями.—Удаление в Лугано.—Болезнь и смерть.

Интимные друзья Бакунина могли ошибиться относительно значения его писем по следующему поводу. Им известно было, что зимою 1872—1873 года между Кафиеро и Бакуниным условлено было приобрести на имя старого революционера поместье, которое служило бы притоном для итальянских революционеров. Средства на это предприятие взялся доставить Кафиеро, унаследовавший значительное состояние по смерти своего отца. С этой целью приобретена была на имя Бакунина усадьба (Бароната), расположенная у дороги из Локарно в Белинсону, на берегу озера Лаго-Маджоре. В этом доме предполагалось устроить тайную типографию и склад оружия ввиду подготовлявшихся итальянскими бакунистами революционных вспышек.

[1]) Карло Кафиеро происходил из богатой аристократической семьи; в молодости увлекся социальными идеями; сначала был близок с Энгельсом, но затем перешел на сторону Бакунина. Под конец своей жизни снова вернулся к марксистским идеям. В начале 80-х годов сошел с ума и умер. Он был женат на русской, Олимпиаде Кутузовой.

Вся эта затея кончилась для Бакунина весьма трагично. Дело в том, что старый революционер, одолеваемый физическими немощами и подавленный неудачей своих революционных предприятий, действительно устал и думал воспользоваться предложением своего горячего последователя и друга для того, чтобы устроить спокойный угол для себя и для своей семьи, не переставая при этом по мере последних своих сил служить революции. Хотя яд скептицизма уже проник в его сердце, и теперь он уже не питал прежних надежд на близкий взрыв социальной революции, тем не менее он не отказывался принять участие в новых революционных выступлениях, мечтая закончить свою долгую революционную карьеру смертью на баррикаде. Умереть, как Самсон [1],—такова была его последняя мечта, человека, который не чувствовал в себе уже сил для того, чтобы продолжать жить и бороться, как библейский герой. Летом 1873 года, когда испанская революция, как казалось, торжествовала победу, Бакунин решил лично отправиться в Испанию, чтобы там с оружием в руках сражаться рука-об-руку со своими учениками. Рассчитывая сложить в Испании свою буйную голову, он взял с Кафиеро обещание позаботиться об его жене и детях в случае его смерти. Но денег на поездку Кафиеро Бакунину не дал, так как, по его мнению, присутствие старого бойца было нужно здесь на месте для итальянских дел. Тогда юрские друзья собрали для Бакунина 1.500 франков, но последний нашел, что этих денег недостаточно. И юрцы [2]) поняли его отказ так, что Бакунин постарел, и что у него уже не хватает

---

[1]) Его собственное выражение в переписке с Огаревым.

[2]) Личное сообщение Гильома автору этих строк.—А между тем Бакунин имел основание опасаться поездки в Испанию с недостаточными средствами, так как он прекрасно помнил, какие неприятные осложнения возникли на этой почве между ним и Фанелли в 1869 г.; у последнего во время его агитационной поездки по Испании (см. выше) не хватило денег, достать на месте он их не мог,—и в результате наступило временное охлаждение между ним и Бакуниным. А в 1873 г., когда Испания была взбудоражена революцией, рассчитывать на местные средства было бы еще более рискованно.

духу для непосредственного участия в таких боевых выступлениях. При этом следует заметить, что ни один из них, хотя они были гораздо моложе Бакунина, в Испанию не поехал; от измученного же, разбитого и больного старика они почему-то требовали чудес [1]).

Рассказывая впоследствии об этом периоде своей жизни, Бакунин передает свой разговор с Кафиеро: «Он говорил, что отныне я должен воздерживаться от всяких революционных выступлений и предоставить это дело молодежи... Я соглашался с Кафиеро в том, что состояние моего здоровья, моя отяжелелость, болезнь сердца и обусловленная ею окоченелость моих членов и движений делали меня теперь мало способным к рискованным экспедициям... Но я всегда отстаивал свой долг и свое право ринуться во всякое рискованное предприятие, принимающее более или менее общий, прочный и серьезный характер, и я всегда чувствовал и думал, что самым желанным для меня концом было бы пасть посреди великого революционного потрясения» [2]).

Скоро ему пришлось убедиться в неудаче испанской революции и возложить свои надежды на Италию, в которой, как ему казалось, замечаются симптомы революционного пробуждения. Он находил только, что до поры до времени нужно было действовать в тиши и надеть на себя маску мирных зажиточных буржуа. С этой целью и условлено было, что Бакунин должен притвориться уставшим и разочарованным революционером, который отныне хочет жить мирной обывательской жизнью. (Это-то и сбило с толку знавших об этом юрцев, которые и решили, что вышецитированные письма, где Бакунин заявлял о своем полном отказе от общественной деятельности, вовсе не выражают его действительного настроения; а между тем это в значительной мере было именно так).

---

[1]) Да и в Лион (в 1870 г.) его сопровождали не юрцы и не итальянцы, а главным образом русские и поляки (Озеров, Ланкевич и др.).

[2]) Mémoire Justificatif, приведенный у Нетлау и перепечатанный частью у Гильома (об этом документе см. ниже).

Насколько яд разочарования проник в сердце Бакунина, видно из следующего эпизода, передаваемого Гильомом [1]). Весною 1874 года, в марте или апреле, Гильом, отправляясь на урок, получил на улице письмо от своего старого учителя и друга. Но, впрочем, предоставим лучше слово самому Гильому, так как в пересказе его сообщение теряет значительную долю своей силы. «Ввиду того, что письма от Бакунина стали получаться редко, я с некоторым волнением спрашивал себя, о чем бы это он мог мне сообщать. С глубоким изумлением читал я, не веря своим глазам. Сначала он повторил то, о чем не раз уже писал, а именно, что отныне он удаляется на покой; он сообщал, что скоро к нему приедет жена. Он прибавлял, что время революционной борьбы прошло, и что Европа вступила в период реакции, конца которой современному поколению не придется, вероятно, увидеть. И он приглашал меня последовать своему примеру, «помириться с буржуазией» и постараться снова получить место в министерстве народного просвещения. Не стоит, говорил он, упрямо стремиться к невозможному: нужно взглянуть прямо в глаза действительности и признать, что в данное время народные массы не хотят социализма. «А если какой-нибудь пьянчужка (!) с (юрских) гор вздумает по этому поводу обвинять тебя в измене, то за тебя будет голос твоей совести и уважение твоих друзей» (я могу поручиться за буквальную точность этой фразы, которую я запомнил дословно, так как я ее часто перечитывал и повторял). В заключение он говорил, что счел своим долгом дать мне этот совет, благоразумие которого я позже должен буду признать [2]).

«Письмо это подавило меня: «Итак,—говорил я себе,—вот до чего дошел Мишель!» Я шел вдоль озера; небо было

[1]) L'Internationale, т. III, 186—187.

[2]) К сожалению, письмо это не сохранилось. Оно было сожжено в 1898 г. вместе со многими другим бумагами Гильома во время опасной болезни последнего, от которой он не надеялся оправиться. Но до того Гильом давал его читать нескольким товарищам, в том числе и Кропоткину (в 1877 г.).

пасмурно и печально, дул пронизывающий ветер, природа имела унылый вид, и холод сжимал мое сердце. Не знаю, как я дал свой урок. Через несколько часов мне удалось, однако, притти в себя, но я надолго сохранил болезненное потрясение от полученного удара. И когда я узнал в сентябре про развязку баронатских дел, я был не так поражен ею, как был бы без этого письма.

«Впоследствии я иначе отнесся к этому письму Бакунина. Я понял, что, разочарованный и усталый, он поступил, как честный человек, поделившись со мною своею новою оценкою положения, и я почувствовал признательность к этому энтузиасту, который без колебаний жертвовал собою для дела человечества и который теперь хотел предостеречь молодого человека против необдуманных увлечений».

Если припомнить, что Гильом был самым любимым учеником и последователем Бакунина, который посвящал его даже в свои интимные дела, то мы должны будем признать, что в этом письме точно отразилось настроение Бакунина в этот печальный период его жизни.

Водворившись в Баронате, Бакунин, вообще не знавший счета деньгам, принялся швырять ими направо и налево, возводя новые постройки, копая пруды и колодцы, прокладывая дороги и т. д. Кафиеро, ничуть не уступавший в непрактичности своему старому другу, поддерживал и одобрял все его затеи, а часто шел даже дальше его, так как Бакунин иногда как бы начинал понимать, что вся эта история кончится величайшим крахом, и протестовал против некоторых чрезмерных затрат.

Около этого времени Бакунина посетил в Баронате В. Дебогорий-Мокриевич, оставивший интересное описание тогдашней жизни старого агитатора. «Бакунин был необычайно высок и массивен, хотя его полнота была, очевидно, болезненная. Его лицо было обрюзглое, под светло-серыми или голубыми глазами висели мешки. Огромная голова заканчивалась большим лбом, по сторонам которого торчали вьющимися клоками редкие, полуседые волосы. Он одевался, сопел и от вре-

мени до времени уставлял на меня свои светлые глаза. Я чувствовал на себе этот взгляд, и мне было неловко, тем более, что совершалось это молча. Я слыхал раньше, что Бакунин составляет мнение о людях по первому впечатлению, и теперь чего доброго он изучал мою физиономию. Изредка он перебрасывался с Р. короткими фразами. Он сильно шепелявил, так как у него не доставало многих зубов. Но вот он согнулся, чтобы обуть ноги, и в эту минуту я услыхал, как его дыхание сперлось. Когда он выпрямился, то засопел страшно тяжело— он задыхался, его обрюзглое лицо посинело. Все это указывало на то, что болезнь, сведшая его три года спустя в могилу, уже была развита в сильной степени. Когда Бакунин оделся, мы вышли в сад, в беседку, куда подан был завтрак. Здесь к нам подошли двое итальянцев, одному из которых он меня отрекомендовал. То был Кафиеро, ближайший друг Бакунина, известный тем, что отдал свое состояние, достигавшее весьма значительной цифры, на итальянские революционные дела. Он молча уселся возле нас и принялся курить трубку. Между тем пришел почтальон с кучею газет и писем, и Бакунин занялся их просматриванием. Затем появился Зайцев, бывший сотрудник журнала «Русское Слово», живший тогда в одном доме с Бакуниным, и вскоре между нами завязался общий разговор о Барцелонском восстании» [1]).

«... По отношению к русским у него звучала скептическая нота. Над немцами он любил посмеяться, особенно когда заходила речь о некоторых восстаниях 48-го года. Немец и революция были в его представлении два друг друга исключающие понятия. Все свои надежды Бакунин возлагал на романские племена и в частности на итальянцев, посвящая все время и энергию на конспирации среди них. Поэтому Локарно, построенное на берегу Лаго-Маджоре, находящегося на границе Швейцарии и Италии, представляло из себя как нельзя более удобный пункт для Бакунина, которому въезд в

[1]) Во время этой беседы Бакунин развивал свои бунтарские идеи и в частности мысль о важном значении уничтожения всевозможных актов и документов.

Италию, как и во Францию, был запрещен: Локарно играл роль революционного центра, куда съезжались итальянские заговорщики для тайных совещаний с Бакуниным. План Бакунина состоял в том, чтобы организовать заговор из смелых людей, готовых на самопожертвование, которые в определенный срок должны были собраться в известное место с тем, чтобы начать вооруженное восстание. Предполагалось дело начать с нападения на местные правительственные учреждения и затем перейти к «ликвидации» существующего строя, т.-е. конфискации земельной собственности, фабрик и т. п. Однако Бакунин далеко не льстил себя надеждой на непременный успех.—«Мы должны беспрестанно делать попытки восстания,—говорил он.—Пусть нас разобьют один, два раза, наконец, десять и двадцать раз, но если на двадцать первый раз народ поддержит, и восстание сделается всеобщим,—жертвы окупятся». Весь вопрос таким образом сводился к тому, чтобы выбить, так сказать, народную массу из ее индифферентного состояния и заставить ее вступить в открытую борьбу со своими притеснителями. Бакунин являлся сторонником а к т и в н о г о революционного дела и не удовлетворялся одною пропагандою слова, находя ее бессильным средством для того, чтобы революционизировать массы...

«. . . Устройство притона с секретными выходами и складом сильно занимало Бакунина. Он тоже допускал возможность обысков. Очевидно, Бакунин мало доверял швейцарской свободе.

«Быть может, и вам, русским,—говорил он,—понадобится держать за границею свою строго конспиративную типографию для печатания летучих листков,—можно будет ее тоже поместить здесь». Потом он переменил тон и резко добавил: «Впрочем, какие же конспираторы русские? Пойдут болтать—скомпрометируют, пожалуй, и наше итальянское дело».

«Мне было очень неприятно слышать этот упрек, и я принялся что-то, не помню уж что именно, говорить в защиту нас, русских. Но еще неприятнее сделалось, когда Бакунин, возражая мне, в заключение вдруг воскликнул: «Да что рус-

ские!? Всегда они отличались стадными свойствами. Теперь они все анархисты. На анархию мода пошла. А пройдет несколько лет и, может быть, ни одного анархиста среди них не будет».

«... Но вот, наконец, я стал собираться в дорогу. Помню, накануне моего отъезда, Бакунин высчитал по путеводителю количество денег, необходимых для моего путешествия, и потребовал, чтобы я показал ему свой кошелек. Напрасно я старался убедить его, что денег у меня достаточно, и я в них не нуждаюсь. Он все-таки настоял на своем, кошелек свой я должен был в конце концов ему показать. До требуемого количества не хватало тридцати с небольшим франков.

— Я остановлюсь в Богемии. Там у меня есть приятели, у которых я могу взять денег, сколько мне понадобится.— об'яснил я.

— Ну-ну, рассказывай!—возражал Бакунин. Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, отворил ее, сопя отсчитал тридцать с лишним франков и передал мне.

Мне было очень неловко принимать эти деньги, однако, я принужден был их взять.

— Хорошо, по приезде в Россию, я вышлю,—проговорил я.

Но Бакунин только сопел и, глядя на меня, улыбался.

— Кому? Мне вышлешь?—спросил, наконец, он, потом добавил: это я даю тебе не свои деньги.

— Кому же их переслать в таком случае?

— Большой же ты собственник! Да отдай их на русские дела, если уж хочешь непременно отдать» [1]).

Около 100.000 франков были быстро истрачены на приобретение и улучшение Баронаты. Наследство Кафиеро оказалось меньше, чем рассчитывали друзья, тем более, что ему пришлось его быстро реализовать. Дело кончилось тем, чего и надо было ожидать. Начались сплетни и пересуды; добрые

[1]) Вл. Дебогорий-Мокриевич. „Воспоминания". Спб. 1906 г., стр. 94—102.

приятеля, как, например, Острога (Мрочковский), начали поговаривать, что Бакунин эксплуатирует и разоряет своего доверчивого молодого друга в личных интересах. Скоро и Кафиеро пришел к тому выводу, что Бакунин гораздо больше имеет в виду интересы своей семьи, которую он ожидал с часу на час, чем интересы итальянской революции.

Тем временем жена Бакунина с своими тремя детьми, а также с престарелым отцом и матерью и одною своею сестрой, Юзовскою, выехала из Красноярска, и 13 июля 1874 года прибыла в Баронату с детьми и отцом, Ксаверием Квятковским. Вслед за сим прибыл и Кафиеро с последними крохами своего растраченного наследства, и между ним и Бакуниным произошло тягостное об'яснение, закончившееся разрывом. Теперь Бакунин очутился в самом отчаянном положении. Он выписал семью, уверив ее, что новая усадьба принадлежит ему, и что они теперь смогут жить вместе в полном довольстве и спокойствии. С другой стороны, его угнетала мысль о том, что молодые товарищи приписывают ему самые низкие побуждения, и смотрят на него, как на «старую тряпку, которую следует выбросить вон». И впавший в отчаяние старый боец в первый раз подумал о самоубийстве. В продолжение нескольких бессонных ночей он обдумывал, как подготовить жену к ожидавшему ее страшному удару, и как с честью выйти из создавшегося тяжелого положения. Ошеломленный неожиданно свалившимся на него ударом, Бакунин, как он сам потом говорил, не сумел соблюсти свое достоинство: он беспрекословно уступил Кафиеро Баронату со всем имуществом и инвентарем, но имел слабость принять от него обещание обеспечить жену и детей Бакунина после его смерти.

К этому периоду относится самая тяжелая страница страдальческой жизни старого борца. Он решил умереть, и смерть была для него самым желанным исходом из создавшихся недоразумений. Но молодые товарищи и последователи Бакунина совершенно не замечали ужасного душевного состояния Бакунина, а если и замечали, то совершенно не считались с ним. Тогда в Италии подготовлялось революционное выступление, и друзья увлекли в него Бакунина, который впоследствии

обвинял их в том, что они насильно заставили его принять участие в этой рискованной экспедиции, потому что ничуть не дорожили им.

Мысль о том, что последний, быть может, в своей жизни революционный акт он должен совершить не по доброй воле, а по принуждению, особенно угнетала Бакунина; но он считал это заслуженным наказанием за допущенную им минутную слабость. В своей Оправдательной Записке он говорит по этому поводу:

«Моя ошибка заключалась в том, что я с самого начала принял братское предложение Кафиеро. Отклонив его, я бы сохранил незапятнанность своей жизни до конца и теперь был бы свободен располагать ею по своим собственным убеждениям и склонностям. В сущности, я должен признать, что, принимая его, я совершил измену по отношению к самому себе, по отношению к моему прошлому и, чтобы употребить настоящее слово, совершил низость, которую теперь я искупаю. А теперь я скажу о тех причинах, которые побудили меня принять его, и которые до известной степени могут послужить мне извинением. Во-первых, я действительно устал и разочарован [1]). События во Франции и Испании нанесли смертельный удар всем нашим надеждам и ожиданиям. Мы рассчитывали на массы, которые не захотели со страстью отнестись к делу своего собственного освобождения, а за отсутствием этой народной страсти, мы, при всей своей теоретической правоте, были бессильны. Второе соображение было таково: теперь единственно оставшаяся для нас возможною работа была работа тайная и хорошо замаскированная. Нам непременно нужно было принять мирный буржуазный вид. Кроме того, швейцарское федеральное правительство под давлением итальянского правительства, а следовательно, и правительство Тессинского кантона хотели водворить меня обязательно во внутренних местностях Швейцарии. Мне с величайшим трудом удалось остаться в Локарно. Предложение Кафиеро давало мне возможность добиться этого. Наконец,

[1]) Курсив мой.

третьею и самою, скажу, побудительною причиною была моя тревога за будущность моей семьи и мое горячее желание доставить ей приют и обеспечить, по крайней мере, до известной степени ее судьбу». Замечательно, что в то время молодые бакунисты не могли простить своему учителю как раз последнего побуждения; особенно их возмутили переданные им слова Бакунина, что он хотел устроить в Баронате «рай для Антонии» (т.-е. своей жены).

Итак, теперь приходилось такою дорогою ценою искупать ошибку, минутную слабость, может быть, единственную слабость этого рода за всю долгую жизнь старого профессионального революционера. Бакунин решил, или, быть может, вернее было бы сказать, Бакунину пришлось поехать в Болонью, которую предполагалось сделать одним из центров подготовлявшегося восстания. В этом восстании, общею целью которого было низвержение монархии [1]), должны были принять участие также некоторые маццинисты и гарибальдисты на-ряду с интернационалистами. На последние остатки кафиеровского состояния приобретены были оружие, динамит и т. п. В Баронату один за другим приезжали вожди предприятия, как Росс, Коста, Малатеста, чтобы выработать последние меры. Это было в самый разгар постигшего Бакунина кризиса, когда он решился искать смерти на баррикаде. Повидимому, молодежь не догадывалась о том аде, который был в душе Бакунина; по крайней мере, Малатеста, которому Росс сообщил о происшедшем конфликте, нашел желание Бакунина примкнуть к итальянским революционерам и разделить их судьбу совершенно естественным. Но Бакунин колебался. Заявив о своем решении ехать в Болонью, решении, принятом

[1]) Итак, правоверные бакунисты во главе со своим учителем приняли участие в движении чисто политического, а отнюдь не социалистического характера. А между тем они неоднократно, вслед за программой Альянса социальных революционеров, подчеркивали, что в отличие от социал-демократов, они ни за что не будут принимать участия в движении, которое не ставит себе „прямой и непосредственной" целью „торжество рабочего дела над капиталом", т.-е. социальную революцию. На это противоречие не было обращено достаточного внимания.

в первый момент отчаяния, Бакунин было передумал: он предпочитал остаться с женою и не ехать—не по малодушию, а потому, что он не одобрял затеянного предприятия. Однако у него не хватило духу прямо заявить об этом Кафиеро или Россу; он просил своего молодого друга Беллерио передать Кафиеро, что ему не хочется ехать; но Беллерио не исполнил его просьбы. И Бакунин, связанный своим первым заявлением, принужден был отправиться в Болонью против своей воли. Неттлау со слов Беллерио рассказывает по этому поводу следующее: «Он отправлялся неохотно. Эмилю Беллерио он решительно сказал: «мне совсем не хочется ехать; сообщи им это, но так, чтобы они не могли догадаться, что ты говоришь им это по моему внушению». Беллерио ломал себе голову, чтобы подыскать подходящую форму для выполнения этого поручения; но ничего не придумал и промолчал. Бакунин чувствовал себя постаревшим, физически немощным, он дышал с трудом, но гордость не позволяла ему приводить подобные мотивы... Вот в каком состоянии духа он, повидимому, выехал в Болонью» [1]).

Решившись умереть, Бакунин написал прощальное письмо к братьям, умоляя их выделить, наконец, причитающуюся ему часть наследства, чтобы обеспечить судьбу его жены и детей. Но ему не пришлось пасть, как он мечтал, на баррикаде. Задуманное восстание совершенно не удалось. Часть мацциниетов была еще до начала его захвачена полицией на собрании; ожидавшиеся тысячи романьольских интернационалистов не явились, а собравшиеся в небольшом числе инсургенты были частью арестованы, частью разбежались. Бакунин, тщетно дожидавшийся подачи сигнала, понял, что движение не удалось. Он надеялся, что, быть может, удастся

[1]) Nettlau. „Michael Bakunin. Eine Biographie". стр. 802.—J. Guillaume. „L'Internationale", т. III, 201. В Италию Бакунин ехал окольным путем. В Шплюгене по дороге он и написал свою длинную „Оправдательную Записку"; прочесть ее должны были Беллерио и Кафиеро, а затем жена его Антония, которая в то время ничего еще не знала и даже думала, что муж ее по делам выехал в Цюрих.

еще возбудить движение во Флоренции, куда и намеревался отправиться. Даже в этот ужасный момент, терзаемый мыслями об ударе, который должен был обрушиться на его жену, он не забывал интересов революционного дела и условился с находившимся при нем товарищем (Натта) относительно шифра и условных знаков. Из Болоньи Бакунин уехал, переодевшись католическим священником, в Шплюген; здесь он узнал от Росса, со слов Кафиеро, что на итальянское движение сейчас надеяться не приходится.

6 августа произошло решительное об'яснение между Антонией и Россом, который заявил ей, что Бароната принадлежит не Бакунину, а революции, и предложил ей очистить помещение. Через три дня она принуждена была уехать в Арону, куда немедленно вызвала из Варшавы свою сестру Лозовскую. Узнав, наконец, о том, что Бакунин находится в Шплюгене, где ждет известий от жены, Лозовская отправилась к нему туда в сопровождении Беллерио. Здесь Бакунин заявил им, что ему окончательно опротивела всякая общественная конспираторская деятельность, и что он намерен эмигрировать в Америку и там натурализоваться; при этом он выразил надежду, что Кафиеро доставит ему на это средства. В Сиерре состоялось 2—3 сентября свидание между Бакуниным и Кафиеро с Россом. Свидание было холодным и закончилось полным разрывом. Перед этим Кафиеро и Росс посвятили юрцев Гильома и Швицгебеля в историю с Баронатой, при чем юрцы признали их правыми, а Бакунина кругом виноватым. (Виноват-то, может быть, виноват; а все-таки в Болонью поехал он, а не молодые юрцы). На свидании в Сиерре Бакунин заявил Россу и Кафиеро, что он в Америку не поедет, а останется в Швейцарии, что он окончательно принял решение совершенно отказаться от всякой политической деятельности, как открытой, так и тайной, и уйти исключительно в семейную жизнь и в частную деятельность. Он отказался от предложенной ему пенсии и предложил Кафиеро ссудить ему 5.000 франков на два года из 6% годовых. Тот обещал под условием, что вексель подпишет Софья Лозовская (которая от этого

отказалась). При этом, как водится, Бакунин строил воздушные замки: он то надеялся получить от братьев на свой пай не менее 50.000 франков, то рассчитывал на поддержку Лозовской, которая должна была разбогатеть от каких-то своих золотых приисков в Сибири; наконец, он собирался засесть за писание своих мемуаров, от чего также думал получить несколько тысяч франков. Последний расчет был, конечно, самым верным, но вся беда в том, что этих мемуаров Бакунин так и не написал. Об этом мы можем только пожалеть. Какой это был бы богатый исторический источник, и какой замечательный человеческий документ! [1]).

До 23 сентября Бакунин мучился в Сиерре, стараясь наладить отношения с женой, которая тем временем перебралась в Лугано. 25-го он прибыл в Невшатель, где имел еще об'яснение с своими молодыми партизанами. Последние, как рассказывает Гильом, пришли к единодушному убеждению, что Бакунин, которого они так любили и продолжают любить, выказал в деле Баронаты непростительное легкомыслие и слабость. Кафиеро, Росс, Шпихигер и Гильом явились к Бакунину в комнатку отеля, где он их ждал, и здесь Гильом от имени всех высказал ему без обиняков мнение товарищей. Гильом рассказывает, что при этом он сам волновался до потери голоса; Кафиеро и Росс молчали, а Шпихигер тихо плакал в углу. Товарищи Бакунина предложили ему после этой декларации ежемесячную ренту в 300 франков; конечно, Бакунин отверг это предложение и согласился только занять у Кафиеро 3.000 франков под вексель за поручительством Беллерио и еще какого-нибудь платежеспособного лица. После

[1]) До нас дошло лишь начало его мемуаров, написанное, вероятно, в начале 70-х годов: „Histoire de ma vie", напечатанное, в брюссельском анархическом журнале „La Société Nouvelle", 1896. Septembre. Там говорится лишь о первых годах его жизни, затем дается характеристика умственного состояния русского общества при Николае I. Ничего особенно интересного там нет.—Бакунин собирался также диктовать свои мемуары г-же А. Баулер, но так и не собрался. В. Зайцев рассказывал, будто он читал в 70-х годах мемуары Бакунина, но что это за мемуары, так и неизвестно. Вероятно, это ошибка.

этого свидания Бакунин записал в своем дневнике: «Против заранее составленного в издавна подготовлявшемся заговоре мнения ничего не поделаешь!.. Виделся с друзьями. Д. (Джемс, т.-е. Гильом), как всегда, холоден. К (афиеро), как всегда, глуп. Полный разрыв... Один Шишхитер обнаружил, что у него есть сердце». Забегая несколько вперед, скажем, что в 1875 году Бакунин отчасти примирился с Россом и Кафиеро: но с юрцами прежние отношения никогда не возобновились.

Через месяц, а именно 21 октября 1874 года, Бакунин, узнав, что Росс собирается в Россию, написал ему из Лугано следующее, характерное для тогдашнего его настроения, письмо:

«Получил твое письмо. О дружбе, Р(осс), мы говорить не станем. После всего, что ты против меня сделал,—а мне теперь все даже до малейшей подробности стало известно,—называть друг друга друзьями было бы с твоей, точно так же, как и с моей стороны, возмутительно ложно. Ты сделал все, что только мог, чтобы убить меня физически, нравственно и общественно, притворяясь до конца моим другом, и если тебе не удалось, то вина не твоя [1]).

«Дальновидный и умный Каф(иеро) был только твоих рук делом, ты его внушителем. Хочу верить, что ты обманывал себя самого, принимая внушение нетерпеливого и, правосильного честолюбия за ревность к делу. Несомненно,—ты сам, по крайней мере, перед собою сознайся,—что ты действовал против меня, как самый злой враг. И несмотря на это, я продолжаю верить в твою преданность русскому делу и в твою способность служить делу: и потому на этом поле я всегда готов подать тебе руку.

«Ты готовишься теперь совершить решительный шаг, от направления и исхода которого будет зависеть вся будущность твоей жизни и, главное, твоей революционной деятельности. Позволь мне, старику, сказать тебе несколько искренних слов, вероятно, последних.

---

[1]) Бакунин считал Росса главным виновником разрыва с Кафиеро и юрцами по поводу инцидента с Баронатой.

«В сношения с людьми новыми, с которыми ты найдешь возможным и полезным связаться, постарайся внести столько правды, искренности и сердца, сколько твоя скупая природа позволит. Пойми же ты, наконец, что на иезуитском мошенничестве ничего живого, крепкого не построишь, что революционная деятельность, ради самого успеха своего дела, должна искать опоры не в подлых и низких страстях, и что без высшего, разумеется, человеческого идеала никакая революция не восторжествует. В этом направлении и смысле желаю тебе самого искреннего успеха» [1]).

Бакунин уехал в Лугано, где поселился с семьею. Здесь он сошелся с бывшим членом Коммуны Артуром Арну, а также с несколькими итальянцами, как Набруцци, Педерцолли и несколько рабочих. Он быстро освоился с новыми условиями и все продолжал надеяться на близкое улучшение своего материального положения. Но в ожидании богатства он продолжал перебиваться, главным образом, займами; Кафиеро обещанных 3.000 ему не дал. Софья Лозовская, получив от Бакунина полномочие, уехала в Россию хлопотать перед братьями о выделе ему известной доли наследства. Бакунин рассчитывал получить не менее ста тысяч рублей, как он писал Беллерио, но в ожидании будущих благ ему приходилось очень тяжело. Каково было его настроение в это время, видно из следующего письма, написанного им 15 февраля 1875 года своему приятелю, известному географу Элизе Реклю [2]).

«Мой дорогой друг, горячо благодарю тебя за твои хорошие слова. Я никогда не сомневался в твоей дружбе, это чувство всегда взаимно, и я сужу о твоем по моему.

---

[1]) „Письма", стр. 351 („Мы знаем от г. Росса, что он никогда не получал этого письма, которое было найдено в бумагах Бакунина после его смерти. Вероятно, Бакунин передумал и не послал его". — Примечание редакции журнала „Голос Минувшего").

[2]) Как известно, Реклю (равно как брат его Эли Реклю) был членом меньшинства, ушедшего вместе с Бакуниным с Бернского конгресса „Лиги Мира" в 1868 г. и основавшего Альянс социальных революционеров.

«Да, ты прав, революция временно вошла в свое русло. мы возвращаемся в период эволюции, т.-е. в период подземных, невидимых и часто даже незаметных революций. Происходящая в настоящее время эволюция крайне опасна, если не для человечества, то, по крайней мере, для некоторых наций. Это последнее воплощение упадочного класса, ставящего свою последнюю карту под охраною военной диктатуры,—мак-магоновско-бонапартистской во Франции, бисмарковской в остальной Европе.

«Я согласен с тобою, что время революции прошло не по причине ужасных катастроф, свидетелями которых мы были, и страшных поражений, более или менее виновными жертвами которых мы оказались, но потому, что я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти; а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку никакого не будет. Я преклоняюсь перед героическим терпением и настойчивостью юрцев и бельгийцев, этих последних могикан покойного Интернационала [1]), которые наперекор всем затруднениям, неудачам и препятствиям, посреди всеобщего индифферентизма, упорно плывут против течения, продолжая спокойно делать то, что делали до катастроф, когда движение шло вверх, и малейшее усилие создавало силу.

«Эта работа тем похвальнее, что они не пожнут ее плодов; но они могут быть уверены, что труд их не пропадет напрасно. —ничто не пропадает в этом мире,—и капли воды, при всем их ничтожном размере, образуют все-таки океан.

«Что же касается меня, мой дорогой, то я стал слишком стар, слишком болен и, должен ли я тебе это сказать, во

[1]) Гильом (т. III. стр. 284) удивляется этому выражению Бакунина „feu l'Internationale", тогда как он дескать „знал, что она (Межд. Ассоциация) была в то время более живой, чем когда-либо". Но в том-то и дело, что Бакунин был умнее своих последователей и прекрасно понимал, что анти-авторитарный Интернационал был мертворожденной затеей и простой тенью прежнего интернационала.

многих отношениях слишком разочаровался, чтобы чувствовать в себе желание и силу участвовать в этом деле. Я окончательно отказался от борьбы и проведу остаток дней моих в созерцании—не праздном, а напротив, умственно очень действенном, которое, как я надеюсь, даст что-нибудь полезное.

«Одна из страстей, владеющих мною в данное время, это колоссальная любознательность. Раз вынужденный признать, что зло восторжествовало, и что я не в силах помешать этому, я принялся изучать его эволюцию и развитие с почти научною, совершенно о б ъ е к т и в н о ю страстью.

«Какие актеры и какая сцена! В глубине и господствуя над всей ситуацией, император Вильгельм и Бисмарк во главе великого лакейского народа; против них папа со своими иезуитами, вся римско-католическая церковь, богатая миллиардами, господствующая над значительной частью мира с помощью женщин, благодаря невежеству масс и несравненному искусству своих бесчисленных приверженцев, имеющих повсюду глаза и руки.

«Третий актер: французская цивилизация, воплощенная в Мак-Магоне, Дюпанлу и Бройле, кующих цепи для великого павшего народа. Вокруг всего этого Испания, Италия, Австрия, Россия—каждая со своею соответствующею случаю гримасою, а вдалеке Англия, не могущая решиться снова сделаться чем-нибудь, а еще дальше образцовая республика Американских Соединенных Штатов, уже кокетничающая с военною диктатурой.

«Бедное человечество!

«Совершенно очевидно, что выйти из этой клоаки оно сможет только с помощью колоссальной социальной революции. Но как совершится эта революция? Никогда международная реакция в Европе не была так грозно вооружена против всякого народного движения. Она возвела репрессию в ранг новой науки, которую систематически преподают в военных школах поручикам всех стран. А что у нас есть для нападения на эту неприступную крепость? Дезорганизованные массы. Но как

их организовать, когда они даже не воодушевлены, как следует, стремлением к собственному спасению, когда они не знают, чего должны хотеть, и не хотят того, что только одно может их спасти!

«Остается пропаганда в том виде, как ее ведут юрцы и бельгийцы. Конечно, это кое-что, но этого слишком мало: несколько капель воды в океане, и если бы не было другого средства спасения, человечество успело бы десять раз сгнить раньше, чем спастись.

«Остается другая надежда: всемирная война. Эти колоссальные военные государства рано или поздно должны будут уничтожить и пожрать друг друга. Но какая перспектива!..»

(Конец письма не сохранился).

При таком душевном настроении материальная нужда должна была особенно сильно давать себя чувствовать. Но в это время Бакунин увлекся новым планом. Рассчитывая на скорое получение денег из России, он приобрел в кредит недалеко от Лугано за 28.000 франков виллу Бессо с большим участком земли [1]). Бакунин вздумал на старости лет сделаться огородником и садоводом и со свойственной ему фантазией начал строить самые химерические планы. Он выписал себе множество книг об интенсивной культуре и производстве удобрения; под руководством какого-то профессора начал изучать химию, раздобыл множество самых разнообразных семян и приступил к делу. Прежде всего он вырубил на своем участке все тутовые деревья, дающие в той местности главный доход, и начал топить ими печки. Затем он выкопал несколько глубоких, выложенных камнем, ям для производства интенсивного удобрения; насадил фруктовые деревья, буквально одно на другом, а между этими деревьями посеял все свои семена. Все это было обильно полито «усовершенствованным» удобрением, и в результате все сгорело; даже

[1]) Впоследствии эта вилла приобретена была скульптором М. Антокольским.

трава перестала расти на несчастном участке. Этот опыт, не дешево обошедшийся Бакунину, занял у него целый год [1]).

В августе 1875 года Малатеста, посетивший Бакунина в Лугано, нашел старого бойца «в состоянии разложения» [2]). Молодые революционеры уже не узнавали в теперешнем Бакунине великого учителя, еще недавно вдохновлявшего их на бранные подвиги. Тем не менее Бакунин попрежнему производил сильное впечатление на людей, впервые с ним встречавшихся: такое впечатление он, например, произвел на Кравчинского, который по дороге в Герцеговину заехал к нему с Россом, чтобы познакомиться с «первосвященником анархии», а также на молодую русскую революционерку Вебер, которая впоследствии под псевдонимом А. Баулер написала интересные воспоминания о последних днях Бакунина [3]). Когда совершенно разорившийся Кафиеро принужден был покинуть Баронату и уехать в Милан на частную службу, его слуги, Филиппо Маццоти и жена его Маргетта, переехали в Лугано, и здесь эти простые люди старались окружить Бакунина самыми трогательными заботами. Вокруг Бакунина сгруппировался небольшой кружок итальянских рабочих, с благоговением относившихся к старому усталому борцу и старавшихся оказывать ему всяческие услуги; и его хладеющая душа согревалась от огня, который он некогда сам зажег в них.

«Доктор,—рассказывает А. Баулер,—определил у Бакунина болезнь мочевого пузыря. Бакунину утром и вечером надо было делать какие-то втирания, прибирать его комнату, а иногда, когда у него бывали сильные боли, надо было помочь ему одеться и раздеться. Все это делали по очереди итальянские рабочие, жившие тогда в Лугано.

---

[1]) Об этом периоде жизни Бакунина имеются воспоминания Артура Арну, напечатанные под псевдонимом A. Matthey в журнале „La Nouvelle Revue“ от 1 августа 1891 года, а также воспоминания А. Баулер.

[2]) „En décomposition“ (Guillaume, III, 300).

[3]) „Былое“, 1907, стр. 62—87: „М. А. Бакунин накануне смерти“.

«Так велико было обаяние его удивительной личности до последнего часа его жизни, что в небольшой группе итальянских анархистов-изгнанников, простых сапожников, угольщиков и цирульников, Бакунин имел не только друзей, но обожавших его сыновей. Ежедневно сапожник Андреа Сантандреа после тяжелой дневной работы приходил на виллу укладывать М. А. в постель и, сделав все нужные манипуляции, сидел с ним до глубокой ночи. Утром приходил Филиппо Маццотти. Были и другие сидельцы-добровольцы, но Бакунин не любил их услуг: малейшая неловкость раздражала его, хотя раздражение свое он ничем не выражал, кроме глухого стона, а бедный доброволец при этом львином стоне терял последний признак умелости. Все эти люди, едва жившие на ничтожные гроши, не только не получали никакой платы от Бакунина, но часто на собственные деньги покупали для него какие-нибудь нехитростные лакомства. И если б М. А. вздумал отказаться принять от кого-нибудь из них услуги или подарок, я знаю, что он причинил бы им величайшее горе и оскорбление. Я никогда не видела ни раньше, ни позже такой восторженной, бескорыстной преданности. То было любовное, романтическое чувство учеников к учителю, чувство, где преданность идее сливается с преданностью личности, несущей идею. Так, вероятно, некогда складывались отношения между великими художниками и их учениками, между основателями религий и их ближайшими последователями.

«Я помню, как иногда в воскресный день в комнату Бакунина приходили двое, трое и больше рабочих. Сантандреа сидел недвижимо и, положив локти на стол, а свою голову римского патриция на скрещенные руки, смотрел большими черными экстатическими глазами прямо в рот Бакунина. Маццотти, более экспансивный, живой и наивный, улыбался, поддакивал, качал головой и с грустью поглядывал на меня, жалея, очевидно, что я не понимаю великих слов, не могу разделить его восторга [1]). А Бакунин, куря папироску за папироской, отпивал глотками чай из огромной чашки и

[1]) Так как Бакунин говорил с рабочими по-итальянски.

говорил долго и много. Иногда кто-нибудь из других присутствовавших что-нибудь возражал, и тогда, перебивая друг друга или говоря зараз, Сантандреа и Маццотти принимались об'яснять и убеждать, а Бакунин слушал, одобрительно кивал головой или вставлял несколько слов. Вначале я не понимала даже общего смысла разговора, но, глядя на лица собеседников, мне казалось, что около меня происходит нечто необыкновенно важное и торжественное. Атмосфера таких бесед охватывала меня, создавала во мне—я бы хотела сказать, за неимением другого выражения—молитвенное настроение. Крепла вера, стушевывались сомнения. Значение личности Бакунина определялось для меня, фигура его росла. Я понимала, что сила его заключается в умении завладевать душами людей. Для меня не подлежало сомнению, что все эти люди, слушавшие его, были готовы на все по одному его слову. Он владел ими. Я могла перенести эти впечатления в другую обстановку, менее интимную, представить себе толпу и понимала, что влияние будет такое же. Только настроение энтузиазма, тихого и внутреннего здесь, станет неизмеримо сильнее, атмосфера сделается грознее от взаимного заражения в толпе.

«В чем собственно состояли чары Бакунина? Точно этого определить, думается мне, невозможно, потому что самое верное определение будет неясная формула: в о в с е м е г о с у щ е с т в е. Не силой убеждения он действовал, не мысль он будил своею мыслью, но поднимал всякое бунтующее сердце, будил стихийную злобу. Она охватывала красотой, становилась творческой и рисовала экзальтированной жажде справедливости и счастья исход, возможность достижения: «Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust»,—повторял Бакунин до конца жизни. Не в этой ли формуле надо искать разгадку его обаяния?

«Наблюдая отношения М. А. к простым людям, я все более удивлялась ему. Часто в длинных беседах вдвоем, излагая свои философские взгляды и как бы ретроспективно развивая свое мирососерцание, он говорил о гегельянизме и оспаривал его посылку за посылкой. Я только с большим усилием мысли

могла следовать за ходом его логики. Тогда он удивлял меня яркостью своей оригинальной мысли, смелостью выводов. Когда же я видела, с какой легкостью он входил в умственное общение с людьми еле грамотными, с людьми другого класса, другой расы,—удивление мое еще усиливалось. Ведь, несмотря на упрощенность жизни и обстановки, Бакунин оставался настоящим русским барином с головы до ног, а между тем стоял с рабочими на гораздо более равной ноге, чем какой-нибудь Малон, который, кажется, был французским крестьянином по рождению. В отношениях коммунаров, живших в Лугано, к рабочим мне всегда чувствовалось или заискивание, или снисходительность. У Бакунина выходила органически, без малейшего усилия, простая дружба. Он мог кричать на Филиппо или на Андреа как на мальчишек, мог держать их под гипнозом своих идей и мог подолгу рассуждать с ними об их и своих ежедневных делах, выслушивать и сообщать партийные и городские сплетни, шутить, острить, хохотать их шуткам. Тогда меня это поражало, потому что противоречило моей теории, по которой выходило, что нельзя быть услышанным народом, не став в его ряды. Потом, думая об этом часто и много, я пришла к заключению, что именно его свойство настоящего русского барина и помогало ему в этих отношениях: в наших крепостных нравах на практике было много и патриархально-демократического».

Материальное положение Бакунина не переставало ухудшаться; он перебивался тем, что занимал направо и налево по несколько франков, которые отдавал жене на ведение хозяйства. В начале февраля 1876 года кредиторы Бакунина собрались на совещание и постановили дать ему три месяца сроку для уплаты долгов. Наконец, в марте г-же Лозовской удалось продать лес, выделенный Бакунину братьями на его пай, и 25 марта он получил из Варшавы первую тысячу рублей из доставшегося ему наследства. Скоро выяснилось, что надежды Бакунина на поправку материальных обстоятельств в последний раз жестоко разбиты: г-жа Лозовская привезла с собою всего 7.000 рублей. Этих денег не могло

хватить на уплату всех долгов, и на семейном совете решено было предоставить виллу кредиторам и уехать из Лугано. Бакунин задумал переехать на жительство в Неаполь, но так как после болонского дела в'езд в Италию был для Бакунина невозможен, то Гамбуцци начал хлопотать перед итальянским правительством, чтобы Бакунину разрешено было поселиться в Италии: в то время министром внутренних дел был в Италии Никотера, некогда друг Бакунина и даже участник в его конспирациях. Находившиеся тогда в Лугано друзья Бакунина смотрели на эти хлопоты как на окончательное отречение старого революционера от всего своего прошлого и обвиняли во всем его жену, принудившую больного старика вступить на путь компромиссов. Итак, Бакунину на старости лет снова приходилось взять в руки страннический посох и пойти навстречу неведомой судьбе. Птицы небесные имеют свой кров, и только сын человеческий не имеет, куда преклонить свою голову...

Бакунин стоически выносил новые удары судьбы; он не жаловался, но сильно пал духом, становился все раздражительнее, а болезнь усиливалась. Окружавшие его как будто не замечали, что дни его сочтены. По целым ночам Бакунин не смыкал глаз и, наконец, не в состоянии был уже даже ложиться на постель. «Всех обманывала его изумительная выносливость,—рассказывает Баулер.—Когда его терзала боль, он упорно молчал, и лишь по тяжелому дыханию можно было догадаться, что с ним. Изредка только из сжатых губ в такие минуты вырывалось нечто вроде стона. Когда боль проходила или затихала, он веселел, принимался острить, строить планы будущего; распекал, поощрял, учил и писал, пыхтя и массивно сгорбив широкую спину... Не потому ли, что смерть уже коснулась его неслышным крылом, М. А. так много и так упорно говорил о прошлой жизни, о далеком юношестве, о давно невиданной русской природе? Он с любовью пересказывал незначительные эпизоды детских лет, вспоминал собаку Тюрка, чтение «Швейцарского Робинзона», часто и всегда с чувством любви вспоминал отца... Когда М. А. чувствовал

себя усталым и был вследствие этого неразговорчив, он заставлял меня «рассказывать про деревню». Но его интересовали не характеристика людей или изменившиеся с его времени нравы, а главным образом картины русской природы. Иногда он спрашивал, точно сам вспоминал что-нибудь и хотел ярче вызвать в себе воспоминание: «А было у вас в деревне лесное болото?» Или говорил: «Расскажи-ка, какой у вас был фруктовый сад». Если мой набросок картинки русской природы мне удавался, М. А. через день-другой заставлял меня повторить рассказ: «Ну-ка, расскажи еще про заливные луга».

Наконец, когда болезнь начала причинять Бакунину нестерпимые мучения, он решил поехать в Берн к своему старому другу Адольфу Фогту, чтобы полечиться у него. В это же время Антония должна была отправиться в Рим и подготовить там все для устройства нового местожительства. Но для того, чтобы Бакунин мог предпринять свою поездку, по тессинскому закону требовалось согласие кредиторов, которое и было получено 9 июня 1876 года. 13-го Бакунин выехал из Лугано в сопровождении Сантандреа, и в тот же день жена его тронулась в Рим. На Бернском вокзале ждал его Фогт. Бакунин сказал ему: «Я приехал в Берн для того, чтобы ты поставил меня на ноги или же закрыл мне глаза». Фогт немедленно отвез его в Маттенгофскую клинику, где больного поспешили навестить супруги Рейхели; г-же Рейхель Бакунин сказал по-русски: «Маша, я приехал сюда умереть» [1]).

Бакунин страдал параличом мочеиспускательного канала, хроническим воспалением почек и гипертрофией сердца, осложненной водянкою. Недержание мочи заставляло его в последнее время носить машинку, но последняя была недостаточно исправна, что причиняло ему и физические, и нравственные мучения. Фогт обещал ему дать после исследования зондом другую, лучшую машинку и прибавил: «Прежде всего, друг мой, тебя нужно заставить вести более упорядоченную жизнь». На что Бакунин ответил: «Ба! я всегда жил беспоря-

[1]) Музыкант Адольф Рейхель был женат на Марье Каспаровне Эрн, знакомой Герцена по Вятке. Это были старые друзья Бакунина.

дочно, и про меня скажут: он жил беспорядочно, но в порядке умер». Рейхель пригласил его к себе на чашку чаю, на что Бакунин охотно согласился. Большой любитель музыки—ведь это он сказал: «Все пройдет и мир погибнет, а Девятая Симфония останется» [1]),—он попросил Рейхеля поиграть ему, но сильный приступ боли заставил его не дослушать музыки и вернуться в клинику, откуда он больше уже не выходил.

Исследование зондом произведено было на другой день, 15 июня. Бакунин был очень доволен своей новой машинкой. Он попросил, чтобы ему принесли для чтения Шопенгауера «Мир как воля и представление». В разговоре с Рейхелем по этому поводу он заметил, что вся наша философия исходит из ложного основания, что она с самого начала берет человека как индивидуум, а не как часть коллектива; отсюда и вытекает большинство философских заблуждений, приводящих или к блаженству на небесах, или к пессимизму в духе Шопенгауера и Гартмана. В это время Бакунин сохранил еще всю ясность ума. В среду 21-го он разговаривал еще довольно сознательно. На выраженное Рейхелем сожаление, что Бакунин так и не собрался написать свои воспоминания, он ответил: «Скажи-ка на милость, для кого я стал бы их писать? Не стоит разговаривать. Теперь все народы утратили революционный инстинкт. Все они слишком довольны своим положением, а страх потерять и то, что у них есть, делает их смирными и инертными. Нет, если я поправлюсь, то я, пожалуй, напишу этику, основанную на принципах коллективизма, без философских и религиозных фраз».

В четверг 22-го Рейхель застал его лежащим на диване; на вопрос, как он себя чувствует, Бакунин ответил: «Я обалдел».

---

[1]) Эти слова Бакунин произнес, как рассказывают, во время беседы с Р. Вагнером в Дрездене. Бакунин произвел тогда (в 1849 г.) на Вагнера сильное впечатление и отчасти привил ему свои взгляды, которые Вагнер затем повторял при обосновании своих музыкальных новшеств. См. Hugo Dinger—„R. Wagners geistige Entwicklung", Band I, стр. 225 и Неттлау—„Биография Бакунина", т. I.

Начиналась уремия и ее разрушительное действие на мозг. Бакунин впал в какое-то оцепенение. В субботу он призвал к себе г-жу Рейхель и продиктовал ей по-русски письмо к своей семье. В этом письме он выражал надежду, что недели через две вернется в Лугано совершенно выздоровевшим. В тот день он находился в полном сознании. В понедельник 26-го вечером он беседовал с Рейхелем о музыке, спрашивал, сочинял ли Бетховен фуги, и сурово отозвался о характере и музыкальных произведениях своего бывшего сотоварища по дрезденскому восстанию, Вагнера. В среду 28-го Фогт убедился, что болезнь Бакунина неизлечима; в этот день у него прекратился стул и отделение мочи. Вместе с тем сонливость усилилась, и совершенно исчез аппетит. С этого дня он уже не вставал с постели и все более погружался в спячку. Когда Рейхель просил его выпить немного бульону, Бакунин ответил, не открывая глаз: «Мне уж ничего не нужно, моя песенка спета».

В четверг 29-го утром г-жа Рейхель предложила больному приготовить для него кашу. «Да,—ответил он,—свари мне кашу». Когда Рейхель хотел заставить его выпить немного бульону, Бакунин рассердился и сказал ему: «Подумайте, что вы делаете со мной, заставляя меня есть. Я знаю, чего хочу». А на вопрос Рейхеля: «Но каши-то ты поешь?»—«Да,—ответил он,—каша другое дело», и все это полным голосом. Когда через два часа Рейхель принес ему еду, он с'ел несколько ложек каши. Но положение его ухудшалось с каждой минутой, и он все более впадал в бессознательное состояние. В субботу 1 июля Рейхель и жена его навестили его утром, а затем должны были отлучиться. В одиннадцать часов был у него Фогт, а в 12 час. без 4 минут Бакунин испустил дух. Того, что называют агонией, у него почти не было. Он умер одиноким.

«Я не могу,—пишет Рейхель,—сказать иначе, как следующее: Бакунин умер, как и жил, цельным человеком. В продолжение всей своей жизни он выступал тем, чем был, без фраз и без притворства, и умер он также с полным сознанием самого себя и своего положения. В общем он казался мне уто-

мленным жизнью. Он составил себе правильное суждение о современном мире и, сознавая, что ему не хватает нужного материала для свойственной ему деятельности, он без сожаления смежил свои очи. Возможно даже, что он хотел умереть, хотя у него никогда не вырывалось слова, указывающего на такое желание».

Как мы знаем, мысль о смерти, как желанной освободительнице от всех страданий частного и общественного характера, за последние годы неоднократно являлась у Бакунина. И кто знает, от каких еще новых мучений эта смерть избавила измученного жизнью человека, обманувшегося так жестоко в своих общественных и личных надеждах!

3-го июля социалисты, с'ехавшиеся с различных сторон Швейцарии, проводили в могилу Михаила Бакунина. На могиле его произнесены были речи Швицгебелем, Жуковским, Джемсом Гильомом, не закончившим своей речи из-за душивших его рыданий, Элизе Реклю, Карло Сальвиони, Полем Бруссом и, наконец, бернским рабочим Бетсиком. Среди провожавших прах Бакунина было не мало и русских, в том числе студенток. После похорон состоялось собрание в помещении социал-демократического союза. Там единогласно всеми присутствующими, без различия национальностей, высказано было пожелание, чтобы над гробом Михаила Бакунина были забыты все раздоры чисто личного характера, и чтобы на почве свободы создалось об'единение всех фракций социалистической партии Старого и Нового света.

Особенно сильное впечатление смерть Бакунина произвела среди итальянских революционеров, которые смотрели на Бакунина, как на настоящего отца социализма в Италии. Многочисленные статьи в социалистических газетах, резолюции, вотированные итальянскими секциями Интернационала по поводу смерти Бакунина, приняли характер настоящей манифестации сознательных итальянских рабочих в память погибшего борца. Как живо итальянские социалисты почувствовали потерю Бакунина, видно из рассказа А. Баулер о том, как встре-

тил известие о его смерти кружок рабочих, окружавших его в Лугано. «Когда я без всяких подготовлений, на пороге двери, сказала: **Michelle è morto,** я даже испугалась собственных слов—такое потрясающее впечатление они произвели. Плакали не одни бакунисты, плакали и швейцарцы, только слыхавшие о Бакунине от товарищей по мастерской. Сантандреа кинулся на-земь, бил ногами по полу, как ребенок, и плакал навзрыд. Я увела его в квартиру Маццотти, где он долго не мог успокоиться. Да и трудно было успокаивать его людям, которые были почти в таком же состоянии. От этого дня у меня осталось смутное впечатление ужаса катаклизма. Рушились какие-то великие надежды, уходила из-под ног почва, и вместе с тем горе это экзальтировало надежды, укрепляло уверенности... Личность Бакунина выросла для нас в день получения известия о его кончине до сверх'естественных размеров и подняла нас самих на более высокий уровень. Куда бы ни отнесли нас потом волны жизни, но у каждого из нас, сидевших тогда в бедной рабочей комнате, билось сердце гордого, свободолюбивого, независимого человека, ненавидящего всякий род стадного рабства. Как ни чужды были мы друг другу по расе, привычкам жизни, общественному положению—любовь к учителю, внушенные им идеи делали из нас настоящих братьев. Только впечатления кровной близости с этими простыми людьми остались неизгладимо в моей памяти, отношение к смерти М. А. его культурных друзей совершенно изгладилось».

Некоторые социал-демократические газеты, как, напр., Лиссабонский **Protesto,** поместили сочувственные заметки и статьи о Бакунине. **Protesto,** примыкавший к марксистскому течению, писал в № 49: «С сожалением мы отмечаем смерть Михаила Бакунина, игравшего одну из первых ролей в движении современного пролетариата. Над его могилою должна утихнуть борьба, которая в продолжение последних лет его жизни велась в рядах пролетарской партии, и, за исключением некоторых не совсем обдуманных актов его общественной жизни, мы должны почувствовать боль от его смерти, как от смерти одного из самых энергичных революционных социалистов».

Даже некоторые буржуазные газеты сочувственно отозвались на известие о смерти Бакунина. Орган базельских «демократов» Vorwärts посвятил его памяти статью, в которой, между прочим, говорилось: «Бакунин, бывший атлетом в физическом отношении, был также гигантом духа. Однако, при всей его неукротимой энергии и сжигавшем его жаре, ему не хватало практического чутья. С Бакуниным исчезла мощная личность, подобная которой редко попадается в истории. Если бы он поддался обольщениям своих собратьев по русской аристократии и поступил на государственную службу, то, судя по аналогичным примерам, он без сомнения достиг бы в своем отечестве столь же высокого положения, как то, какое Бисмарк занимает в Германии. Если бы он остался в рядах армии и вместо того, чтобы посвятить свои выдающиеся способности изучению философских и социальных вопросов, применял бы их к военным делам, то он, быть может, сделался бы русским Мольтке и закончил бы свои дни во славе и окруженный официальными почестями. Но он не искал почестей, а стремился к наўке; он не желал славы, а жаждал истины. И с ним случилось то, что случается со всеми теми, кто не ищет своей личной выгоды, а хочет жить для человечества; он принужден был кочевать из страны в страну, гонимый и преследуемый сильными мира сего, как хищный зверь. Он не оставил прочных плодов своей деятельности, его учения неспособны были привести к их созреванию. Он пребудет в истории подобно старой гигантской сосне, которая наперекор бурям высится на вершине скалы, поражаемой молниями: это фигура импозантная, но не несущая с собою благословения».

К сожалению, некоторые органы, слишком живо еще помнившие о недавних схватках в рядах Интернационала и считавшие Бакунина главным виновником происшедшего раскола, не сумели на этот момент вполне освободиться от партийного духа и дать правильную об'ективную оценку этой великой исторической фигуре. Так, в цюрихской Tagwacht появилась статья, в которой говорилось: «Бакунин умер в Берне. Он пережил свою славу и давно уже прошло то время, когда

русская молодежь внимала его словам, как глаголу пророка [1]). Бакунин причинил много вреда рабочему движению, пока ему не помешали продолжать эту работу. Изданная по постановлению Гаагского конгресса брошюра, разоблачив бакунистский заговор, нанесла смертельный удар старому интригану. Он опубликовал в Journal de Génève заявление, в котором сообщал, что окончательно отстраняется от политической жизни. и сдержал свое слово в продолжение последних трех лет. Бакунин был законченным типом конспиратора; но в течение всей своей жизни он никогда в сущности не знал, чего он хочет, впадая из одного противоречия в другое и внося самую ужасную путаницу. Так, например, установив в своем тайном Альянсе настоящую деспотическую диктатуру в русском духе, он в то же время в рядах Интернационала напал, как на «авторитарную», на организацию, в которой совершенно не было элемента властности. Многие добрые социалисты, люди беспристрастные, считали Бакунина русским агентом; это подозрение—несомненно ошибочное—основалось на том факте. что разрушительная деятельность Бакунина принесла революционному движению только вред, тогда как она была очень на руку реакции».

Таким образом, пожелание о том, чтобы над гробом Бакунина умолкли старые счеты, не осуществилось, по крайней мере, в тот момент. Слишком живо было еще воспоминание о междоусобной борьбе в рядах Международной Ассоциации Рабочих. Да и сам Бакунин, человек боевого темперамента по преимуществу, не склонен был к ложному сентиментализму, и личность его очень мало располагала к идиллии. Тем более, что борьба между двумя течениями социально-революционной мысли со смертью Бакунина не прекратилась. Правда, анархический Интернационал, основанный его последователями. просуществовал недолго, и скоро большинство входивших в него элементов примкнули к международной социал-демокра-

[1]) Между тем почти вся русская революционная молодежь была тогда бакунистской, и как раз к этому времени идеи бунтарства в России окончательно вытеснили все другие направления.

тии. Тем не менее осталось достаточно анархистов, которые, особенно в романских странах, сумели привлечь к себе новые силы и направить значительную, если не главную, свою энергию на борьбу с социал-демократическими рабочими партиями. Отчасти духом бакунизма окрашено движение так называемого «революционного синдикализма», как это не перестает настойчиво подчеркивать Гильом [1]). Это обострение борьбы между анархистами и социалистами несомненно является одним из главных факторов, питающих неприязнь, хотя бы чисто теоретическую, к Михаилу Бакунину, и оно мешает отнестись к нему с надлежащею об'ективностью, дать ему правильную историческую оценку и определить значение его революционной деятельности. Теперь настала пора воздать должное этой незаурядной исторической фигуре и признать, что в общем и целом ее недостатки далеко перевешивались ее достоинствами, и что в общей экономии мирового пролетарского движения привнесенные Бакуниным плюсы заставляют побледнеть его минусы. И никто не призван в такой степени к выполнению этого долга исторической справедливости, как социал-демократия [2]) русская, считающая в числе своих родоначальников не только Маркса, но в известном смысле и Бакунина, и социал-демократия немецкая, которой в свое время пришлось нанести наибольшее число жестоких ударов его памяти. Вспоминая участие Бакунина, этого воспитанника немецкой философии, в борьбе за немецкую революцию на баррикадах Дрездена, Мишле когда-то писал: «Когда Германия станет Германией, этому русскому будет там воздвигнут алтарь». Пролетариат не воздвигает алтарей, но если не материального памятника, то признательной памяти в сердцах рабочего класса Бакунин несомненно заслуживает.

---

[1]) В своей истории Интернационала (ср., напр., Предисловие к четвертому тому) и в отдельных статьях.

[2]) Теперь бы мы сказали: коммунистическая партия. (Примечание 1923 года.)

СОДЕРЖАНИЕ I-ой части.

(Добролюбов.— Герцен.— Чернышевский.— Бакунин.)

	Стр.
Предисловие к 1-му изданию	V
„ ко 2-му „	XII
Социально-политические взгляды Добролюбова	17
А. И. Герцен	54
Герцен и Чернышевский	117
М. А. Бакунин	164
Социально-политические воззрения Бакунина	210
Маркс и Бакунин	256
Бакунин и франко-прусская война	291
Последние годы жизни Бакунина	337

СОДЕРЖАНИЕ II-ой части.

I. **Степан Халтурин.**

II. **Историческое подготовление русск. социал-демократии** (Введение.— Лавризм и бакунизм.— Народничество.— Народная Воля.— Черный Передел и зарождение социал-демократии).

III. **Первая соц.-демокр. пропаганда среди одесских рабочих.**

IV. **Материалы по истории соц.-дем. движения в России** (С'езды Р. С.-Д. Р. П.— Майский праздник в России.— Всеобщая забастовка на юге России в 1903 г.).

V. **Письма Маркса и Энгельса к Николаю О—ну.**

VI. **С. Ю. Витте.**

VII. **Исторический „документ“ (Рачковский и Меньщиков).**

VIII. **Воспоминания о Якутской ссылке.**

IX. **Как я бежал из Якутки.**

X. **Я. М. Свердлов.**

XI. **В ссылке и эмиграции** (1. В ссылке: споры между марксистами и народниками.—2. В эмиграции: споры с рабочедельцами. — Разногласия с „Искровцами“.

XII. Проект программы группы „Борьба“ и комментарий к нему.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА — ПЕТРОГРАД.

История и история революционного движения в России и на Западе.

Бах, М. — История австрийской революции 1848 г. Перев. под редакц. Базарова и Степанова. Изд. 2-е. Ц. 3 р. 50 к.

Борьба за Петроград. —15-е октября—6 ноября 1919 года. Стр. 283. Ц. 2 р.

Бешкин, Г.—Идеи Фурье у Петрашевского и петрашевцев. Стр. 74. Ц. 40 к.

Блос, В. — Германская революция. История движения 1848 — 49 г.г. в Германии. Ц. 1. 30 к.

Бухбиндер, Н. А. — Материалы для истории еврейского рабочего движения. Вып. 2-й. Ц. 35 к.

Буонароти, Ф. — Гракх Бабеф и заговор Равных. Ц. 60 к.

Верморель, А. — Деятели 48 года. Ц. 1 р. 35 к.

Вольтерс, Ф. — Исследования по аграрной истории Франции в 18-м веке. Ц. 1 р. 80 к.

Жорес, Ж. — История великой французской революции. Т. I. Учредительное Собрание 1889—91 г.г. Ц. 1 р. 50 к.

Его-же. — История великой французской революции. Т. 3-й. Конвент. Ц. 90 к.

Зиновьев, Г. — Политический отчет Центрального Комитета Партии (XII с'езд Р. К. П.). Ц. 25 к.

Крестьянское движение 1902 года. — Материалы по истории крестьянского движения в России. Вып. 3-й. Ц. 50 к.

Ключевский, В. — Курс русской истории. Часть 1, 2, 3, 4 и 5-я по 1 р. 20 к.

Ленин, Н. (Ульянов, В.) - Собрание сочинений. Т. IV. „Искра". 1900—03 г.г. Стр. 335. Ц. 80 к.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. VI. 1905 г. Стр. 528. Ц. 1 р.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. VII. Ч. I. 1905—06 г.г. От октября 1905 г. до роспуска 1-й Госуд. Думы. Стр. 352. Ц. 70 к. в папке 80 к.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. VII. Ч. II. 1905—06 г. г. От роспуска 1-й Госуд. Думы до начала избирательной кампании во 2-ю Госуд. Думу. Стр. 30. Ц. 75 к. в папке 1 р.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. VIII. 1907 г. Стр. 663. Ц. 1 р. 20 к., в папке 1 р. 25 к.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. XIV. Ч. I. Буржуазная революция 1917 г. От февральской революции до июльских дней. Изд. 2-е. Стр. 324. Ц. 1 р. в папке.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. XIV. Ч. II. Буржуазная революция. 1917 г. От июльских дней до октябрьской революции. Изд. 2-е. Стр. 536. Ц. 1 р. 45 к. в папке 1 р. 50 к.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. XV. Пролетариат у власти. 25 октября 1917 г. — 31 декабря 1918 г. Стр. 692. Ц. 1 р. 20 к., в папке 1 р. 30 к.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. XVI. Пролетариат у власти. 1919 г. Стр. 477. Ц. 1 р. 25 к.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. XVII. Пролетариат у власти. 1920 г. Стр. 477. Ц. 1 р. 25 к. в папке.

Его-же. — Собрание сочинений. Т. XVIII. Ч. I. Пролетариат у власти. 1921 г. Стр. 455. Ц. 1 р. 30 к.

Майский, И. — Демократическая контр-революция. Стр. 359. Ц. 1 р. 10 к.

Мартынов, А. — Очерки русской истории. Ц. 20 к.

Маркс, К. — Гражданская война во Франции 1870—71 г.г. Ц. 12 к.

Его-же. — Классовая борьба во Франции 1848—50 г.г. Ц. 15 к.

Меринг, Ф. — История германской социал-демократии. Т. I. До революции 1848 г. Предисловие Н. Степанова. Ц. 1 р.

Молотов, К. — На шестой год. К итогам и перспективам. Ц. 15 к.

Невский, В. — Материалы для биографического словаря социал-демократов, вступивших в российское рабочее движение за период от 1880 г. до 1905 года. Ц. 1 р. 40 к.

Памятники агитационной литературы Российской Социал-демократической Рабочей Партии. Т. 6-й. Период войны 1914—17 г.г. Вып. 1. Прокламации 1914 года. Ц. 2 р.

Петрушевский, Д. М. — Очерки средневекового общества и государства. Ц. 1 р. 50 к.

Пименова, Э. — Эро де-Сешель. Творец французской конституции 1793 г. Ц. 75 к.

Пичета, В. И. — Введение в русскую историю (источники и историография). Ц. 1 р. 20 к.

Политические процессы 60-х годов.—Материалы, подготовленные к печати В. П. Алексеевым, под ред. В. П. Козьмина. Ц. 80 к.

Полонский, В. — Бакунин. Т. I. Бакунин-романтик. С портретом. Ц. 85 к.

Покровский, М. — Русская история в самом сжатом очерке. От древнейших времен до конца XIX в. Ц. 60 к.

Его-же. — Русская история. Т. I. От древнейших времен до Грозного. Ц. 50 к.

Его-же. —Т. 2-й. Смута. Борьба за Украину. Петровская реформа. Ц. 50 к.

Его-же. —Т. 3-й. Монархия. 18-й век. Александр I-й. Декабристы. Ц. 50 к.

Его-же. — Т. 4-й. Крестьянская реформа. 60-ые годы. Конец 19-го века. Ц. 1 р.

Революция 1848—49 года. — Обзор литературы. Составлен библиографической комиссией Петрогубполитпросвета. Под ред. В. Фейдер. Ц. 75 к.

Резолюции XII с'езда Российской Коммунистической Партии (большевиков). Пред. Г. Зиновьева. Ц. 15 к.

Ренар, Ж. — Республика 1848 года. (1848—1852 г.г.) Перев. с франц. Ц. 2 р.

Седьмой с'езд Российской Коммунистической партии.—Стенографический отчет 6—8 марта 1918 г. Ц. 1 р.

Семенников, В. П. — Радищев. Очерки и исследования. Ц. 3 р.

Сергеев, В. С. — Всемирно-исторические кризисы. Ч. I. Европейский кризис на заре XIX столетия. Ц. 20 к.

Сеньобос, Ш. — Политическая история современной Европы. Т. I. Эволюция партий и политических форм. Ц. 1 р. 30 к.

Стеклов, Ю. — Революция 1848 года во Франции. Ц. 25 к. На лучшей бумаге 40 к.

Его-же. — Степан Халтурин (1857—1882 г.г.). С портретом. Ц. 10 к.

Троцкий, Л. — 1905 год. Ц. 2 р.

Тахтерев, К. М. — Очерки по истории первобытной культуры. Ц. 50 к.

Тун. А. — История революционных движений в России. Перевод В. Засулич, Д. Кольцова и других. С воспоминаниями о Туне Л. Дейча. Предисл. Г. Плеханова, со статьей „О социальной демократии в России" Г. Плеханова и примечаниями П. Лаврова. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 10 к.

Черный передел. Орган социал-федералистов. 1880—81 г.г. Предисловие В. Невского. Вступительная статья О. В. Аптекмана. Ц. 75 к.

Энгельс, Ф. — Крестьянский вопрос во Франции и Германии. Ц. 10 к.

IV Всемирный Конгресс Коммунистического Интернационала.—Избран. доклады и речи. Ц. 75 к.

25 лет РКП (большевиков) 1898—1923 г.г. — Иллюстрированный юбилейный сборник. Ц. 4 р.

К 25-летию I-го С'езда партии (1898—1923 г.г.). Ц. 1 р. 10 к.

Все цены в червонцах.

Duke University Libraries
D04101358M